



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



A 3 9015 00397 992 2

University of Michigan - BUHR

ИЗЪ ПЕРЕЖИТАГО

З

Г47

АВТОБІОГРАФИЧЕСКІЯ ВОСПОМИНАНІЯ

Гильарова-Платонова, Н.

Н. Гильарова-Платонова.

ИЗДАНИЕ

Товарищества М. Г. Кувшинова.

МОСКВА—1886.

СТ
1218
.G47
A3
1886
V.2

Exchange
AM. Lit. For. Lit.
1234281-293

XXXIV.

Переходъ въ семинарію.

Продолжать ли? Не положить ли перо? „Представленъ быть“, какъ выразился я въ предисловіи, „мало или односторонне освѣщенный“; „первыя духовныя зерна“, возросшія въ немъ, выслѣжены. Замѣтки о томъ и о другомъ могли быть не лишены значенія для исторіи быта, для психологіи, для педагогіи. Но кому чѣмъ дать рассказъ о дальнѣйшемъ ходѣ моего развитія и дальнѣйшей судьбѣ? Дѣйствіе происходитъ въ быту менѣе отдаленномъ отъ обыкновеннаго; развитіе изъ періода воспріятій переходитъ въ періодъ дѣятельной мысли; начинается внутренняя работа, при которой внѣшній міръ теряетъ часть своего дѣйствія; въ рассказѣ долженъ неизбежно преобладать личный характеръ. Предупреждаю объ этомъ читателя.

Совершенно новая жизнь потекла для меня по выходѣ изъ училища. Все другое: и курсъ, и товарищи, и городъ, и семья. Никакая другая семинарія не кладетъ такой рѣзкой грани, какъ Московская, и никакое другое училище, этотъ нижній этажъ духовно-учебнаго зданія, такъ не отрѣзанъ отъ своего верхняго жилья, какъ училище Коломенское. Между двумя этажами нѣтъ сообщеній и никакого взаимнаго отголоска. Разъ только во все семилѣтнее мое училищное поприще, одинъ только разъ пріѣзжалъ какъ-то на Святки въ коломенскую бурсу гостить одинъ „риторъ“, какъ соображаю я теперь, изъ очень плохихъ. Должно-быть зазвалъ его землякъ-бурсакъ или родственникъ изъ тѣхъ совершенно безрод-

ныхъ, которые даже на Святки и на Святую продолжали оставаться въ бурсѣ. Помню этого ритора. Онъ держалъ себя командиромъ и посылалъ ребятъ ломать малиновые стволы, поручалъ сострагивать верхнюю шкурку и училъ курить ее вмѣсто табаку. Находили, что „совсѣмъ какъ табакъ“; сообщаю это для свѣдѣнія гг. поддѣльщикамъ—не воспользуются ли? Риторъ съ тѣмъ вмѣстѣ взялъ регентство надъ училищнымъ хоромъ, привезя нѣсколько партесныхъ переложений, неизвѣстныхъ коломенскимъ малолѣтнимъ виртуозамъ. Ребята смотрѣли на него раскрывъ ротъ, и я въ томъ числѣ: это пришлецъ изъ другаго, высшаго міра, о которомъ впрочемъ самъ горній житель не распространялся, довольствуясь однимъ внѣшнимъ обаяніемъ.

Московская епархія есть единственная, въ которой не одна, а двѣ семинаріи: одна въ самой Москвѣ, другая близъ Троицы, въ Виѣанскомъ монастырѣ. Къ каждой приписаны свои училища: къ Московской—московскія, въ самой столицѣ помѣщающіяся (ихъ было въ мое время три), одно подмосковное, Перервинское, тоже почти столичное по мѣстности (въ шести верстахъ), и наконецъ Коломенское. Въ Виѣанскую семинарію поступали изъ училищъ Дмитровскаго и Звенигородскаго. По отношенію къ московскимъ это училища провинціальныя, и сама семинарія Виѣанская имѣла славу провинціальной. „Виѣанецъ“ — низшей породы существо, неотесанное, мало развитое. Морщась отецъ-москвичъ выдавалъ за него дочь; пренебрежительно посматривали на него москвичи-сверстники; при одинаковыхъ юридическихъ правахъ москвичи пролѣзали и на лучшія епархіальныя мѣста; виѣанцы ютились больше тамъ гдѣ-то по селамъ и уѣзднымъ городамъ, и притомъ своего виѣанскаго округа. Одинаковъ учебный курсъ въ той и другой семинаріи, но предполагалось, что и учебная подготовка въ Московской выше, нежели въ Виѣанской. Было нѣкоторое основаніе для такого мнѣнія: въ Москву назначали изъ Академіи лучшихъ воспитанниковъ для

u.vsm



ИЗЪ ПЕРЕЖИТАГО

З

ГЧ

АВТОБІОГРАФИЧЕСКІЯ ВОСПОМИНАНІЯ

Гильарова-Платонова, Н.

Н. Гильарова-Платонова.

ИЗДАНИЕ

Товарищества М. Г. Кувшинова.

МОСКВА—1886.

затѣмъ корридоръ—вотъ вся была разница. Залы были просторнѣе коломенскихъ; вмѣсто плоскихъ столовъ предъ ученическими скамьями стояли пюпитры. Швейцарская, гардеробная, дежурная, ватерклозеты, — всѣ эти роскоши завелись уже въ новой семинаріи, устроенной на другомъ мѣстѣ, послѣ меня. Но живой составъ семинаріи былъ совсѣмъ иной, нежели привыкъ я видѣть въ училищѣ. Развязные, по своему важно держащіе себя ребята. Всѣ смотрѣли „большими“; да и дѣйствительныхъ большихъ, съ бритыми бородами, было довольно, а нѣкоторые были и при бакенбардахъ. На многихъ были цилиндры, у нѣкоторыхъ трости въ рукахъ. Личныхъ сапоговъ уже нѣтъ, всѣ въ брюкахъ и жилетахъ; тулуповъ ни на комъ, даже чуйки виднѣлись развѣ только на пяткѣ или десяткѣ; прочіе ходили въ шинеляхъ и даже съ мѣховымъ воротникомъ нѣкоторые (пальто еще не были изобрѣтены тогда); мальчишескихъ игоръ въ родѣ кулачныхъ боевъ или вообще возни слѣда не было. И все незнакомыя лица! А между собою многіе и знакомы, и друзья, перекидываются разговорами; толкуются на крыльцѣ, шмыгаютъ по лѣстницѣ. Не то ходятъ по корридору, а больше по аудиторіи, обнявшись, положивъ одинъ другому руку на шею. Этого у насъ въ училищѣ не водилось, какъ не знали мы вѣжливаго обращенія на „вы“; съ „вы“ обращались только къ учителямъ. А здѣсь въ перемежку слышишь между даже сверстниками и „ты“ и „вы“, второе даже по преимуществу.

Еще одинъ невиданный обычай поразилъ меня: ученики здоровались пожиманіемъ рукъ. Столь общій по видимому обычай былъ для меня тогда совершенною новостью; не только въ училищѣ между мальчиками его не существовало, но и вообще я до того не видывалъ рукопожатій между кѣмъ бы то ни было. Можетъ-быть я читывалъ о немъ въ книгахъ, но и то совсѣмъ проскользнуло, не остановивъ вниманія. Обычно ли было рукопожатіе въ московскихъ училищахъ? Вѣроятно, да.

Проникъ ли этотъ обычай теперь и во всѣ училища? Тоже вѣроятно; и крестьяне, подмосковные по крайней мѣрѣ, такъ теперь привѣтствуютъ другъ друга. А обычай очевидно не народный. Французъ жметъ руку (*serre la main*), Англичанинъ трясетъ руку (*shake hands*), Русскій же „бьетъ по рукамъ“: но бьютъ по рукамъ не въ смыслѣ привѣтствія, а въ смыслѣ удостовѣренія. Теперь же и „жать руку“ для привѣтствія вошло или входитъ въ народный обычай, именно жать по-французски, а не трясти по-англійски; участвуютъ въ привѣтствіи конечные два сустава или даже одна кисть, а не вся рука начиная съ плеча, какъ у Англичанина. Точно также и французское „вы“ входитъ въ народъ, хотя ту же. На этотъ разъ оно есть и англійское отчасти; но Англичанинъ уже всѣмъ, даже собакамъ, говорить „вы“, оставляя „ты“ для торжественной рѣчи и для Бога. Въ русскомъ „ты“ есть языкъ дружбы и близости, отчасти пренебреженія; въ коренномъ же словопотребленіи оно есть законное обращеніе ко всѣмъ безразлично. Множественное въ обращеніи къ единственному лицу и даже къ себѣ также законно, но въ смыслѣ далеко отъ французскаго, приближающаго скорѣе къ латинскому, гдѣ въ первомъ лицѣ допускается употребленіе множественнаго вмѣсто единственнаго. Русскій языкъ, примѣняя „мы“ и „вы“ къ отдѣльному лицу, указываетъ на семью, родъ, міръ, къ которому лицо принадлежитъ (таково выраженіе „нашъ братъ“), и первымъ лицомъ пользуется въ этомъ смыслѣ чаще нежели вторымъ: „мы тебѣ покажемъ“, „наше“ или „ваше дѣло пахать“. Въ отличіе отъ латинскаго словопотребленія, сохранившагося въ высочайшихъ манифестахъ, архіерейскихъ грамотахъ и у писателей, когда они говорятъ о себѣ лично, множественное въ коренномъ русскомъ означаетъ не столько смиреніе, сколько похвалу, увѣренность въ силѣ, которая присуща однородному, сплошному множеству.

Для этнографа это замѣчаніе будетъ не лишнимъ.

При болѣе внимательномъ наблюденіи можно открыть связь привѣтственныхъ выраженій съ характеромъ народа. Какъ русскій человѣкъ говоритъ не даромъ „нашъ братъ“, такъ не случайно Англичанинъ трясетъ руку, а не жметъ; и еще менѣе случайно, что Нѣмецъ, обращаясь къ высшему, не смѣетъ даже чувствовать себя въ его присутствіи, относясь раболѣпно со словомъ „они“ (Sie), а высшій, гнушаясь присутствіемъ низшаго, говоритъ, обращаясь къ нему, „онъ“ (Er). Последнее обращеніе вышло изъ употребленія, культура сдѣлала свое дѣло; но даже Фридрихъ Великій не иначе чествовалъ философовъ и поэтовъ, когда обращался къ нимъ лично, а весь нѣмецкій народъ доселѣ еще не освободился отъ того, чтобы видѣть въ женщинѣ вещь, „оно“; женскаго рода Frau, сначала прилагавшаяся лишь къ владѣтельнымъ особамъ, еще не вытѣснило средняго Weib.

Память мнѣ не сохранила, какъ я пришелъ въ назначенную аудиторію и кто мнѣ ее указалъ. Помню, что прочтенъ былъ списокъ секретаремъ правленія (онъ же и учитель семинаріи). Перечислены сначала „старые“, то-есть оставшіеся на повторительномъ курсѣ; затѣмъ ученики Петровскаго училища, Андроньевскаго и такъ по порядку. Пока дошло до Коломенскаго, ученики одинъ за другимъ занимали мѣста: на первыхъ, на вторыхъ, на третьихъ скамьяхъ. Намъ, коломенцамъ, какъ бы оборышамъ, достались двѣ короткія скамьи, послѣднія изъ послѣднихъ, стоявшія перпендикулярно къ первымъ. Впрочемъ такое помѣщеніе представляло и свою выгоду: хотя и чрезъ головы цѣлаго ряда учениковъ, мы все таки сидѣли лицомъ къ профессорскому столу, по сторонамъ котораго расположены скамьи. А мое мѣсто и тѣмъ было выгоднѣе, что, какъ первый, я сидѣлъ съ края, и отъ профессора не загораживалъ меня, какъ моихъ сосѣдей, рядъ ученическихъ головъ.

Разсѣлись мы, но тѣмъ классъ и кончился. Ученье

начнется только завтра. Разошлись мы, коломенцы, наравнѣ со всѣми, но съ тревогой, которой прочіе вѣроятно не ощущали. Мы такъ принижены, такъ бѣдно-смотрѣли; а тѣ все народъ и бойкій, и щеголеватый, и между собою знакомый. Мы словно сироты, которыхъ изъ жалости приняли во дворъ.

XXXV.

Семинарскіе распорядки

На завтра всѣ мы были въ сборѣ и успѣли чинно по мѣстамъ въ ожиданіи профессора. Одни „старые“ расхаживали свободно по залѣ; къ нимъ приходили знакомые „старые“ изъ другихъ классовъ; наворачивались „философы“, бывшіе товарищи „старыхъ“ по Риторикѣ. Въ промежуточные между уроками часы аудиторія представляла своего рода клубъ для этихъ вольныхъ людей. Еслибъ уже были извѣстны въ 1838 году папирсы, то стоялъ бы навѣрное въ классѣ и дымъ столбомъ. Но тогда еще продолжалось исключительное царство трубки. Сигары же витали въ высшихъ классахъ общества; я лично не имѣлъ о нихъ даже понятія, и разъ, встрѣтивъ названіе „сигара“ въ книгѣ, долженъ былъ обратиться за объясненіемъ къ отцу. Тотъ однако и самъ не зналъ: „табакъ“, сказалъ онъ, завертываютъ въ бумажку и курятъ“; въ такомъ видѣ представлялась батюшкѣ „сигара“.

Трутни, съ которыми я сравнилъ „старыхъ“ въ одной изъ предшествующихъ главъ, пытались и здѣсь присвоить себѣ надъ новичками господство; но къ ихъ несчастію, всего нѣсколько сутокъ пользовались они властью, да и та была фиктивная, основанная на неопытности и робости новопоступившихъ. Это не то что въ

Синтаксис; тамъ атрибуты дѣйствительной власти были въ рукахъ: цензорство, аудиторство, старшинство. А здѣсь „старшіе“ существуютъ только для бурсаковъ, для своекоштныхъ же лишь номинально, да и назначаются изъ воспитанниковъ высшаго отдѣленія—„богослововъ“. Цензоръ хотя есть, но безо всякой власти, почти утратилъ и названіе цензора; его именуютъ чаще журналистомъ. И назначенъ онъ, какъ и вообще назначались, изъ казеннокоштныхъ; а на грѣхъ, въ нашемъ классѣ ни одного „старого“ нѣтъ изъ казеннокоштныхъ; журналъ потому оказался въ рукахъ новичка (перваго ученика изъ „Андроньевскихъ“). Аудиторы тоже назначены; но здѣсь, не такъ какъ въ училищѣ, это учрежденіе на столько слабо, что напримѣръ я не могу даже возстановить въ памяти ни одного случая, когда бы „слушался“. Ясно, что ученики смотрѣли на аудиторство, какъ на пустую формальность, лишенную значенія. И дѣйствительно, продолжалось оно всего мѣсяца четыре, послѣ чего было совсѣмъ упразднено; да и было только для уроковъ словесности.

Тѣмъ не менѣе „старые“ держали себя высокомерно, обращались съ замѣчаніями къ молодымъ и даже дерзали наказывать, чему молодые безропотно покорялись.

— Ты что это развалился? Харчевня здѣсь что ли? обращается старый къ кому-нибудь, сидящему слишкомъ развязно.

— Не изволь разговаривать! обращается къ другому. — А ты это что? кричитъ на третьяго. — Скажите, каковъ! Онъ и руки на столъ! Стой за это столбомъ.

Съ такими поученіями обращались впрочемъ къ тѣмъ лишь, кто одѣтъ побѣднѣе; соображали, что неравно наскочишь на московскаго поповича; тотъ самъ дастъ сдачи, да еще пожалуется. Къ чести семинаристовъ прибавлю, что и изъ „старыхъ“ не всѣ изъявляли притязаніе на эти приемы гувернантокъ съ ихъ „tenez-vous droit“. Въ нашемъ классѣ не было даже ни одного та-

кого; потѣшались приходящіе изъ другихъ риторикъ. Можетъ-быть и по природѣ наши были скромнѣе; а можетъ быть были и умнѣе, говорило сознаніе: какими же глазами посмѣю я смотрѣть послѣ въ глаза товарищамъ? Нашими наглость оказываема была въ другомъ видѣ, и то однимъ Михайломъ Ивановичемъ Грузовымъ, о которомъ еще будетъ рѣчь далѣе. „Подинапой чаемъ“, обращается онъ къ какому-нибудь новичку, подзывая въ трактиръ. А то и крикнетъ на весь классъ: „кто, господа, хочетъ со мною въ трактиръ“? Легковѣрные пойдутъ въ обѣденные часы и заплатятъ за него. Къ слову сказать, въ обращеніи ко множеству теперь употребляется слово „господа“, тогда какъ въ училищѣ обычнымъ призываніемъ было „братцы“ или „ребята“. Съ правомъ на рукопожатіе „братецъ“ обращался въ „господина“.

Судьба этого Грузова была особенная. Не безъ дарованій, онъ кончилъ жалко и погубила его ноздревщина, сидѣвшая въ немъ. Выйдя изъ семинаріи студентомъ, получилъ діаконское мѣсто въ Москвѣ. Пилъ, да не какъ всѣ, съ соблюденіемъ бы приличій, а шлялся по трактирамъ и кабакамъ, не будучи однако пьяницею. Умеръ у него ребенокъ, и онъ съ гробомъ дитяти, по дорогѣ на кладбище, зашелъ въ полпивную, не то кабакъ, подкрѣпить себя на путешествіе. Долго ли коротко ли продолжались его подвиги въ такомъ родѣ, онъ былъ разстриженъ, и кончилъ жизнь гдѣ? Въ веселомъ заведеніи или подъ заборомъ гдѣ-нибудь въ подобномъ мѣстѣ.

Чрезъ недѣлю, а то и менѣе, классъ сравнялся. Осмотрѣлись, приглядѣлись, старые смѣшались съ молодыми. Не удержалась и первоначальная разсадка; каждый выбралъ себѣ мѣсто по вкусу, который опредѣлялся составленными знакомствами, а отчасти степенью прилежанія. Друзья, однокашники облюбовывали себѣ, въ числѣ троихъ-четверыхъ, опредѣленный уголъ: балбесы удалялись въ задъ, гдѣ можно заняться болтов-

ней. Передъ оставался для болѣе внимательныхъ къ урокамъ или желающихъ выставиться.

Учебные часы остались тѣ же что въ училищѣ: тѣ же три двухчасовые класса въ день, два предъ обѣдомъ (отъ 8 до 12) и одинъ (отъ 2 до 4) послѣ обѣда; тѣ же часовые или около того отдыхи между классами. Сверхъ субботняго вечера, который былъ гулевымъ въ училищѣ, прибавилось еще два, въ понедѣльникъ и въ четвергъ. Слѣдовало ли такъ по программѣ? Сомнѣваюсь; раза два-три собирали насъ на послѣобѣденные классы по понедѣльникамъ; осталось впечатлѣнiе, что одинъ изъ прогульныхъ вечеровъ есть вольность, допущенная начальствомъ.

Итакъ, въ недѣлю приходилось учебныхъ часовъ, говоря строго, всего пятнадцать съ чѣмъ-нибудь, а на каждый день кругомъ менѣе трехъ. Семинаристы не могли жаловаться на утомленiе или опасаться искривленiй стана и порчи глазъ. Естественнѣе спросить: чѣмъ наполнялось столь обширное пустое время? Во первыхъ, являлись позже звонка. Въ утреннюю перемѣну бродили по корридору, по двору, завтракали. Для денежныхъ людей къ услугамъ былъ булочникъ съ хлѣбами, пирогами, вареною колбасой; къ десяти часамъ онъ являлся неизмѣнно. Менѣе достаточные, но знакомые съ бурсаками, жившими въ корридорѣ рядомъ, пользовались казеннымъ чернымъ хлѣбомъ, ломти котораго цѣлыми корзинами принашивались въ номера къ тому же часу. Въ обѣденное время квартировавшiе вблизи кейфовали по домамъ. Но несносны были долгiе обѣденные часы для тѣхъ, которые жили въ отдаленныхъ частяхъ города и обѣдать домой не уходили. Разбредались куда-то впрочемъ и эти, часть между прочимъ по трактирамъ.

Не могу не отмѣтить странности, которая только сейчасъ всплываетъ въ памяти. Я велъ въ началѣ семинарскаго курса какую-то безплотную жизнь. Не помню, чтобы голодалъ. Вставши рано, зимой до свѣта, под-

крѣпивъ себя не болѣе какъ чашкой чая съ ломтемъ хлѣба, я шагаль отъ Новодѣвичьяго монастыря пять верстъ на Никольскую и до возвращенія домой въ шестомъ часу вечера не чувствовалъ позыва на пищу. Я не отказывался закусить, когда приходилось, но никогда не приходила мысль: чего бы закусить? Равнодушно смотрѣлъ, какъ уписывали другіе булку или пирогъ: примѣръ не возбуждалъ аппетита. Не очень далеко отъ семинаріи жили двоюродные братья: въ Овчинникахъ дьякономъ былъ извѣстный читателю Иванъ Васильевичъ Смирновъ, а ближе, на Ильинкѣ, дьячкомъ у Николы Большаго Креста родной его братъ Василій Васильевичъ. Хаживаль я иногда къ нимъ въ обѣденное время и обѣдываль, но хаживаль не за тѣмъ чтобы пообѣдать, а отъ скуки и просто чтобы повидать. Приходя домой, даже когда повидимому утомленіе должно было дойти до послѣдняго градуса, послѣ двѣнадцатичасоваго воздержанія и десятиверстнаго пути, я не набрасывался на пищу. Напротивъ, случалось, что заходилъ куда-нибудь еще вечеромъ, отдалялъ время обѣда еще на нѣсколько часовъ, удлинялъ свой путь еще на нѣсколько верстъ и не ощущалъ ни усталости, ни голода, ни жажды. И я былъ цвѣтушъ и живъ. Мускулы были слабо развиты, но весь дышалъ здоровьемъ; напротивъ, первую немоготу почувствовалъ именно тогда, когда поступилъ на болѣе правильную повидимому жизнь и на болѣе сытную пищу. Вспоминая индійцевъ, довольствующихся полугорстью риса и собственный опытъ, колеблюсь признать безусловную вѣрность теоріи питанія, построенной на опытахъ откармливанья живности и на аппетитѣ Джонъ-Булля.

Постная жизнь, которую я велъ, была между прочимъ причиной, что я не познакомился и съ семинарскимъ булочникомъ. А вѣроятно онъ былъ лицо, и матеріально и нравственно связанное съ семинаріей, какъ бываетъ въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ, какъ было по крайней мѣрѣ въ Коломенскомъ училищѣ, и послѣ у

Троицы, въ Академіи. Въ Коломнѣ Степанъ калачникъ, Александръ сбитенщикъ и Акулина маковница, образовавшіе постоянный рынокъ у училищнаго двора, жили, по крайней мѣрѣ первые двое, одною съ учениками жизнью: не только знали всѣхъ, но интересовались успѣхами и неудачами каждаго, проникались уваженіемъ къ отлично учащимся, панибратски - пренебрежительно обращались съ лѣнтяями и тупицами, трепетали предъ экзаменами и даже помогали обманывать ревизоровъ. Задано письменное упражненіе; насланный изъ Москвы ревизоръ сидитъ въ залѣ. Но текстъ задачи спускается на ниткѣ въ окно; подъ окномъ отвязываютъ и бѣгутъ къ отцу діакону какому-нибудь, а то и священнику, и готовый переводъ несутъ чрезъ полчаса снова на училищный дворъ. Снова ниточка, и ребята пользуются услугами можетъ-быть даже неизвѣстнаго имъ сострадательнаго благодѣтеля. Кто же отвязывалъ, кто привязывалъ, кто бѣгалъ, искалъ знатока латыни? Не ученикъ: опасно и некогда. Калачникъ или сбитенщикъ платятъ своею услугою въ тяжелое время проценты потребителямъ за полученные съ нихъ барыши. А Алексѣй хлѣбникъ у Троицы былъ живою исторіей Академіи. Никто такъ твердо не помнилъ академическихъ списковъ за цѣлые десятки лѣтъ. Какъ въ календарѣ, у него можно было справиться, кто въ какомъ году кончилъ курсъ, съ какою степенью, въ какомъ номерѣ жилъ первые два года, въ какомъ вторые; мало того, кто куда былъ назначенъ, потомъ перемѣщенъ и гдѣ теперь служить. Но участіе Алексѣя было лишь историческое и вытекало изъ основаній экономическихъ. Студентъ пользовался у него безусловнымъ кредитомъ во все время курса, доходившимъ иногда до размѣровъ учительскаго жалованья. Если не при окончаніи курса, при полученіи подъемныхъ, то послѣ, со службы, должникъ его разомъ или по частямъ очиститъ свой долгъ. Алексѣй въ это вѣрилъ и не бывалъ обманутъ; но это же и образовало изъ него ходячую лѣтопись Академіи.

Писаны повѣсти и драматическія піесы на тему о полковыхъ собакахъ, полковыхъ сиротахъ; типы няньки, дядьки исчерпаны литтературой; но типъ училищнаго булочника не менѣе занимателенъ, гдѣ духовные, отчасти и научные интересы вливаются въ душу безграмотнаго торговца, сорадующагося и сострадающаго событіямъ, не имѣющимъ отношенія ни къ калачамъ, ни къ торговлѣ. Благодаря этой нравственной связи, много мнѣ въ свое время выпало угощеній и сбитнемъ и булками, угощеній совершенно безкорыстныхъ, потому что ни вреда, ни пользы не могъ я ничѣмъ оказать ни Степану, ни Александру, ни Акулинѣ.

Сохранялась въ семинаріи и простота въ расположеніи уроковъ, съ какою мы знакомы были по училищу. Предметовъ преподаванія въ риторическомъ классѣ было пять: 1) Словесность, 2) Гражданская исторія, 3) Латинскій языкъ, 4) Греческій, 5) Французскій и Нѣмецкій—тотъ или другой по произволенію. На профессорѣ словесности лежало преподаваніе и латинскаго языка.

Глубокій, глубочайшій смыслъ лежалъ въ старой школьной системѣ. Разумность поступанія въ формальномъ развитіи очевидна; но не въ этомъ одномъ ея достоинство, а кромѣ того въ сосредоточенности и полнотѣ дѣйствія, которыя предполагались въ каждомъ постепенномъ шагѣ. Три класса: риторика, философія и богословіе. Въ каждомъ по одному руководителю и по одному пособию: въ риторикѣ пособиемъ профессора словесности—преподаватель исторіи; въ философіи къ преподавателю этой науки приставленъ преподаватель математики; при профессорѣ богословія въ богословскомъ классѣ стоитъ профессоръ церковной исторіи. Сосредоточивая учащагося подъ однимъ главнымъ руководителемъ и надъ однимъ главнымъ предметомъ, каждый классъ съ тѣмъ вмѣстѣ былъ полнымъ законченнымъ курсомъ: риторика и гражданская исторія не переходили въ философскій классъ, и философія съ ма-

тематикой—въ богословскій. Отсюда—двухлѣтній курсъ каждаго класса.

Двумя преобразованіями разрушили эту систему. Программу отчасти разжидили, отчасти засорили; а потомъ отгѣнили и раздѣленіе семинаріи на три двухгодичные курса, замѣнивъ ихъ шестью одногодичными классами. Въ послѣднемъ взяли очевидно примѣръ съ гимназій; основаніемъ же выставлено то, что двухгодичные классы влекутъ де за собою напрасную потерю времени для тѣхъ, кого приходится оставлять на повторительный курсъ. Итакъ, изъ-за нѣсколькихъ лѣтяевъ и тупицъ ниспровергнута цѣлая система. Раздѣлили бы по этой уважительной причинѣ курсъ уже на семестры и образовали бы вмѣсто шести двѣнадцать классовъ; лѣтніи съ тупицами еще менѣе бы тогда теряли. А было время, когда на повторительный курсъ оставались добровольно и притомъ юноши даровитые и прилежные, не скорбя о томъ, что повтореніе продолжится не одинъ годъ, а два. Преобразователи не вникли, что двухгодичные классы придуманы не изъ экономіи, чтобы залъ было меньше числомъ; число и продолженіе классовъ соображено было съ составомъ курса и съ періодами умственного развитія. Какъ учебныя заведенія вообще дѣлятся на низшія, среднія и высшія, такъ отнесенная къ числу среднихъ семинарія въ частности дѣлилась на три періода, и каждому періоду даны соотвѣтственныя науки, которыя въ нихъ и начинались и оканчивались. Это были факультеты своего рода, но факультеты послѣдовательные, а не параллельные. Философія съ богословіемъ были и дѣйствительными факультетами во времена старой Академіи; риторикой оканчивалась формальная зрѣлость; учащемуся предоставлялось слушать дальнѣйшія лекціи въ своихъ ли факультетахъ, въ факультетахъ ли университетскихъ.

Первая брешь была пробита именно въ мое время. По окончаніи риторическаго курса пришлось доканчивать остальные четыре года уже въ преобразованной

семинаріи, правда еще съ двухлѣт-
дрили свое существованіе еще слиш-
до новаго преобразованія). Примѣнен-
испытано было мною отчасти даже въ
послѣдній годъ неожиданно вошелъ въ аудитъ,
подаватель математики изъ средняго отдѣленія и
чалъ объяснять историческія книги Ветхаго Заветъ. Не
помню, но кажется отъ словесности оторвали для этого
предмета часть въ недѣлю. Впрочемъ ничего и не вышло:
и преподаватель являлся только для формы, и мы его
не слушали; да и экзамена, помнится, отъ насъ по
этому предмету не требовали.

Реформа 1839 года исходила изъ такого возраженія:
семинарское образованіе слишкомъ де отвлеченно и мало
примѣнено къ званію, которому служило приготовлені-
емъ. Въ виду этого ввели: 1) истолкованіе Св. Писанія
во всѣ классы, начиная съ низшаго отдѣленія; 2) въ
то же низшее отдѣленіе ввели ученіе о богослужебныхъ
книгахъ (а послѣ и алгебру съ геометріей); 3) въ фи-
лософскій классъ — библейскую исторію, герменевтику,
русскую гражданскую исторію, физику (а послѣ того
и патристику еще), совершивъ ради новыхъ гостей
обрѣзаніе надъ самою философіей и надъ математикой
(изъ философіи оставили только логику съ психологіей,
а изъ математики выкинули тригонометрію); 4) къ бо-
гословскому классу прибавили гомилетику, церковную
археологію, каноническое право, да не довольствуясь
тѣмъ — еще сельское хозяйство и медицину. Если не
считать сельскаго хозяйства и медицины, которыя вве-
дены совсѣмъ уже безъ связи съ общемою программой,
выходило по своему стройно: науки пошли параллельно
черезъ весь курсъ, начиная съ перваго года. Но этимъ
введеніемъ параллельнаго порядка на мѣсто послѣдо-
вательнаго, этимъ поперечнымъ сѣченіемъ на мѣсто
продольнаго, вниманіе учащихся было раздроблено, по-
степенность утрачена, изъ прежнихъ наукъ самыя глав-
ныя ослаблены, а нововведенныя и не привились и оста-

съ безъ слѣда, даже проходя чрезъ память учащагося. Впрочемъ, за исключеніемъ медицины съ сельскимъ хозяйствомъ, новая программа не прибавила ничего такого, чему бы не нашлось мѣста въ старой: профессоръ Богословія въ состояніи былъ преподавать (дѣльные и успѣвали преподавать) и герменевтику, и экзегетику, и гомилетику, и притомъ въ размѣрахъ не меньшихъ чѣмъ по новому уставу; профессоръ Церковной Исторіи въ состояніи былъ сообщить (дѣльные и сообщали) свѣдѣнія по патристикѣ и археологіи. И жалости было достойно, какъ при новомъ уставѣ подавалось учащимся совершенно то же, часто до буквальности повторяющееся, подъ разными именоваціями и въ разныхъ одѣяніяхъ — богословія или экзегетики, церковной исторіи или патристики. Кромѣ разсѣянности, неизбѣжной при множествѣ предметовъ, кромѣ потери времени на повтореніе тождественныхъ положеній и на изученіе „введеній“ въ разнообразныя новыя науки, получалось еще положительное развращеніе ума. Самоважнѣйшею частію курса все-таки продолжали считаться письменныя упражненія. Преданіе объ этомъ удержалось; соблюдалось и прежнее правило, что темы для сочиненій даются по главнымъ предметамъ въ каждомъ классѣ. И это было еще спасеніемъ, что на практикѣ понятіе о задачѣ учебнаго воспитанія не затерялось; слѣдили болѣе всего все-таки за развитіемъ. Но въ примѣненіи къ новой программѣ чѣмъ эта добрая забота между прочимъ сказала? Въ бывшемъ философскомъ классѣ главнымъ предметомъ на второй годъ поставлено было Ученіе объ Отцахъ Церкви, послѣ логики со психологіей, которыя служили главными для перваго года. Легко представить себѣ разладъ, вносимый въ голову такою очередью наукъ; легко представить нескладицу, что тотъ же преподаватель, въ качествѣ главнаго наставника, присаженъ къ столь разнороднымъ предметамъ, и легко представить развращеніе молодаго ума, обязаннаго писать разсужденія объ особенностяхъ того

и другаго Отца или о значеніи того и другаго творенія отеческаго, когда все свѣдѣніе объ Отцѣ ограничивается заученнымъ рукописнымъ полулистикомъ, сообщаемымъ сухой перечень заглавій и два, три болѣе или менѣе короткія изреченія. Благодареніе судьбѣ, меня миновала эта бѣда: такъ какъ происходилъ самый переломъ программы, то патрологію не успѣли ввести тогда въ философскій классъ и возвысить въ чинъ главной науки; я слушалъ ее уже въ богословскомъ классѣ, и значилась она не главнымъ, напротивъ, едва не послѣднимъ предметомъ, а потому отъ обязанности самоизмышленныхъ мудрованій надъ историческими темами Богъ меня миловалъ.

Риторическій классъ, какъ сказалъ я выше, считался въ старину послѣднею стадіей формальной зрѣлости; изъ него поступали уже въ университетъ между прочимъ. Такъ было въ Славяно-Греко-Латинской Академіи; такъ продолжалось и въ семинаріи до тридцатыхъ годовъ. Риторы поэтому не считались мальчиками. Въ мое время прямой переходъ изъ риторическаго класса въ университетъ былъ затрудненъ, но по преданію, съ нами обращались почти какъ съ взрослыми. Объ училищныхъ наказаніяхъ въ родѣ сѣчень или колѣнопреклоненія не было помина. Хотя между семинаристами было сознаніе, что риторовъ *можно* сѣчь, и ходили слухи, что послѣ экзаменовъ призываютъ учениковъ дурно себя ведущихъ въ правленіе и тамъ ихъ сѣкутъ, но не припомню ни одного опредѣленнаго случая въ этомъ родѣ во все свое двухлѣтнее пребываніе въ риторическомъ классѣ. Болѣе обыкновеннымъ наказаніемъ для провинившихся было „сажанье за голодный столъ“ въ бурсацкой столовой; существовалъ карцеръ; но примѣненія были рѣдки во всякомъ случаѣ. Большинство профессоровъ даже съ нами, риторами, обращались на „вы“. Право единственнаго числа оставалось за ректоромъ и инспекторомъ по отношенію къ учащимся всѣхъ классовъ, и за главными наставниками по отношенію къ

Синтаксис; тамъ атрибуты дѣйствительной власти были въ рукахъ: цензорство, аудиторство, старшинство. А здѣсь „старшіе“ существуютъ только для бурсаковъ, для своекоштныхъ же лишь номинально, да и назначаются изъ воспитанниковъ высшаго отдѣленія—„богослововъ“. Цензоръ хотя есть, но безо всякой власти, почти утратилъ и названіе цензора; его именуютъ чаще журналистомъ. И назначенъ онъ, какъ и вообще назначались, изъ казеннокоштныхъ; а на грѣхъ, въ нашемъ классѣ ни одного „старого“ нѣтъ изъ казеннокоштныхъ; журналъ потому оказался въ рукахъ новичка (перваго ученика изъ „Андроньевскихъ“). Аудиторы тоже назначены; но здѣсь, не такъ какъ въ училищѣ, это учрежденіе на столько слабо, что на примѣръ я не могу даже возстановить въ памяти ни одного случая, когда бы „слушался“. Ясно, что ученики смотрѣли на аудиторство, какъ на пустую формальность, лишенную значенія. И дѣйствительно, продолжалось оно всего мѣсяца четыре, послѣ чего было совсѣмъ упразднено; да и было только для уроковъ словесности.

Тѣмъ не менѣе „старые“ держали себя высокомерно, обращались съ замѣчаніями къ молодымъ и даже дерзали наказывать, чему молодые безропотно покорялись.

— Ты что это развалился? Харчевня здѣсь что ли? обращается старый къ кому-нибудь, сидящему слишкомъ развязно.

— Не изволь разговаривать! обращается къ другому.— А ты это что? кричитъ на третьяго.— Скажите, каковъ! Онъ и руки на столъ! Стой за это столбомъ.

Съ такими поученіями обращались впрочемъ къ тѣмъ лишь, кто одѣтъ побѣднѣе; соображали, что неравно наскочишь на московскаго попovichа; тотъ самъ дастъ сдачи, да еще пожалуется. Къ чести семинаристовъ прибавлю, что и изъ „старыхъ“ не всѣ изъявляли притязаніе на эти приемы гувернантокъ съ ихъ „tenez-vous droit“. Въ нашемъ классѣ не было даже ни одного та-

кого; потѣшались приходящіе изъ другихъ риторикъ. Можетъ-быть и по природѣ наши были скромнѣе; а можетъ быть были и умнѣе, говорило сознаніе: какими же глазами посмѣю я смотрѣть послѣ въ глаза товарищамъ? Нашими наглость оказываема была въ другомъ видѣ, и то однимъ Михайломъ Ивановичемъ Грузовымъ, о которомъ еще будетъ рѣчь далѣе. „Подинапой чаемъ“, обращается онъ къ какому-нибудь новичку, подзывая въ трактиръ. А то и крикнетъ на весь классъ: „кто, господа, хочетъ со мною въ трактиръ“? Легковѣрные пойдутъ въ обѣденные часы и заплатятъ за него. Къ слову сказать, въ обращеніи ко множеству теперь употребляется слово „господа“, тогда какъ въ училищѣ обычнымъ призываніемъ было „братцы“ или „ребята“. Съ правомъ на рукопожатіе „братецъ“ обращался въ „господина“.

Судьба этого Грузова была особенная. Не безъ дарованій, онъ кончилъ жалко и погубила его ноздревщина, сидѣвшая въ немъ. Выйдя изъ семинаріи студентомъ, получилъ діаконское мѣсто въ Москвѣ. Пилъ, да не какъ всѣ, съ соблюденіемъ бы приличій, а шлялся по трактирамъ и кабакамъ, не будучи однако пьяницей. Умеръ у него ребенокъ, и онъ съ гробомъ дитяти, по дорогѣ на кладбище, зашелъ въ полпивную, не то кабакъ, подкрѣпить себя на путешествіе. Долго ли коротко ли продолжались его подвиги въ такомъ родѣ, онъ былъ разстриженъ, и кончилъ жизнь гдѣ? Въ веселомъ заведеніи или подъ заборомъ гдѣ-нибудь въ подобномъ мѣстѣ.

Чрезъ недѣлю, а то и менѣе, классъ сравнялся. Осмотрѣлись, приглядѣлись, старые смѣшались съ молодыми. Не удержалась и первоначальная рассадка; каждый выбралъ себѣ мѣсто по вкусу, который опредѣлялся составленными знакомствами, а отчасти степенью прилежанія. Друзья, однокашники облюбовывали себѣ, въ числѣ троихъ-четверыхъ, опредѣленный уголокъ: балбесы удалялись въ задъ, гдѣ можно заняться болтов-

ней. Передъ оставался для болѣе внимательныхъ къ урокамъ или желающихъ выставиться.

Учебные часы остались тѣ же что въ училищѣ: тѣ же три двухчасовые класса въ день, два предъ обѣдомъ (отъ 8 до 12) и одинъ (отъ 2 до 4) послѣ обѣда; тѣ же часовые или около того отдыхи между классами. Сверхъ субботняго вечера, который былъ гулевымъ въ училищѣ, прибавилось еще два, въ понедѣльникъ и въ четвергъ. Слѣдовало ли такъ по программѣ? Сомнѣваюсь; раза два-три собирали насъ на послѣобѣденные классы по понедѣльникамъ; осталось впечатлѣнiе, что одинъ изъ прогульныхъ вечеровъ есть вольность, допущенная начальствомъ.

Итакъ, въ недѣлю приходилось учебныхъ часовъ, говоря строго, всего пятнадцать съ чѣмъ-нибудь, а на каждый день кругомъ менѣе трехъ. Семинаристы не могли жаловаться на утомленiе или опасаться искривленiй стана и порчи глазъ. Естественнѣе спросить: чѣмъ наполнялось столь обширное пустое время? Во первыхъ, являлись позже звонка. Въ утреннюю перемѣну бродили по корридору, по двору, завтракали. Для денежныхъ людей къ услугамъ былъ булочникъ съ хлѣбами, пирогами, вареною колбасой; къ десяти часамъ онъ являлся неизмѣнно. Менѣе достаточные, но знакомые съ бурсаками, жившими въ корридорѣ рядомъ, пользовались казеннымъ чернымъ хлѣбомъ, ломти котораго цѣлыми корзинами принашивались въ номера къ тому же часу. Въ обѣденное время квартировавшiе вблизи кейфовали по домамъ. Но несносны были долгiе обѣденные часы для тѣхъ, которые жили въ отдаленныхъ частяхъ города и обѣдать домой не уходили. Разбредались куда-то впрочемъ и эти, часть между прочимъ по трактирамъ.

Не могу не отмѣтить странности, которая только сейчасъ всплываетъ въ памяти. Я велъ въ началѣ семинарскаго курса какую-то безплотную жизнь. Не помню, чтобы голодалъ. Вставши рано, зимой до свѣта, под-

крѣпивъ себя не болѣе какъ чашкой чая съ ломтемъ хлѣба, я шагаль отъ Новодѣвичьяго монастыря пять верстъ на Никольскую и до возвращенія домой въ шестомъ часу вечера не чувствовалъ позыва на пищу. Я не отказывался закусить, когда приходилось, но никогда не приходила мысль: чего бы закусить? Равнодушно смотрѣлъ, какъ уписывали другіе булку или пирогъ: примѣръ не возбуждалъ аппетита. Не очень далеко отъ семинаріи жили двоюродные братья: въ Овчинникахъ дьякономъ былъ извѣстный читателю Иванъ Васильевичъ Смирновъ, а ближе, на Ильинкѣ, дьячкомъ у Николы Большаго Креста родной его братъ Василій Васильевичъ. Хаживалъ я иногда къ нимъ въ обѣденное время и обѣдывалъ, но хаживалъ не за тѣмъ чтобы пообѣдать, а отъ скуки и просто чтобы повидать. Приходя домой, даже когда повидимому утомленіе должно было дойти до послѣдняго градуса, послѣ двѣнадцати-часоваго воздержанія и десятиверстнаго пути, я не набрасывался на пищу. Напротивъ, случалось, что заходилъ куда-нибудь еще вечеромъ, отдалялъ время обѣда еще на нѣсколько часовъ, удлинялъ свой путь еще на нѣсколько верстъ и не ощущалъ ни усталости, ни голода, ни жажды. И я былъ цвѣтущъ и живъ. Мускулы были слабо развиты, но весь дышалъ здоровьемъ; напротивъ, первую немоготу почувствовалъ именно тогда, когда поступилъ на болѣе правильную повидимому жизнь и на болѣе сытную пищу. Вспоминая индійцевъ, довольствующихся полугорстью риса и собственный опытъ, колеблюсь признать безусловную вѣрность теоріи питанія, построенной на опытахъ откармливанія живности и на аппетитѣ Джонъ-Булля.

Постная жизнь, которую я велъ, была между прочимъ причиной, что я не познакомился и съ семинарскимъ булочникомъ. А вѣроятно онъ былъ лицо, и матеріально и нравственно связанное съ семинаріей, какъ бываетъ въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ, какъ было по крайней мѣрѣ въ Коломенскомъ училищѣ, и послѣ у

Троицы, въ Академіи. Въ Коломнѣ Степанъ калачникъ, Александръ сбитенщикъ и Акулина маковница, образовавшіе постоянный рынокъ у училищнаго двора, жили, по крайней мѣрѣ первые двое, одною съ учениками жизнью: не только знали всѣхъ, но интересовались успѣхами и неудачами cadaго, проникались уваженіемъ къ отлично учащимся, панибратски - пренебрежительно обращались съ лѣнтяями и тупицами, трепетали предъ экзаменами и даже помогали обманывать ревизоровъ. Задано письменное упражненіе; насланный изъ Москвы ревизоръ сидитъ въ залѣ. Но текстъ задачи спускается на ниткѣ въ окно; подъ окномъ отвязываютъ и бѣгутъ къ отцу діакону какому-нибудь, а то и священнику, и готовый переводъ несутъ чрезъ полчаса снова на училищный дворъ. Снова ниточка, и ребята пользуются услугами можетъ-быть даже неизвѣстнаго имъ сострадательнаго благодѣтеля. Кто же отвязывалъ, кто привязывалъ, кто бѣгалъ, искалъ знатока латыни? Не ученикъ: опасно и некогда. Калачникъ или сбитенщикъ платятъ своею услугою въ тяжелое время проценты потребителямъ за полученные съ нихъ барыши. А Алексѣй хлѣбникъ у Троицы былъ живою исторіей Академіи. Никто такъ твердо не помнилъ академическихъ списковъ за цѣлые десятки лѣтъ. Какъ въ календарѣ, у него можно было справиться, кто въ какомъ году кончилъ курсъ, съ какою степенью, въ какомъ номерѣ жилъ первые два года, въ какомъ вторые; мало того, кто куда былъ назначенъ, потомъ перемѣщенъ и гдѣ теперь служить. Но участіе Алексѣя было лишь историческое и вытекало изъ основаній экономическихъ. Студентъ пользовался у него безусловнымъ кредитомъ во все время курса, доходившимъ иногда до размѣровъ учительскаго жалованья. Если не при окончаніи курса, при полученіи подъемныхъ, то послѣ, со службы, должникъ его разомъ или по частямъ очиститъ свой долгъ. Алексѣй въ это вѣрилъ и не бывалъ обманутъ; но это же и образовало изъ него ходячую лѣтопись Академіи.

Писаны повѣсти и драматическія піесы на тему о полковыхъ собакахъ, полковыхъ сиротахъ; типы няньки, дядьки исчерпаны литтературой; но типъ училищнаго булочника не менѣе занимателенъ, гдѣ духовные, отчасти и научные интересы вливаются въ душу безграмотнаго торговца, сорадующагося и сострадающаго событіямъ, не имѣющимъ отношенія ни къ калачамъ, ни къ торговлѣ. Благодаря этой нравственной связи, много мнѣ въ свое время выпало угощеній и сбитнемъ и булками, угощеній совершенно безкорыстныхъ, потому что ни вреда, ни пользы не могъ я ничѣмъ оказать ни Степану, ни Александру, ни Акулинѣ.

Сохранялась въ семинаріи и простота въ расположеніи уроковъ, съ какою мы знакомы были по училищу. Предметовъ преподаванія въ риторическомъ классѣ было пять: 1) Словесность, 2) Гражданская исторія, 3) Латинскій языкъ, 4) Греческій, 5) Французскій и Нѣмецкій—тотъ или другой по произволению. На профессорѣ словесности лежало преподаваніе и латинскаго языка.

Глубокій, глубочайшій смыслъ лежалъ въ старой школьной системѣ. Разумность поступанія въ формальномъ развитіи очевидна; но не въ этомъ одномъ ея достоинство, а кромѣ того въ сосредоточенности и полнотѣ дѣйствія, которыя предполагались въ каждомъ постепенномъ шагѣ. Три класса: риторика, философія и богословіе. Въ каждомъ по одному руководителю и по одному пособию: въ риторикѣ пособиемъ профессора словесности—преподаватель исторіи; въ философіи къ преподавателю этой науки приставленъ преподаватель математики; при профессорѣ богословія въ богословскомъ классѣ стоитъ профессоръ церковной исторіи. Сосредоточивая учащагося подъ однимъ главнымъ руководителемъ и надъ однимъ главнымъ предметомъ, каждый классъ съ тѣмъ вмѣстѣ былъ полнымъ законченнымъ курсомъ: риторика и гражданская исторія не переходили въ философскій классъ, и философія съ ма-

тематикой—въ богословскій. Отсюда—двухлѣтній курсъ каждаго класса.

Двумя преобразованіями разрушили эту систему. Программу отчасти разжидили, отчасти засорили; а потомъ отмѣнили и раздѣленіе семинаріи на три двухгодичные курса, замѣнивъ ихъ шестью одногодичными классами. Въ послѣднемъ взяли очевидно примѣръ съ гимназій; основаніемъ же выставлено то, что двухгодичные классы влекутъ де за собою напрасную потерю времени для тѣхъ, кого приходится оставлять на повторительный курсъ. Итакъ, изъ-за нѣсколькихъ лѣтяевъ и тупицъ ниспровергнута цѣлая система. Раздѣлили бы по этой уважительной причинѣ курсъ уже на семестры и образовали бы вмѣсто шести двѣнадцать классовъ; лѣтнія съ тупицами еще менѣе бы тогда теряли. А было время, когда на повторительный курсъ оставались добровольно и притомъ юноши даровитые и прилежные, не скорбя о томъ, что повтореніе продолжится не одинъ годъ, а два. Преобразователи не вникли, что двухгодичные классы придуманы не изъ экономіи, чтобы залъ было меньше числомъ; число и продолженіе классовъ соображено было съ составомъ курса и съ періодами умственного развитія. Какъ учебныя заведенія вообще дѣлятся на низшія, среднія и высшія, такъ отнесенная къ числу среднихъ семинарія въ частности дѣлилась на три періода, и каждому періоду даны соотвѣтственные науки, которыя въ нихъ и начинались и оканчивались. Это были факультеты своего рода, но факультеты послѣдовательные, а не параллельные. Философія съ богословіемъ были и дѣйствительными факультетами во времена старой Академіи; риторикой оканчивалась формальная зрѣлость; учащемуся предоставлялось слушать дальнѣйшія лекціи въ своихъ ли факультетахъ, въ факультетахъ ли университетскихъ.

Первая брешь была пробита именно въ мое время. По окончаніи риторическаго курса пришлось доканчивать остальные четыре года уже въ преобразованной

семинаріи, правда еще съ двухлѣт-
дрили свое существованіе еще слиш-
до новаго преобразованія). Примѣнен-
испытано было мною отчасти даже въ
послѣдній годъ неожиданно вошелъ въ аудиторію
подаватель математики изъ средняго отдѣленія и
чалъ объяснять историческія книги Ветхаго Завета. Не
помню, но кажется отъ словесности оторвали для этого
предмета часть въ недѣлю. Впрочемъ ничего и не вышло:
и преподаватель являлся только для формы, и мы его
не слушали; да и экзамена, помнится, отъ насъ по
этому предмету не требовали.

Реформа 1839 года исходила изъ такого возраженія:
семинарское образованіе слишкомъ де отвлеченно и мало
примѣнено къ званію, которому служило приготовленіе-
емъ. Въ виду этого ввели: 1) истолкованіе Св. Писанія
во всѣ классы, начиная съ низшаго отдѣленія; 2) въ
то же низшее отдѣленіе ввели ученіе о богослужебныхъ
книгахъ (а послѣ и алгебру съ геометріей); 3) въ фи-
лософскій классъ — библейскую исторію, герменевтику,
русскую гражданскую исторію, физику (а послѣ того
и патристику еще), совершивъ ради новыхъ гостей
обрѣзаніе надъ самою философіей и надъ математикой
(изъ философіи оставили только логику съ психологіей,
а изъ математики выкинули тригонометрію); 4) къ бо-
гословскому классу прибавили гомилетику, церковную
археологію, каноническое право, да не довольствуясь
тѣмъ — еще сельское хозяйство и медицину. Если не
считать сельскаго хозяйства и медицины, которыя вве-
дены совсѣмъ уже безъ связи съ общою программой,
выходило по своему стройно: науки пошли параллельно
черезъ весь курсъ, начиная съ перваго года. Но этимъ
введеніемъ параллельнаго порядка на мѣсто послѣдо-
вательнаго, этимъ поперечнымъ стѣченіемъ на мѣсто
продольнаго, вниманіе учащихся было раздроблено, по-
степенность утрачена, изъ прежнихъ наукъ самыя глав-
ныя ослаблены, а нововведенныя и не прижились и оста-

съ безъ слѣда, даже проходя чрезъ память учащагося. Впрочемъ, за исключеніемъ медицины съ сельскимъ хозяйствомъ, новая программа не прибавила ничего такого, чему бы не нашлось мѣста въ старой: профессоръ Богословія въ состояніи былъ преподавать (дѣльные и успѣвали преподавать) и герменевтику, и экзегетику, и гомилетику, и притомъ въ размѣрахъ не меньшихъ чѣмъ по новому уставу; профессоръ Церковной Истории въ состояніи былъ сообщить (дѣльные и сообщали) свѣдѣнія по патристикѣ и археологіи. И жалости было достойно, какъ при новомъ уставѣ подавалось учащимся совершенно то же, часто до буквальности повторяющееся, подъ разными именоваціями и въ разныхъ одѣяніяхъ — богословія или экзегетики, церковной исторіи или патристики. Кромѣ разсѣянности, неизбѣжной при множествѣ предметовъ, кромѣ потери времени на повтореніе тождественныхъ положеній и на изученіе „введеній“ въ разнообразныя новыя науки, получалось еще положительное развращеніе ума. Самоважнѣйшею частію курса все-таки продолжали считаться письменныя упражненія. Преданіе объ этомъ удержалось; соблюдалось и прежнее правило, что темы для сочиненій даются по главнымъ предметамъ въ каждомъ классѣ. И это было еще спасеніемъ, что на практикѣ понятіе о задачѣ учебнаго воспитанія не затерялось; слѣдили болѣе всего все-таки за развитіемъ. Но въ примѣненіи къ новой программѣ чѣмъ эта добрая забота между прочимъ сказала? Въ бывшемъ философскомъ классѣ главнымъ предметомъ на второй годъ поставлено было Ученіе объ Отцахъ Церкви, послѣ логики со психологіей, которыя служили главными для перваго года. Легко представить себѣ разладъ, вносимый въ голову такою очередью наукъ; легко представить нескладницу, что тотъ же преподаватель, въ качествѣ главнаго наставника, присаженъ къ столь разнороднымъ предметамъ, и легко представить развращеніе молодаго ума, обязаннаго писать разсужденія объ особенностяхъ того

и другого Отца или о значеніи того и другого творенія отеческаго, когда все свѣдѣніе объ Отцѣ ограничивается заученнымъ рукописнымъ полулистикомъ, сообщаемымъ сухой перечень заглавій и два, три болѣе или менѣе короткія изреченія. Благодареніе судьбѣ, меня миновала эта бѣда: такъ какъ происходилъ самый переломъ программы, то патрологію не успѣли ввести тогда въ философскій классъ и возвысить въ чинъ главной науки; я слушалъ ее уже въ богословскомъ классѣ, и значилась она не главнымъ, напротивъ, едва не послѣднимъ предметомъ, а потому отъ обязанности самоизмышленныхъ мудрованій надъ историческими темами Богъ меня миловалъ.

Риторическій классъ, какъ сказалъ я выше, считался въ старину послѣднею стадіей формальной зрѣлости; изъ него поступали уже въ университетъ между прочимъ. Такъ было въ Славяно-Греко-Латинской Академіи; такъ продолжалось и въ семинаріи до тридцатыхъ годовъ. Риторы поэтому не считались мальчиками. Въ мое время прямой переходъ изъ риторическаго класса въ университетъ былъ затрудненъ, но по преданію, съ нами обращались почти какъ съ взрослыми. Объ училищныхъ наказаніяхъ въ родѣ сѣчень или колѣнопреклоненія не было помина. Хотя между семинаристами было сознаніе, что раторовъ *можно* сѣчь, и ходили слухи, что послѣ экзаменовъ призываютъ учениковъ дурно себя ведущихъ въ правленіе и тамъ ихъ сѣкутъ, но не припомню ни одного опредѣленнаго случая въ этомъ родѣ во все свое двухлѣтнее пребываніе въ риторическомъ классѣ. Болѣе обыкновеннымъ наказаніемъ для провинившихся было „сажанье за голодный столъ“ въ бурсацкой столовой; существовалъ карцеръ; но примѣненія были рѣдки во всякомъ случаѣ. Большинство профессоровъ даже съ нами, роторами, обращались на „вы“. Право единственнаго числа оставалось за ректоромъ и инспекторомъ по отношенію къ учащимся всѣхъ классовъ, и за главными наставниками по отношенію къ

риторамъ. Завелось это само собою, безъ понужденій из программъ. На говорившихъ „ты“ ученики не обижа-лись, вѣжливымъ съ собою обращеніемъ не кичились.. Бывало, что въ томъ же классѣ и тотъ же преподава-тель обращается къ одному съ „ты“, къ другому съ „вы“, и выходило естественно, не возбуждая удивленія.. Разница обращенія вызывалась неодинаковою заслугой учащагося и молча всѣми признавалась.

О дисциплинѣ, господствовавшей въ семинарской бур-сѣ, не имѣю понятія. Но кромѣ казеннокоштныхъ, помѣщавшихся въ самомъ зданіи семинаріи, семинаристы располагались общежитіями въ двухъ монастыряхъ, да-вавшихъ даровое помѣщеніе (Богоявленскомъ и Злато-устовскомъ), и въ такъ-называемомъ Остермановомъ до-мѣ. Это былъ домъ за Каретнымъ рядомъ, купленный Коммиссіей Духовныхъ Училищъ у наслѣдниковъ графа Остермана и назначенный для сооруженія новой семи-наріи. Въ періодъ стройки одинъ изъ старыхъ флиге-лей отдавался на житье семинаристамъ. Тамъ, какъ и въ двухъ поименованныхъ монастыряхъ, они вели свое хозяйство, то-есть нанимали повара и покупали прови-зію. Порядки были въ родѣ училищныхъ: тѣ же „стар-шіе“, та же невообразимая грязь и бѣдность, предъ ко-торыми самая бурса, нумера казеннокоштныхъ, могла казаться роскошью. Тутъ было свѣтло и по возможно-сти чисто; постели опрятны до извѣстной степени. А бывалъ я въ общежитіи Богоявленскаго монастыря: ниж-ній этажъ, низкія комнаты, почти нѣтъ свѣта, воздухъ нестерпимый, почти то же что въ Коломенской бурсѣ.. Навѣдывались между тѣмъ по временамъ субъ-инспек-торы, и крошечку прибавить заботы о чистотѣ ниче-го бы не стоило. Но не ощущали въ ней потребности ни подчиненные, ни начальство.

Надъ своекоштными, разсѣянными по одиночнымъ квартирамъ и родительскимъ домамъ, надзора не было никакого, хотя и числились по городу „старшіе“. Свое-коштные были вольныя птицы.

XXXVI

И с п ы т а н і е.

Когда это произошло? Черезъ недѣлю послѣ первоначальной нашей разсѣдки или раньше? Что вообще происходило въ первые дни, какъ явился къ намъ одинъ профессоръ и другой профессоръ, о чемъ они говорили, какіе уроки намъ были заданы, съ чьей тетради я списывалъ учебникъ словесности и даже списывалъ ли, гдѣ добылъ учебникъ Кайданова по всеобщей гражданской исторіи и даже обладалъ ли этою книгой, какъ и гдѣ училъ уроки, какъ и у кого „слушался“ — все затмилось. Какъ будто аудиторомъ былъ Солнцевъ, уже взрослый малый, брившій бороду, бѣлокурый, со звонкимъ голосомъ, позволявшимъ ему отвѣчать уроки по исторіи съ особенною отчетливостью звуковъ, отчеканивать. Такъ темно припоминается все, что не вполне рѣшаюсь себѣ довѣрить. Яснѣе помню, какъ вошелъ къ намъ лекторъ греческаго языка (преподавателями греческаго и французскаго съ нѣмецкимъ были въ низшемъ отдѣленіи лекторы, ученики богословія). Помню, что это было въ утренній классъ, да и то удержалось въ памяти лишь по особенной искривленной улыбкѣ, которая свойственна была лектору и которую я тотчасъ же, при первомъ разѣ, замѣтилъ, удержалъ въ памяти и доселѣ живо представляю. Помню еще приходъ инспектора, іеромонаха Евсевія (скончавшагося архіепископомъ Могилевскимъ, кажется, въ прошломъ году). Приходилъ онъ предъ тѣмъ, какъ мы должны были объявить, кому изъ языковъ кто изъ насъ желаетъ учиться, французскому или нѣмецкому. Что-то онъ говорилъ, кажется, о новыхъ языкахъ вообще и повидимому рекомендовалъ нѣмецкій на томъ основаніи, что нѣмецкая литература обилуетъ учеными книгами. Но все это „по-

риторамъ. Завелось это само собою, безъ понужденій и программъ. На говорившихъ „ты“ ученики не обижа-лись, вѣжливымъ съ собою обращеніемъ не кичились.. Бывало, что въ томъ же классѣ и тотъ же преподава-тель обращается къ одному съ „ты“, къ другому съ „вы“, и выходило естественно, не возбуждая удивленія.. Разница обращенія вызывалась неодинаковою заслугой учащагося и молча всѣми признавалась.

О дисциплинѣ, господствовавшей въ семинарской бур-сѣ, не имѣю понятія. Но кромѣ казеннокоштныхъ, по-мѣщавшихся въ самомъ зданіи семинаріи, семинаристы располагались общежитіями въ двухъ монастыряхъ, да-вавшихъ даровое помѣщеніе (Богоявленскомъ и Злато-устовскомъ), и въ такъ-называемомъ Остермановомъ до-мѣ. Это былъ домъ за Каретнымъ рядомъ, купленный Коммиссіей Духовныхъ Училищъ у наслѣдниковъ графа Остермана и назначенный для сооруженія новой семи-наріи. Въ періодъ стройки одинъ изъ старыхъ флиге-лей отдавался на житье семинаристамъ. Тамъ, какъ и въ двухъ поименованныхъ монастыряхъ, они вели свое хозяйство, то-есть нанимали повара и покупали прови-зію. Порядки были въ родѣ училищныхъ: тѣ же „стар-шіе“, та же невообразимая грязь и бѣдность, предъ ко-торыми самая бурса, нумера казеннокоштныхъ, могла казаться роскошью. Тутъ было свѣтло и по возможно-сти чисто; постели опрятны до извѣстной степени. А бывалъ я въ общежитіи Богоявленскаго монастыря: ниж-ній этажъ, низкія комнаты, почти нѣтъ свѣта, воздухъ нестерпимый, почти то же что въ Коломенской бурсѣ. Навѣдывались между тѣмъ по временамъ субъ-инспек-торы, и крошечку прибавить заботы о чистотѣ ничего бы не стоило. Но не ощущали въ ней потребности ни: подчиненные, ни начальство.

Надъ своекоштными, разсѣянными по одиночнымъ квартирамъ и родительскимъ домамъ, надзора не было никакого, хотя и числились по городу „старшіе“. Свое-коштные были вольныя птицы.

XXXVI

И с п ы т а н і е.

Когда это произошло? Черезъ недѣлю послѣ первоначальной нашей разсѣлки или раньше? Что вообще происходило въ первые дни, какъ явился къ намъ одинъ профессоръ и другой профессоръ, о чемъ они говорили, какіе уроки намъ были заданы, съ чьей тетради я списывалъ учебникъ словесности и даже списывалъ ли, гдѣ добылъ учебникъ Кайданова по всеобщей гражданской исторіи и даже обладалъ ли этою книгой, какъ и гдѣ училъ уроки, какъ и у кого „слушался“ — все затмилось. Какъ будто аудиторомъ былъ Солнцевъ, уже взрослый малый, брившій бороду, бѣлокурый, со звонкимъ голосомъ, позволявшимъ ему отвѣчать уроки по исторіи съ особенною отчетливостью звуковъ, отчеканивать. Такъ темно припоминается все, что не вполне рѣшаюсь себѣ довѣрить. Яснѣе помню, какъ вошелъ къ намъ лекторъ греческаго языка (преподавателями греческаго и французскаго съ нѣмецкимъ были въ низшемъ отдѣленіи лекторы, ученики богословія). Помню, что это было въ утренній классъ, да и то удержалось въ памяти лишь по особенной искривленной улыбкѣ, которая свойственна была лектору и которую я тотчасъ же, при первомъ разѣ, замѣтилъ, удержалъ въ памяти и доселѣ живо представляю. Помню еще приходъ инспектора, іеромонаха Евсевія (скончавшагося архіепископомъ Могилевскимъ, кажется, въ прошломъ году). Приходилъ онъ предъ тѣмъ, какъ мы должны были объявить, кому изъ языковъ кто изъ насъ желаетъ учиться, французскому или нѣмецкому. Что-то онъ говорилъ, кажется, о новыхъ языкахъ вообще и повидимому рекомендовалъ нѣмецкій на томъ основаніи, что нѣмецкая литература обилуетъ учеными книгами. Но все это „по-

видимому“, „кажется“ и „будто“. Помню еще, и это достоверно, что собирались деньги (отъ меня ничего не сошло) на покупку книгъ для ученическаго чтенія; что куплены были *Часы Благоговѣнія* и сочиненія Жуковскаго. Это было тоже въ первое время, но когда именно, о томъ не помню. Множество мелочей изъ коломенской, болѣе ранней жизни ясны въ памяти, а семинарскій періодъ и самое его начало, которое, казалось бы, должно всего неизгладимѣе запечатлѣться по рѣзкости перехода, тускло мерцають.

Бралъ ли я *Часы Благоговѣнія*? Кажется нѣтъ, и если бралъ у кого-нибудь на посмотриѣніе въ теченіе четверти часа, то читать навѣрное болѣе двухъ-трехъ страницъ не читалъ. Еще не кончился тотъ періодъ, когда разсужденія и чувствованія въ книгахъ вообще мною пропускались.

Почему избралъ я французскій языкъ, а не нѣмецкій? Это помню. 1) Потому что присовѣтовалъ братъ, самъ учившійся хотя по-нѣмецки, но недовольный этимъ. Незнаніе французскаго языка особенно давало ему чувствовать свою невыгоду въ то время, когда онъ жилъ у Кирѣевскихъ, гдѣ семейство и все знакомое общество преимущественно объяснялись по-французски. 2) Я уже начиналъ учиться самоучкой французскому, переписалъ собственноручно правила произношенія, составленные знакомымъ брата І. И. Горлицынымъ и заучилъ наизусть исключенія изъ правилъ. 3) Мнѣ претила нѣмецкая печать: какія-то каракули, „тараканьи ножки“, какъ я ихъ тогда называлъ. Каждая буква казалась насѣкомымъ и возбуждала омерзѣніе, которое усилилось тѣмъ болѣе въ послѣдствіи, когда товарищи показали мнѣ письменное начертаніе буквъ. Искусственность начертанія, удаленіе отъ ясной простоты латинскаго меня возмущали. И не предполагалъ я, что будетъ чрезъ шесть лѣтъ со мною! Положимъ, съ азбукой нѣмецкою я до сихъ поръ не примирился, но никакъ не могъ я ожидать, чтобы полюбилъ въ послѣдствіи литературу

нѣмецкую и возчувствовалъ наоборотъ безразличность ко французской.

По отношенію къ описываемому періоду жизни вообще я нахожу себя въ положеніи археолога, который по сохранившимся обломкамъ и отрывкамъ пытается угадать утратившіяся части и сравнительнымъ путемъ опредѣляетъ хронологическую данную, въ лѣтописяхъ умолчанную. Когда я напримѣръ въ гротѣ Александровскаго сада встрѣтилъ Француза-путешественника, заинтересовавшагося книжкой, бывшей у меня въ рукахъ, и записавшаго ея заглавіе? Въ какомъ году это было, 1839, 1840 или 1841? Начинаю соображать время года, часъ дня и по этимъ и другимъ признакамъ опредѣляю первоначально, когда этого *не могло* быть. Отсюда уже, по соображенію другихъ обстоятельствъ, прихожу къ достовѣрному заключенію, что происшествіе случилось въ августъ 1841 года. Такимъ-то образомъ возстановляю и всю исторію шести лѣтъ, но возстановляю притомъ не самое пребываніе въ семинаріи, а обстоятельства внѣшнія, современныя семинаріи, и по нимъ уже семинарію. Отъ того это, полагаю я, что семинарія во внутреннемъ моемъ ростѣ мало участвовала; онъ былъ плодомъ внутренней работы. Развѣ я училъ уроки? Никогда. Развѣ я слушалъ профессоровъ? Я болѣе надъ ними смѣялся; а начиная со средняго отдѣленія (философіи) только и зналъ, что смѣялся, смѣялся внутренно и критиковалъ ихъ въ товарищескихъ бесѣдахъ, подцѣплялъ ошибки, уличалъ невѣжество (не въ глаза конечно). Когда прохожденіе курса оказывалось только внѣшнимъ прикосновеніемъ къ нему, онъ и не могъ оставить глубокаго слѣда: пренебреженіе сказалось забвеніемъ.

Но свѣжо помню обстоятельство первыхъ дней риторическаго курса, озаглавленное выше словомъ „испытаніе“. Черезъ недѣлю ли послѣ поступленія, раньше ли, позже ли это случилось, профессоръ словесно-

сти Семень Николаевичъ Орловъ явился съ книгой (какъ послѣ оказалось—Овидія) и вызвалъ сидѣвшаго первымъ на первой скамьѣ, первенца изъ „старыхъ“ (помню его фамилію: Страховъ). Раскрылъ книгу, подалъ Страхову, указалъ мѣсто. За дальностью профессорскаго стола осталось мнѣ неизвѣстнымъ содержаніе ихъ бесѣды. Отпустилъ Страхова; вызываетъ первенца изъ учениковъ Петровскаго училища къ намъ поступившихъ; книга опять подается, опять указывается мѣсто, опять неизвѣстные переговоры. По уходѣ Сперанскаго (изъ Петровскаго), вызывается первенецъ Андроньевскій, затѣмъ Перервинскій. Наконецъ дошла до меня очередь. Овидій, вижу. Указывается мѣсто; перевожу.

— Да у васъ это переводили? спрашиваетъ профессоръ подозрительно.

— Нѣтъ.

— Почему же ты это знаешь? Что такое Di?

— Di—сокращенное Dii, отвѣчаю я ему, догадываясь теперь, что должно-быть мои предшественники не выразумѣли этой формы. Не ахти же они какіе латинисты, подумалъ я.

Раскрылъ профессоръ другую страницу; снова поставилъ перевести. Снова я перевелъ безошибочно.

— А какой это размѣръ?

Я хотя въ просодіи и не былъ силенъ, однако отвѣтилъ опять безъ ошибки и былъ отпущенъ на мѣсто.

День прошелъ или два за тѣмъ, не помню опять. Занимались латинскимъ языкомъ; переводили книжку *Selectae Historiae*. Переводить упомянутый Страховъ. Страницу перевелъ. Выслушавъ переводъ, обращается къ переводившему профессоръ:

„А о чемъ это переводили? Скажи наизусть; повтори наизусть мѣсто, которое ты перевелъ.“

Страховъ затруднился, замялся.

— Гиляровъ!

Я встаю.

— Можешь наизусть повторить переведенное сейчас?

Я повторилъ, можетъ-быть и не буквально и даже вѣрнѣе всего что не буквально, потому что профессоръ бы такъ не поразился. Я отвѣтилъ должно-быть свободно, съ перемѣной нѣкоторыхъ выраженій на другія, но съ сохраненіемъ стиля и безъ пропусковъ.

Должно-быть однако все-таки усомнился профессоръ. Сидѣлъ я далеко. Можетъ-быть, думалъ онъ, подсказывали или искоса я заглядывалъ въ книгу. Вызываетъ меня къ столу, книгу въ руки. Читаю и перевожу.

— Дальше.

Читаю и перевожу.

— Дальше.

Иду дальше.

— Закрой книгу.

Закрываю.

— Скажи наизусть, что переводилъ.

Повторяю безукоризненно.

Развертывается книга въ другомъ мѣстѣ. Снова требованіе перевода, и на этотъ разъ страницы три или четыре уже. Я предугадываю, что должно послѣдовать, и тѣмъ внимательнѣе слѣжу за переводимымъ.

Книга у меня взята.

— Скажи наизусть; повтори.

Повторяю столь же безошибочно какъ и прежде. Профессоръ возвышаетъ голосъ, и обращаясь ко всему классу, произноситъ указывая головой на меня:

— Уважайте его.

Предоставляю читателю судить о впечатлѣніи, произведенномъ на меня этимъ громогласнымъ воззваніемъ, этимъ неожиданнымъ и вѣроятно даже небывалымъ въ этихъ стѣнахъ превознесеніемъ ученика. Я не слышалъ земли подъ собою, когда въ своемъ мухояровомъ сюртукѣ возвращался на мѣсто, отпущенный профессоромъ.

Невыразимое смущеніе чувствовалъ я, видя поднятые на меня всѣми глаза при восклицаніи наставника.

Еще день прошелъ, или два, или три, не помню. Дошла рѣчь въ риторикѣ до періодовъ. Всѣ періоды были для меня лапотъ простой послѣ прошлгоднихъ упражненій. Даны профессоромъ объясненія, болѣе или менѣ обстоятельныя, указаны примѣры, выучены другіе примѣры по учебнику, и задано было *первое* сочиненіе—періодъ простой на тему „Благочестіе полезно“. Растолковано.

Періодъ, да еще простой! Какъ-то даже стыдно руки марать такую бездѣлицей. Передаю брату. Совѣтуемся: что бы написать? Не періодъ же простой. Я рѣшилъ и братъ одобрилъ написать *Разговоръ о пользѣ благочестія*. Написалъ безъ труда; показалъ брату; братъ поправилъ кое-гдѣ (болѣе повычеркнулъ казавшееся ему лишнимъ). Переписываю и подаю на утро, не увѣренный еще однако, что одобрительно посмотрятъ на мою вольность. Велѣно *періодъ*, а я пишу *разговоръ*! Успокоивало только памятное воззваніе: „уважайте“. Снизойдутъ по крайней мѣрѣ, не будетъ выговора; а въ то же время покажу, что могу кое-что и болѣе нежели періодъ.

День или два еще прошло. Профессоръ приноситъ въ классъ мое сочиненіе, читаетъ въ слухъ, подвергаетъ рецензіи учениковъ. Ученики не въ состояніи ее дать; одинъ изъявилъ сомнѣніе въ подлинности, но профессоръ поддержалъ меня, удостовѣрилъ, что сочиненіе не могло быть списаннымъ, и возвратилъ мнѣ мое писаніе съ надписью: „Отлично хорошо; сочиненіе это свидѣтельствуетъ о необыкновенныхъ дарованіяхъ сочинителя“.

Этотъ опытъ „необыкновенныхъ“ дарованій моихъ сохранился у меня. Какъ-то просматривалъ я его и раздумывалъ: что же такого необыкновеннаго показалось незабвенному Семену Николаевичу? Безошибочное правописаніе, такъ; складная рѣчь, но и все. Между тѣмъ дѣтски, пошло, мыслишки ходячія, общія мѣста. Не-

обыкновенно было среди других; но то ихъ было несчастье или мое особенное счастье, что я уже наметался въ письмѣ, пропасть читалъ, а они лишены были этого; но это еще не дарованіе! Спрашивалъ я себя: какой отзывъ я бы написалъ, когда бы по окончаніи академическаго курса пришлось мнѣ сѣсть за профессорскій столъ по классу словесности, и вмѣсто заданнаго періода простаго поданъ бы мнѣ былъ новичкомъ ученикомъ именно этотъ самый Разговоръ? Правда, я этой темы бы и не далъ ученикамъ для перваго раза, а придумалъ бы болѣе конкретную; но какой отзывъ мною былъ бы данъ? Затрудняюсь сказать; во всякомъ случаѣ похвала была преувеличенная.

Заданъ былъ и еще періодъ на тему: „Полезно читать книги“, и я снова написалъ Разговоръ и снова получилъ отличное одобреніе. Снова періодъ, темы не помню: я пишу на нее Письмо. Идутъ своимъ чередомъ изустные экспромпты, русскіе и латинскіе; въ нихъ я уже не мудрилъ, но отвѣчалъ, разумѣется, безукоризненно. Такъ прошли недѣли двѣ или три, едва ли больше, скорѣе менѣе, когда пришлось перенести испытаніе уже въ другомъ смыслѣ. Профессоръ захворалъ, а черезъ нѣсколько дней, едва ли даже недѣля прошла, объявлено, что Семень Николаевичъ умеръ; насъ приглашаютъ на панихиду, а потомъ на похороны, ради которыхъ и класса въ этотъ день не будетъ. Большинство ребятъ можетъ-быть порадовалось даже такому неожиданному случаю вакаціи среди учебнаго времени. Но глубоко было мое горе: я пораженъ былъ едва ли даже меньше, нежели молодая оставшаяся вдова Орлова, не наслаждавшаяся и года супружескимъ счастьемъ. Помню октябрьскій день похоронъ: грязь и снѣгъ хлопьями; ни въ домъ, ни въ церковь (Девяти Мучениковъ подъ Новинскимъ, гдѣ покойный жилъ у тестя протоіерея) проникнуть нельзя; распорядительности не хватило облегчить ученикамъ доступъ къ прощанью. Унылый я возвратился къ себѣ подъ Дѣвичій, и душа по-

просила излить свои чувства. Еслибы я владѣлъ стихомъ, то плодомъ моихъ чувствъ было бы стихотвореніе. Я написалъ письмо къ вымышленному другу. Оно не сохранилось, но вѣроятно было не дурно, хотя зятя мой, мужъ моей старшей сестры, прочитавъ чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ это мое произведеніе, нашелъ, что оно не довольно пламенно. „Нѣтъ Агатона, нѣтъ моего друга!“ продекламировалъ онъ изъ Карамзина. „Вотъ какъ слѣдовало бы начать!“ Замѣчаніе подѣйствовало на меня непріятно, какъ профанация чувства, которое было искренно, свято, глубоко и не нуждалось въ риторическихъ прикрасахъ.

Низведеніе калифа на часть въ простые смертные, таково стало мое положеніе послѣ потери профессора. Я опять новичекъ изъ Коломенскаго училища, обязанный зарекомендовывать себя среди другихъ. Притомъ наступило междоцарствіе; впредъ до новаго профессора къ намъ ходилъ временно преподаватель изъ другого класса. Душа его къ намъ, пасынкамъ, не могла лежать; онъ долженъ былъ отнестись къ намъ небрежно. И дѣйствительно, сочиненія подаваемые ему не сдавались обратно; не всѣ онъ ихъ и читалъ, въ чемъ я удостоверился, когда мнѣ отданы были мои послѣ. Затѣмъ самъ онъ былъ новичекъ, только-что сошедшій съ академической скамьи. Онъ еще не приметался къ дѣлу; его можно было морочить, и его морочили. Помянутый въ предшедшей главѣ Грузовъ не давалъ ему отдыха своими вопросами, возраженіями, разсужденіями. То и дѣло вставалъ Михаилъ Ивановичъ, прерывалъ профессора, завязывалась между нимъ и профессоромъ бесѣда.

„Прерывалъ профессора...“ Читатель можетъ недоумѣвать. Въ объясненіе напомню о диспутахъ, которые въ академическія и первыя семинарскія времена были существенно частью преподаванія (въ высшихъ классахъ). Обычай правильныхъ диспутовъ съ официальными оппонентами и дефендентами прекратился, но осталось право, никѣмъ не выговоренное и нигдѣ не писанное,

возражать на преподаваемое, предлагать недоумѣнія. Преподаватель обращался въ дефендента, и завязывалось подобіе диспута. Немногіе изъ учащихся прибѣгали къ этому способу, не всѣ преподаватели съ одинаковою охотой его допускали, но никто не находилъ въ немъ нарушенія учебной дисциплины. Естественное желаніе учащагося глубоко и основательно усвоить уроки; законна обязанность преподавателя идти любознательности на встрѣчу. Грузовъ воспользовался обычаемъ, и видя неопытность профессора пускалъ пыль въ глаза. На меня нагналъ онъ нѣкоторый даже страхъ; пренія происходили не далѣе какъ о какихъ-нибудь періодахъ или состояли въ разборѣ какого-нибудь примѣра на правило, приведенное въ учебникѣ; но Грузовъ употреблялъ ученые термины, заносился въ философію, и я смирялся, не догадываясь о шарлатанствѣ. Не догадывался и добродушный И. А. Бѣляевъ, временный преподаватель словесности, и пускался въ западню, которую подставлялъ ему ученикъ, держа высокую рѣчь.

Такъ прошло до Святокъ. Задаванье письменныхъ упражненій и изустныхъ экспромптовъ шло своимъ чередомъ; къ послѣднимъ прибѣгалъ Бѣляевъ впрочемъ не часто и преподавалъ вообще вяло. Не помню, дошли ли мы къ Святкамъ до хрій, но я на заданныя для періодовъ темы писалъ и періоды и хріи и даже маленькія разсужденія, хотя называлъ ихъ хріей. Наступили экзамены, составлены списки; по словесности Грузовъ-диспутантъ былъ поставленъ первымъ, Страховъ (первый изъ „старыхъ“) — вторымъ, я — третьимъ. По исторіи я значился вторымъ, а первымъ Солнцевъ, мой аудиторъ; ему доставилъ первое мѣсто звонкій голосъ и умѣнье съ толкомъ читать, а мнѣ второе мѣсто должно-быть дано за сочиненіе на тему „Леонидъ при Термопилахъ“, заданную профессоромъ исторіи. Какимъ значился я въ греческомъ и во французскомъ классѣ, не помню; да едва ли даже тогда интересовался знанъ;

успѣхъ и неуспѣхъ по этимъ двумъ предметамъ ни во что не считался тогда. А по одному письменному упражненію (переводъ съ греческаго и французскаго) было дано и лекторами, и эти переводы должно-быть послужили къ опредѣленію моихъ знаній, потому что изустныхъ переводовъ отъ меня во весь семестръ почти не спрашивали; не осталось по крайней мѣрѣ въ памяти ни одного случая.

Не помню я, какъ и экзаменъ прошелъ, кто насъ экзаменовалъ и въ какой залѣ. Экзаменовалъ непременно ректоръ, и эта первая встрѣча лицомъ къ лицу съ главнымъ начальникомъ заведенія должна бы оставить впечатлѣніе; но оно вылетѣло изъ головы. Должны бы первые экзамены запечатлѣться и потому еще, что здѣсь, не какъ въ училищѣ, вызывали на экзаменъ не всѣхъ по каждому предмету. И эта черта вообще замѣчательная: чѣмъ далѣе мы продвигались въ семинаріи, тѣмъ менѣе полны становились испытанія; они производились внимательно только по первостепеннымъ предметамъ; по второстепеннымъ же, особенно третьестепеннымъ, спросятъ пятерыхъ, шестерыхъ на выдержку, и только. Отъ перваго семинарскаго экзамена остался у меня въ памяти однако экзаменаторъ по французскому классу, профессоръ А. Θ. Кирьяковъ. Онъ поразилъ меня своимъ изящнымъ видомъ, красивымъ лицомъ, ослѣпительно чистымъ бѣлымъ при черномъ фракѣ и чрезвычайно деликатнымъ, вѣжливымъ обращеніемъ. Внѣшностью онъ рѣзко выдѣлялся изъ среды своихъ товарищей, и это помогло первой встрѣчѣ моей съ нимъ удержаться въ моей памяти.

Къ Святкамъ профессоромъ словесности на мѣсто умершаго С. Н. Орлова назначенъ Н. И. Надеждинъ, здравствующій доселѣ въ санѣ московскаго протоіерея. Въ первый же классъ по своемъ поступленіи онъ произвелъ намъ испытаніе (это было уже послѣ Святковъ), задалъ письменный экспромптъ, не помню на какую тему. Тема была на латинскомъ языкѣ; я написалъ *christian*

ordinatam и заслужилъ отзывъ *valde bene*. Этотъ ли опытъ, другія ли сочиненія, которыя подавалъ я не-утомимо и на заданныя и на произвольныя темы, устные ли отвѣты привлекли на меня вниманіе, я къ слѣдующему семестральному экзамену, предъ вакаціей, поставленъ былъ первымъ, и это мѣсто почти безъ перерыва потомъ сохранилось за мною до окончанія курса. Прочіе профессора обыкновенно принимали за основаніе въ своихъ спискахъ списокъ, составленный главнымъ наставникомъ, и лишь слегка видоизмѣняли его, сообразно своимъ наблюденіямъ по своему предмету преподаванія. Такимъ образомъ первенство по словесности отразилось первенствомъ почти по всѣмъ остальнымъ классамъ и наукамъ и на весь семинарскій курсъ. Въ первый семестръ богословскаго класса я оказался вторымъ; поступили мы изъ двухъ параллельныхъ отдѣленій Философіи, и я изъ втораго отдѣленія. Но первенецъ перваго отдѣленія во второй же семестръ вышелъ изъ семинаріи, поступилъ въ университетъ, и первенство снова перешло ко мнѣ.

XXXVII.

Уровень преподаванія.

Пробѣгаю мысленно весь шестилѣтній семинарскій курсъ и напрягаюсь опредѣлить: что мнѣ онъ далъ, на много ли и въ какой послѣдовательности распространялъ мои знанія и возвышалъ развитіе? Безплодно стараніе. Развитіе шло помимо аудиторій и отчасти вопреки имъ; тетрадки и книжки, служившія учебниками, часто возбуждали мысли въ обратную сторону своей неудовлетворительностію, а какъ эмпирическій матеріалъ свѣдѣній могли быть исчерпаны въ день, въ два,

въ недѣлю. Преподаватели были посредственные, а по второстепеннымъ предметамъ, можно сказать, совсѣмъ даже не было преподаванія. Преподаватели ходили для формы, для формы сидѣли ученики за скамьями; для формы спрашивали и отвѣчали; экзамены и тѣмъ болѣе были формою, да ихъ почти и не производилось. Большая часть преподавателей сами не знали своего предмета, сами должны были ему учиться; но даже и не учились, а довольствовались тѣмъ, что добывали академическія лекціи, сокращали и стряпали учебникъ, не заботясь далѣе ни о чемъ. Да и почему иначе? Назначенъ на кафедрѣ безъ свѣрки о томъ, приготовленъ ли къ своему предмету; и притомъ сегодня преподаетъ гомиетику и греческій языкъ, или математику и Священное Писаніе, а завтра „Психологію и соединенные съ оною предметы“. Не правда ли, какъ мило это наименованіе, вошедшее въ официальное употребленіе? „Психологія и соединенные съ оною предметы“ могли означать разное: психологію и патрологію, или психологію, патрологію и еврейскій языкъ, и наконецъ что угодно: „соединеніе съ оною предметовъ“ опредѣлялось не внутреннею связью наукъ, а предѣлами, въ какихъ представлялось удобнымъ распредѣлить кафедры по количеству учебныхъ часовъ и наличности преподавательскихъ силъ.

По старой программѣ не только ученикъ, но и учащій былъ сосредоточенъ; каждый наставникъ вѣдалъ одну науку, и лишь языки были придаткомъ; но изъ тѣхъ по крайней мѣрѣ латинскій не былъ внѣ связи съ главнымъ занятіемъ профессора, потому что уроки риторики и философій, съ которыми соединялось преподаваніе латинскаго языка, давались на латинскомъ же. Только греческій, еврейскій и новѣйшіе оставались внѣ связи съ наукой, которую преподавалъ профессоръ; ихъ преподаваніе возлагалось на наставниковъ исторіи и математики, и это послужило къ упадку языкознанія. Но предполагалось, что съ языками (за исключеніемъ еврейскаго и новыхъ) вполне ознакомлены ученики уже

до семинаріи. И въ самомъ дѣлѣ, развѣ четырехъ лѣтъ, и почти даже пяти, исключительно посвященныхъ древнимъ языкамъ и болѣе ничему, недостаточно для полнаго ихъ усвоенія? Въ семинаріи оставалось бы только объяснять авторовъ исторически и критически. На дѣлѣ выходило однако, что латынью занимались спустя рукава, а изученіе греческаго языка шло попятно: выходявшій изъ семинаріи зналъ слабѣе, нежели выходявшій изъ училища. Было бы иное, когда бы главная наука брала у греческаго языка постоянный матеріалъ и ссылалась бы на него; напримѣръ профессоръ логики на Аристотеля, а профессоръ богословія приводилъ бы тексты на греческомъ. Съ еврейскимъ и новыми языками было еще хуже: то были предметы совсѣмъ отлетные, и преподаватели ихъ, за ничтожными исключеніями, сами были круглые невѣжды. Профессоровъ даже греческаго языка ученики иногда останавливали и поправляли, а одинъ преподаватель обезсмертилъ себя слѣдующимъ собственнымъ разсказомъ. „Зачѣмъ ты слушаешь подсказовъ?“ замѣчаетъ онъ экзаменуемому ритору (въ качествѣ профессора онъ экзаменовалъ, преподавателемъ былъ лекторъ). „Могутъ подсказать тебѣ на смѣхъ. Когда я въ семинаріи учился, было такъ. Ученикъ не зналъ даже что значить γάρ. Ему подсказывають: γάρ—ибо, а я отвечаю: γάρ—рыба“. И „γάρ—рыба“ оказался профессоромъ греческаго языка!

Послѣ преобразованія языки еще ниже упали, задавленные многопредметностью; еврейскій же съ французскимъ и нѣмецкимъ совсѣмъ отставлены, исключенные изъ числа обязательныхъ предметовъ. Упали и бывшіе второстепенные—исторія и математика. Оставаясь второстепенными въ курсѣ, онѣ сохраняли прежде главное значеніе по крайней мѣрѣ для самого преподавателя. Теперь же каждому, сверхъ уроковъ по языку, пристегнуто было еще по одному или нѣскольку предметовъ, равноправныхъ и съ исторіей и съ математикой, и даже важнѣйшихъ, въ родѣ Священнаго Писанія. Къ

этой кашѣ не только вниманіе учениковъ ослабѣвало, но и рвеніе преподавателей хладѣло; они терялись, и если плохо приготовлены сами, что съ большинствомъ случалось, то не возникало повелительныхъ интересовъ и пополнить свѣдѣнія, такъ какъ ни одна изъ наукъ не давала ручательства, что останется навсегда связанною съ профессіей.

Судьба математики была особенно жалкая. Учащіеся ею пренебрегали, учащіе были совсѣмъ невѣжды, потому что въ самой Академіи, откуда исходили преподаватели, никогда не бывало болѣе двухъ, много трехъ охотниковъ слушать математическія лекціи. Начальство, выходявшее изъ тѣхъ же учащихся и учащихся, раздѣляло общій взглядъ и смотрѣло на уроки по математикѣ, какъ на брошенное время. Случайно нашъ ректоръ Іосифъ (теперь пребывающій на покой архіепископъ Воронежскій) представлялъ исключеніе: онъ зналъ математику, и въ Академіи былъ изъ нея первымъ студентомъ. Онъ внимательно производилъ экзамены, усовѣщивалъ плохо отвѣчавшихъ; но противъ общаго теченія не могъ плыть.

Математика дала мнѣ первый случай къ одному наблюденію, которое потомъ подтверждалось. Не замѣчали на своемъ вѣку кто-нибудь изъ читателей, что бываютъ книги, по виду глупыя, именно по виду, а не по содержанію? Это—то же таинственное, не изслѣдованное отношеніе, какъ походная буква у писателя или какъ связь почерка съ характеромъ и наружностью человека. Связь эта несомнѣнна. Покойный **Ө. В. Чижовъ**, извѣстный общественный дѣятель и писатель, обладалъ даромъ, въ зрѣломъ уже возрастѣ пріобрѣтеннымъ и къ концу жизни утраченнымъ, угадывать человека по почерку и почеркъ по человеку. Нѣкоторые примѣры поразительны. Онъ проживалъ одно время близъ Кіева въ арендованномъ у казны имѣніи. Знакомъ былъ съ кіевскими академическими властями и разъ, навѣстивъ ихъ, засталъ ихъ за составленіемъ списка студентовъ.

Ректоръ, инспекторъ, профессора, вся конференція — люди знакомые.

— А вотъ, Ѳедоръ Васильевичъ, не поможете ли намъ? Мы тутъ ломаемъ голову: четыре сочиненія четырехъ студентовъ, и мы не рѣшаемся, кому отдать предпочтеніе.

Ѳедоръ Васильевичъ чувствовалъ себя, выражусь такъ, въ наитіи.

— Извольте, очень радъ; дайте тетрадки. Не думайте, я не буду входить въ богословскія и философскія тонкости, и вообще содержанія касаться не стану; мнѣ достаточно почерка.

Взялъ тетради, посмотрѣлъ и началъ опредѣлять у каждаго степень дарованій, трудолюбія, предрасположеніе къ извѣстнымъ родамъ умственного труда. Перейдя къ четвертому, выразился съ состраданіемъ:

— А это—сирота; тяжела ему досталась жизнь.

И началъ описывать прошлое студента. Присутствовавшіе были поражены, а ректоръ, набожный архимандритъ, перекрестясь воскликнулъ:

— Ну, Ѳедоръ Васильевичъ, еслибъ я не зналъ, что вы человѣкъ вѣрующій, я бы объяснилъ ваши отзы́вы дѣйстви́емъ злаго́ духа.

Въ другой разъ, посмотрѣвъ на почеркъ, онъ отозвался, что писалъ человѣкъ, который при входѣ въ комнату несетъ одно плечо впередъ; при этомъ сдѣлалъ движеніе, заставившее хохотать присутствовавшихъ, потому что неизвѣстный Чижову писавшій именно употреблялъ эту манеру. Пріятелю своему, доктору, по почерку невѣсты, опредѣлилъ ея вкусы, назвалъ любимыхъ ею писателей и даже описалъ ея наружность. Когда я съ нимъ познакомился и чрезъ нѣсколько времени пришлось мнѣ оставить письмо ему въ его квартирѣ, онъ съ удивленіемъ сказалъ, что сначала предполагалъ мой почеркъ не такимъ.

— У васъ должны бы быть строки въ серединѣ выгнуты, а не такъ прямы какъ въ письмѣ.

— Вы заключаете вѣрно, отвѣчалъ я.— Прямизна строкъ произошла случайно, оттого что я писалъ записку на подоконникѣ въ швейцарской; стоя. А когда я пишу за столомъ и сидя, строки у меня дѣйствительно выходятъ съ прогибомъ въ серединѣ.

Итакъ, соотношеніе существуетъ, хотя законъ не изслѣдованъ. Какъ въ почеркѣ, такъ и въ наружномъ видѣ изданія отражается и умъ, и характеръ, и вкусы; почему знать—можетъ-быть даже наружный видъ автора и издателя, какъ бѣлокурые волосы въ почеркѣ (ихъ угадывалъ Чижевъ). Я наблюдаю, что есть книги, глупыя на видъ. Къ нѣкоторымъ питаю антипатію, независимо отъ ихъ содержанія. Книгопродавцы, букинисты въ особенности, обладаютъ даромъ угадывать внутреннее достоинство книги по наружности: повертеть, посмотреть, перелистуетъ, не читаетъ, какъ не читалъ и Чижевъ студенческихъ сочиненій,—и произнесетъ приговоръ, не о внѣшнемъ видѣ книги, а объ ея успѣхѣ въ публикѣ, объ ея содержаніи, въ общественное значеніе котораго какъ-то проникаетъ, не давая себѣ отчета, чрезъ наружность книги.

Учебники алгебры и геометріи, употреблявшіеся въ семинаріяхъ, казались мнѣ глупыми на видъ, и я не могъ съ ними помириться. Возьму, начну читать, углубляться,—нѣтъ, противно: и форматъ будто глупый, и шрифтъ нескладный, и строки смотрятъ неуклюже; самое изложеніе отъ того ли казалось неудовлетворительнымъ или дѣйствительно было не завлекательно; я бросалъ книгу. Взялся я за математику, но уже когда увидалъ *Энциклопедію* Перевощикова. Книжки смотрѣли умильно, ласково, смышлено, не отталкивало отъ нихъ, и я охотно за нихъ застѣлъ.

Большинство духовно-учебныхъ книгъ и даже вообще казенныхъ учебниковъ страдаютъ неприглядностью, и причина для меня ясна: души не приложено къ изданію; не самъ авторъ издаетъ; не книгопродавецъ, который смотритъ на книгу все-таки какъ на родное

дѣтище и наряжаетъ ее въ то, что ей къ лицу. Не заинтересованный факторъ казенной типографіи равнодушно опредѣляетъ форматъ и шрифтъ, и выйдетъ она изъ типографіи, а потомъ изъ переплетной, съ безсмысленнымъ, нисколько не интереснымъ видомъ.

Были у насъ профессора, которые служили для всѣхъ учениковъ вѣчнымъ посмѣшищемъ, а одинъ преподавалъ цѣлый годъ даже главную науку. Его не уважали, не слушали; когда онъ рассказывалъ что-нибудь въ классъ, казавшееся ему смѣшнымъ, слушатели хохотали, но не содержанію разсказа, а усилію рассказчика сказать острое и занимательное, выходившее на дѣлѣ и тупымъ и скучнымъ. Одинъ изъ учениковъ, большой лицедей, передразнивалъ искусно и походку и рѣчь презираемаго профессора, садился за столъ, вызывалъ учениковъ, дѣлалъ замѣчанія. Такъ было похоже, что хохотали до истерики. Объ этомъ несчастномъ педагогѣ можетъ дать понятіе случай, касавшійся меня. Въ первое же посѣщеніе класса онъ вызвалъ меня: *Алита* (вмѣсто Никита) *Гилларовъ*! Не разобралъ сердечный и не сообразилъ. Похвалой этого профессора не дорожили и замѣчаніями пренебрегали.

Какое зрѣлище представлялъ классъ, когда шла лекція подобныхъ, нелюбимыхъ наставниковъ! Особенно безобразіемъ отличались въ такихъ случаяхъ послѣбѣденные классы. Потому ли что утомленное утренними занятіями вниманіе (хотя казалось бы чѣмъ же?) требовало отдыха и душа просила распахнуться?

Темно; классъ въ нижнемъ этажѣ со сводами; окна смотрять въ близкую стѣну. Сидятъ философы и ведутъ оживленный разговоръ въ полголоса; жужжаніе идетъ по классу. Профессоръ спрашиваетъ ученика, тотъ отвѣчаетъ, но за разговоръ не слышно. Отвѣчающій возвышаетъ голосъ, но и вся бесѣдующая аудиторія возвышаетъ голосъ, и такъ продолжается въ перегонки.

Или засядутъ въ четырехъ углахъ зѣваки и начинаютъ со вздохомъ и потяготами зѣвать. Зѣвота распространяется, переходитъ на самого преподавателя. Никто не въ силахъ удержаться, и даже спрашиваемый, среди самой сдачи урока, раздражается зѣвотой, возбуждая общій смѣхъ. Силъ нѣтъ остановить, и преподаватели мирились со своею судьбой, тѣмъ болѣе что были равнодушны къ дѣлу; если предметъ второстепенный или третъестепенный, то вся обязанность—только просидѣть опредѣленный часъ. Занимаются ученики или нѣтъ, за это не отвѣтитъ ни преподаватель, ни учащіеся; ихъ успѣхи оцѣниваются по другимъ основаніямъ.

Но были и по второстепеннымъ каеэдрамъ наставники, пользовавшіеся пристальнымъ вниманіемъ: муху слышно въ классѣ. Такъ поступилъ къ намъ въ то же среднее отдѣленіе на герменевтику профессоръ Нектаровъ, переведенный изъ Одессы. Герменевтика сама наука неважная, состоитъ изъ общихъ мѣстъ; но преподаваніемъ ея, а вмѣстѣ толкованіемъ пророчествъ и учительскихъ книгъ Ветхаго Завѣта, которое соединено было съ герменевтикой, профессоръ такъ завлекъ слушателей, что у нѣкоторыхъ возбудилось горячее желаніе выучиться еврейскому языку, впрочемъ скоро и охладѣвшее, потому что не долго самимъ профессоромъ пользовались. Въ послѣдствіи онъ принялъ монашество, былъ инспекторомъ и ректоромъ Виѣанской семинаріи и въ этомъ званіи скончался.

Были и такіе, которыхъ хотя не слушали, но уважали за умъ и познанія; разговоры при нихъ не происходило; не слушали же потому, что тѣ сами не говорили, лишеныя дара импровизаціи. Таковъ былъ М. С. Холмогоровъ, бывшій потомъ ординарнымъ профессоромъ философіи въ Казанской Академіи: онъ читалъ то гражданскую исторію, то психологію, и мучительно было смотрѣть на него, когда онъ пытался объяснить прошлые уроки или знакомить съ тѣмъ, что предстоитъ пройти далѣе: онъ то чесалъ въ головѣ, то цыкалъ,

пріискивая слова, запинаясь, повторялъ одно и то же выраженіе, топчась на мѣстѣ.

Нѣкоторыми же профессорами гордились ученики и по окончаніи курса признавались, что имъ однимъ обязаны всѣмъ своимъ развитіемъ. Таковыми считались А. М. Ефимовскій, главный профессоръ въ Риторикѣ, и Е. М. Алексинскій—въ Философіи, оба скончались священниками въ Москвѣ. Не удалось мнѣ пользоваться уроками ни того, ни другаго (у Алексинскаго учился, но не философіи, а еврейскому языку). Раза три, четыре впрочемъ, когда я былъ въ низшемъ отдѣленіи, являлся въ нашъ классъ на урокъ латинскаго языка Ефимовскій. Тутъ и я оцѣнилъ его, между прочимъ, за одинъ изъ его пріемовъ. Не помню, какую книгу мы переводили, но все классное время употреблено было на переводъ всего какихъ-нибудь десяти строкъ не болѣе; только какъ? Переведи, а потомъ ту же мысль вырази другими словами, но съ сохраненіемъ оттѣнковъ подлинника. Затѣмъ передай латинскій текстъ латинскимъ же парафразомъ, употребивъ другія слова, другой грамматическій или риторическій оборотъ, съ перемѣной падежей и временъ, съ обращеніемъ прямой рѣчи въ косвенную, положительной въ вопросительную и обратно. Можетъ-быть такого пріема и не постоянно держался профессоръ; можетъ-быть со своими коренными учениками и не употреблялъ его. Но я тогда же понялъ, что изъ такой бани, послѣ десяти переведенныхъ строкъ, выйдешь лучшимъ филологомъ, нежели переведа цѣлую книгу.

Оглядываясь снова, чѣмъ же я помяну семинарію? Въ низшемъ отдѣленіи я стоялъ выше своего класса, и потому уроки профессора прошли мимо меня; я слышалъ повтореніе уже извѣстнаго мнѣ. Въ среднемъ отдѣленіи блеснули три или четыре начальныя лекціи талантливаго профессора А. С. Невскаго, который въ краткомъ, но обстоятельномъ очеркѣ изложилъ намъ введеніе въ философію. Однако онъ тутъ же оставилъ

службу, и мы перешли на руки бездарному и презираемому „Алкитѣ“, а на второй годъ къ чesавшемуся и цыкавшему Холмогорову. О богословскомъ классѣ скажу особо. И такъ, семинарія дала только посредственные учебники, большею частію рукописные. Большинство ихъ я не списывалъ; нѣкоторые, напримѣръ Алкиты, котораго называли также почему-то „Валуемъ“ и „Вахлюхтеромъ“, хромали даже грамотностью. Умозаключение напримѣръ опредѣлялось, помнится, такъ: „умозаключение есть такая форма мышленія, въ которомъ такъ какъ одно сужденіе полагается, то“ и проч. Но учебникъ вообще имѣетъ значеніе только при учителѣ; онъ долженъ быть справочною книгой, только; безъ живаго слова, чтѣ же онъ для развитія и для образованія вообще? Къ чему тогда и школа? Учебники составлялъ я и самъ, и особенно въ среднемъ отдѣленіи, передѣлывалъ, частію сокращалъ, частію дополнял. Такъ я составилъ Библейскую Исторію, Русскую Гражданскую Исторію, Логикѣ и Психологію. Въ богословскомъ классѣ подобнымъ же образомъ обрабатывалъ Русскую Церковную Исторію. Но эта работа была самоученіемъ, къ которому семинарія призывала только тѣмъ, что сама ученія не давала по безалаберности программы и недостатку учителей.

Не имѣю понятія, какъ учили и учатъ въ гимназіяхъ, кадетскихъ корпусахъ, институтахъ и проч. Но мнѣ предносится типъ преподаванія, можетъ-быть и нигдѣ не существующій, но единственный заслуживающій одобренія: урокъ долженъ быть такъ преподанъ, чтобы по выходѣ изъ аудиторіи не наступало надобности заглядывать въ книгу. Богословское преподаваніе ректора Іосифа, котораго я слушалъ полгода въ высшемъ классѣ, было таково. Оно было не безъ недостатковъ, но за нимъ было то неопѣнимое достоинство, что между слушавшими его не было ни первыхъ, ни послѣднихъ по успѣхамъ; всѣ знали преподанное одинаково твердо, первые и послѣдніе, и узнавали не послѣ, а

именно въ моментъ преподаванія. Правда, такъ преподавать требуетъ подвига. Но безъ того что же преподаватель? Заслуживаетъ ли своего наименованія учитель, ограничивающій педагогическую дѣятельность свою механизмомъ выслушиванія уроковъ и счета балловъ?

XXXVIII.

П у т е ш е с т в і я

Семинарскій курсъ мой правильнѣе было бы назвать семинарскимъ моціономъ, потому что, въ первые по крайней мѣрѣ четыре года, столько же времени употреблялось ежедневно на ходьбу, сколько на пребываніе въ классѣ. Менѣе трехъ часовъ въ день для класса; но отъ Дѣвичьяго до Никольской ходьбы часть съ хвостикомъ, оттуда столько же; затѣмъ обѣденное время, проводимое большею частію въ ходьбѣ же. Я такъ привыкъ къ пѣшехожденію, что разъ на примѣръ проводилъ товарища отъ семинаріи до Спаса-во-Спасской за Сухаревой Башней и оттуда, не передохнувъ, поворотилъ подъ Дѣвичій. Это было для меня—„завернуть по дорогѣ“. Однообразіе пути надоѣдало, и я выбиралъ намѣренно длинную дорогу: то пойду по Воздвиженкѣ на Арбатъ, и оттуда выйду на Дѣвичье Поле черезъ Плющиху, или чрезъ Саввинскій переулочекъ; то отъ Пречистенскихъ Воротъ направлюсь по Остоженкѣ и чрезъ Хамовники доберусь до Дѣвичьяго задами. Было, что я выбралъ путь чрезъ Якиманку, дошелъ до Нескучнаго Сада, погулялъ тамъ, спустился, на лодкѣ переплылъ Москву-рѣку и огородами пробрался домой. Помню, эта прогулка совершена въ четвергъ или въ понедѣльникъ, когда не было послѣобѣденныхъ классовъ.

А и надоѣдало это однообразіе! Вѣчно одною и тою же дорогой, однимъ и тѣмъ же полемъ, гдѣ ничто не развлекаетъ, тою же правою стороною Пречистенки, гдѣ каждый домъ давно извѣстенъ, гдѣ проходя мимо дома Всеволожскихъ неизмѣнно чувствуешь подвальный холодъ изъ нижнихъ оконъ (съ 1812 года домъ стоялъ не отстроеннымъ); выше, за Пречистенскими Воротами, на такъ-называемой теперь Волхонкѣ, нѣсколько останавливали вниманіе работы по сооруженію Храма Христа Спасителя. Онъ выросъ на моихъ глазахъ. На моихъ глазахъ ломали Алексѣевскій монастырь; на моихъ глазахъ рыли и выкладывали фундаментъ. Какая глубокая яма! Люди внизу представляются карликами. И какъ красиво бутятъ! По залитому известкою слою танцевать можно. Я былъ зрителемъ торжества закладки; конечно лицезрѣлъ Вильгельма, теперешняго императора Германскаго, то-есть я ихъ всѣхъ видѣлъ, но не умѣлъ назвать никого кромѣ государя Николая Павловича и Паскевича. Далѣе еще отдыхалъ нѣсколько глазъ на Александровскомъ Садѣ, который однако наводилъ напротивъ тоску въ зимнее время противоположностью: усыпанная пескомъ дорожка и кругомъ—снѣгъ! Поднимаюсь къ Иверской; неизмѣнная картина молящихся; пробираюсь мимо Казанскаго собора чрезъ его ограду, съ неизмѣнною картиной крестящихся пѣшеходовъ.

А Храмъ Спасителя все строится, все выкладывается. Съ самыхъ малыхъ лѣтъ меня занимала его исторія. Я печалился объ участи Витбергскаго проекта; мечты мои разгуливались, представляя на мѣстѣ ежедневно видимыхъ горъ съ церковушкой на верху—величественную террасу съ величественнѣйшимъ храмомъ, съ величественнымъ мостомъ черезъ рѣку. Душа отдохнула по прочтеніи въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*, что разрѣшено новое сооруженіе; но я жалѣлъ, что мѣсто выбрано не на Вшивой Горкѣ; разочаровался видомъ новаго храма, изображеннымъ кажется въ *Живописномъ Обзорѣ*

ни. Забоялся, прочитавъ штатъ комиссіи о построеніи. Ну, думаю, да кто же пойдетъ на эти скоро преходящія должности? Постройку предположено кончить въ шесть лѣтъ. Куда дѣнутся бѣдные служащіе потомъ? Слѣдовало бы въ росписаніи штаба успокоить ихъ, что послѣ даны будутъ мѣста; а иначе найдутся ли охотники? Дѣтская простота!

Почему однако правою стороною Пречистенки, а не лѣвою, правою всегда? Не смотря на околесицы, которыя совершаю въ избѣжаніе однообразія, никогда не приходитъ охота перемѣнить маршрутъ въ томъ смыслѣ, чтобъ идти лѣвою стороною, а не правою. Три уже года я ходилъ такъ и въ первый разъ обратилъ вниманіе на это обстоятельство, когда узналъ изъ физики о косности. Это косность, подумалъ я, не хочу, и пошелъ по лѣвой сторонѣ. Но привычка взяла свое; когда намѣренно не назначалъ себѣ идти налѣво, ноги продолжали сами собою идти направо.

Однообразіе, сказалъ я,—ничто не развлекаетъ, пусто на полѣ. Нѣтъ, не однообразно, не пусто. Лѣтомъ пасется стадо, а во вдающемся четверугольникѣ поля лѣтомъ же зришь солдатское ученіе.

Ра-а-а-а-зъ.

Два-а-а-а-а (ниже тономъ).

Три!

Вытягиваетъ ногу солдатикъ и держитъ ее на вѣсу долго, долго, пока тянется два-а-а и не кончится быстрымъ „три!“ А вотъ инструкторъ бьетъ солдата по лицу, бьетъ въ брюхо: и тотъ стоитъ какъ кукла, неподвижно. Нѣтъ, пойду, нечего смотрѣть.

Осень на дворѣ глубокая, глубокая, ноябрь должно быть; снѣга нѣтъ, а ледъ есть на полѣ. И слякоть, и холодъ. Какъ-то особенно посвистываетъ музыка на обычномъ мѣстѣ ученія. Два строя стоятъ съ длинными, тонкими, зеленоватаго цвѣта палками; пуки такихъ же палокъ около. Офицеры медленно расхаживаютъ. А внутри ведутъ солдата безъ рубашки, въ нижнемъ

платѣь одномъ. Холодно ему? Нѣтъ, не холодно, горячо, очень горячо. Спина у него цвѣта выпсѣвающихся бобовъ, краснаго переходящаго въ черный. Идетъ онъ медленно, скидываетъ головой то сюда, то туда, со-страдальческимъ видомъ. Взмахиваютъ солдаты палками, бьютъ, летятъ на земь верхніе обломки палокъ и берутся новыя палки. А музыка все посвистываетъ, свистятъ въ воздухъ потрясаемыя палки, и офицеры все двигаются около. Нѣтъ, мимо, плохое разнообразіе; разъ видѣлъ, больше не буду.

А вотъ и зима. Крутитъ снѣгъ, вертитъ вѣтеръ. Ни души въ седьмомъ часу утра. Рѣжетъ лицо. Повернешься на секунду спиной къ вѣтру, передохнешь и опять въ путь; далеко еще. Стучить въ глаза эта мелкая крупа, полы легко стеганой чуйки распахиваются. Руки коченѣютъ, онѣ голыя, а рукава коротеньки. Иди, иди, въ Зубово придешь, будетъ легче.

Нѣтъ, за ночь выпалъ снѣгъ, глубокій снѣгъ. Глаза рѣжетъ однообразная бѣлизна; дороги нѣтъ, нѣтъ совсѣмъ. Видны по мѣстамъ глубокія отверстія, слѣды шаговъ. Кто же прошелъ? Должно-быть кто-нибудь къ Крючку въ кабакъ ходилъ погрѣться. Но иди. Снѣгъ по колѣна; ничего. Снѣгъ заваливается въ сапоги; не важность, бываетъ хуже. Только тяжело идти, вотъ что не хорошо. Вытянуть двѣ версты по такой дорогѣ! Отдыхаетъ душа въ Зубовѣ; здѣсь начинаютъ кое-гдѣ даже мести троттуары.

А нѣтъ хуже весной, раннею весной. Бѣжитъ вода ручьями; дорога частію стояла, по мѣстамъ остались только ледяные рельсы; но скверно особенно около Олсуфьевскаго дома. Въ другихъ мѣстахъ вода по ладыжки, а здѣсь почти до колѣна. Въ сапогахъ вода. Нижнее платье въ водѣ и прилипло къ тѣлу. Иди, иди, къ вечеру обсохнешь. И приходишь въ семинарію бодрый, шутишь, смѣешься.

Если приходится топтать грязь, это и совсѣмъ ничего. Правда, калошъ я не знаю, еще два, три года

пройдетъ прежде чѣмъ я съ ними познакомлюсь. Но мѣсить грязь или переходить воду? Первое предпочтительнѣе.

Какъ я не получилъ ревматизма? Не получилъ; но когда я бываю теперь въ банѣ и распариваюсь, въ ногахъ я чувствую не то что зудъ, выраженіе слабо, но стараю желаніемъ, чтобы мнѣ ноги скребли, драли, хотя бы до крови. Догадываюсь, что то слѣды путешествій по Дѣвичьему полю.

Раза два было, что я даже пугался. Лютый морозъ, и я заковенѣлъ весь, весь въ полномъ смыслѣ слова. Я едва передвигалъ ноги, и начиналась дремота. Я понималъ, что это значить. Но все мужество собралъ и дошелъ до Зубова; а оттуда почти добѣжалъ до семинаріи и согрѣлся на дорогѣ.

Другой разъ обмерзли уши и щека. Свирѣпо слишкомъ дулъ вѣтеръ. Ноги я также едва передвигалъ по полю. Непріятно было ходить потомъ съ висячими огромными ушами; боялся, что онѣ отвалятся, такъ онѣ были велики и тяжелы.

Случай замерзнуть предстоялъ мнѣ и еще разъ, но не на Дѣвичьемъ полѣ; то было на людяхъ. Отправляюсь на Святки въ Коломну, нанимаю ямщика, беру мѣсто въ кибиткѣ. Садятся пассажиры, и ямщикъ упраниваетъ меня сѣсть на передокъ, пока вотъ одного довезетъ только до Карачарова; „тамъ сѣдокъ слѣзетъ, а вы уже на его мѣсто тамъ сядете“. Не сообразилъ я обмана, сѣлъ на передокъ. Но проѣхали Карачарово, пассажиръ, купецъ или крестьянинъ, дядя словомъ, вылезать не думаетъ. Обращаюсь къ ямщику.

— Что-жъ, доѣдемъ, ужъ не обижайтесь, баринъ.

Однако морозъ лютый, невыносимый; жестоко холодно сначала, но начинается дремота. Ямщикъ меня толкаетъ, будить, останавливаетъ лошадей; смотрю—кабакъ. Ямщикъ предлагаетъ пойти выпить. Это угощеніемъ заглаживаетъ свой обманъ!

— Я не пью.

— Да ну, пивца выкушайте.

Я зашелъ въ кабакъ, не для того чтобы выпить, а чтобы хоть секунду побыть въ теплѣ, и затѣмъ почти до самой станціи все больше бѣжалъ наравнѣ съ лошадьми, держась за задъ кибитки. Знаменитые скороходы тогда не побѣдили бы меня въ состязаніи бѣга. Только имъ платять за бѣгъ, а я самъ заплатилъ за неудовольствіе мчаться съ лошадьми рысью, вмѣсто покойнаго сидѣнья въ кибиткѣ окутавшись сѣномъ.

Но не одно Дѣвичье поле съ Пречистенкой,—мнѣ приходилось искрещивать всю Москву и именно лѣтомъ, и особенно въ первые два года, проведенные почти въ одиночествѣ, безъ пріятелей и знакомыхъ. Куда дѣвать обѣденные часы? Отправлялся бродить по улицамъ и переулкамъ; на Кузнецкомъ Мосту созерцалъ выставленные эстампы, въ Китайскомъ проходѣ книги у букинистовъ, а то просто глазѣлъ на вывѣски по Тверской, Кузнецкому Мосту и окрестностямъ. Меня занимали вывѣски иностранныя, и я про себя восстанавливалъ значеніе словъ мнѣ неизвѣстныхъ. Такимъ путемъ я узналъ, еще не учась по-нѣмецки, что *Schneider* значитъ *портной*, *Drechsler*—*токарь*. Попадавшаяся неоднократно вывѣска *Chambres garnies á louer* затрудняла меня, хотя я учился уже по-французски. Я не могъ постигнуть также, что значитъ гастрономическій магазинъ, хотя зналъ, что значитъ гастронómia. Вывѣсокъ сравнительно съ теперешними было конечно очень мало. Такъ-называемыя дворянскія улицы были дѣйствительно дворянскими; даже Тверская мало уклонялась отъ этого типа, не говоря о Пречистенкѣ, которая до сихъ поръ его почти сохранила. Въ самомъ низу Тверской, гдѣ дома сплошь покрыты вывѣсками, тогда стоялъ налѣво Дворянскій Институтъ (домъ Шаблыкина); домъ Логинава, теперь Голяшкина, бывший Демидова, глядѣлъ еще тоже барскимъ домомъ. Направо нѣсколько неотстроенныхъ, заколоченныхъ домовъ Бекетова; выше домъ Самарина; далѣе, за Саввинскимъ

подворьемъ теперешній Олсуфьева, венеціанской архитектуры, былъ хотя подъ гостинницей, кажется, но тоже не залѣпленъ былъ вывѣсками. Андреевскаго дома не было еще. Не существовало многого даже ближе къ центру. На Театральной площади не было Челышевскаго дома; домъ Патрикѣева противъ него только строился, и я хаживалъ смотрѣть на каменные работы. Домъ Торлецкаго на Моховой, противъ Экзерциргауза, также новое произведеніе, а тѣмъ болѣе домъ Скворцова; этотъ принадлежитъ уже царствованію Александра II и современенъ сломкѣ стараго Каменнаго моста, массивнаго, аляповатаго. Припоминаю изреченіе извозчика по этому поводу. „Спасибо царю“, сказалъ онъ, указывая на разрушеніе, которому не безъ труда поддавалось древнее, циклопическое сооруженіе.

— А что такое? спросилъ я.

— Да вотъ далъ народу покормиться, и господамъ, и купцамъ. Смотри-ка, что хлысть на Моховой затѣваетъ. Всѣмъ ѣсть надо.

Сказано было не ироническимъ тономъ, а искренне. Царю де жалко стало, такъ представлялось въ его умѣ: каменщики безъ работы, подрядчики безъ дѣлъ, чиновники безъ взятокъ. Что бы такое сдѣлать, чтобъ ихъ покормить?

Много ли Москва вообще перемѣнилась противъ тогдашняго? Не очень. Вывѣсокъ прибавилось, барскіе хоромы превратились въ торговые, частію въ учебныя и благотворительныя заведенія, колонны отбиты кое-гдѣ, ворота закладены и замѣнены подъѣздными; подѣланы вообще подъѣзды съ улицы, что было на рѣдкость; прямо ходъ съ улицы бывалъ только въ магазины и лавки. Но и магазиновъ почти не было, то-есть торговли въ теплыхъ помѣщеніяхъ. Да еще Москва приподнялась на этажъ; но эта прибавка роста началась уже въ очень позднее время, примѣрно съ 1871 года, когда одинъ за другимъ начали воздвигаться новые дома, а старые надстраиваться; толчокъ дало

учрежденіе Кредитнаго Общества; а до того времени Москва была по преимуществу двухъэтажная. Трехъэтажные дома были на перечеть. Довольно того, что домъ Шипова на Лубянкѣ считался самымъ большимъ зданіемъ въ Москвѣ послѣ разныхъ казенныхъ.

Болѣе перемѣнъ послѣдовало въ нравственной физиономіи города, и одна изъ нихъ особенно замѣчательна, хотя повторилась вѣроятно въ другихъ городахъ и во всей Россіи: въ сороковыхъ годахъ не было женщинъ на улицахъ. Кухарка или швея, лавочница и горничная, не считая пріѣзжихъ крестьянокъ: вотъ единственный женскій персоналъ, дерзавшій показываться на улицѣ, тѣмъ болѣе на бульварѣ, безъ провожатыхъ. Съ удивленіемъ русскій человѣкъ читалъ объ англійскихъ, въ особенности американскихъ нравахъ, гдѣ леди совершаютъ даже путешествія въ одиночку. Такая вольность казалась почти невѣроятною, и для Россіи никогда невозможною. Желѣзныя дороги и женскія гимназіи, въ дополненіе къ упраздненію крѣпостнаго права, совершили казавшееся невѣроятнымъ, и теперь никого не удивляетъ появленіе дамъ и дѣвицъ, отнюдь не принадлежащихъ къ „этимъ дамамъ“, на улицахъ и бульварахъ. Женщины появляются теперь даже въ ресторанахъ и трактирахъ, здѣсь пока еще въ сопровожденіи, но дайте срокъ: по прошлому судя, свободу и тутъ завоеуетъ женскій полъ.

Въ Коломнѣ Е. И. Мѣщанинова еще раздѣжала на четвернѣ, но въ Москвѣ, къ сороковымъ годамъ, обычай ѣзды цугомъ началъ исчезать, хотя лежащихъ рессоръ еще не появлялось и крѣпостное право было въ полной силѣ. Три помянутыя обстоятельства между собой связаны. Помимо юридическихъ привилегій, ѣзда цугомъ условливалась: 1) лишнимъ количествомъ прислуги, 2) отсутствіемъ удобныхъ дорогъ, 3) тяжестью экипажей. Карету-домъ на высокихъ рессорахъ съ трудомъ тащила пара лошадей даже по исправной мостовой, а при ухабахъ и рытвинахъ лишняя сила и тѣмъ

богѣ необходима. Лошадей держать ничего не стоить, людей некуда дѣвать, и вотъ разъѣзжаютъ тяжелые экипажи четверней съ двумя лакеями на запяткахъ и съ форрейторомъ на первой парѣ. Въ прежнія времена, которыхъ я не засталъ, скакали еще вершники впереди, опять не столько ради важности, а въ виду невозможныхъ мостовыхъ. Старикъ-извозчикъ повѣствовалъ мнѣ, что на теперешней Большой Садовой мостовая въ началѣ столѣтія была деревянная, и весной иногда бревна торчали почти стойкомъ; при такой дорогѣ безъ передоваго вершника, понятно, пускаться въ путь бывало не безопасно. Привилегія дозволяла превосходительнымъ ѣздить и на шестернѣ, но кромѣ митрополита и жениховъ съ невѣстами никто же этимъ не пользовался. Отмѣна шестерни была показателемъ улучшенія путей, какъ и отсутствіе особыхъ лакеевъ на боковыхъ подножкахъ: послѣднее условливалось грязью, черезъ которую приходилось переносить господъ на рукахъ. Но есть уже какія ни какія мостовыя; опасность утонуть въ грязи по выходѣ изъ кареты миновалась, и миновалась надобность въ боковыхъ лакеяхъ и въ лишней парѣ лошадей.

Вмѣсто стоящихъ на запяткахъ начали сперва появляться сидящіе; экипажи стали дѣлаться съ лакейскимъ мѣстомъ, и нововведеніе производило на первое время соблазнъ. Прохожіе останавливались, и разговаривая между собою, покачивали головой на баловство. Но баловство пошло потомъ далѣе; заднія мѣста отмѣнены; лакеямъ предоставили мѣсто на передкѣ рядомъ съ кучеромъ, какъ и теперь продолжается. Что сказалъ бы человѣкъ двадцатыхъ, десятыхъ годовъ, видя эту „республику?“ Въ присутствіи господъ лакей не только сидитъ, но сидитъ къ нимъ задомъ!

Однако и лишними людьми начинали уже тяготиться, и въ особенности крѣпостными. Плодъ назрѣлъ и не могъ держаться на вѣткѣ. Чѣмъ выше, чѣмъ богаче баринъ, тѣмъ рѣже встрѣтишь собственнаго человѣка

у него въ услуженіи; напротивъ, князю Гагарину прислуживаетъ крѣпостной князя Голицына, Голицыну же крѣпостной Гагарина, тотъ и другой отпущенные на оброкъ: оба на той же должности камердинера, швейцара, кучера, но за жалованье. Своя крѣпостная прислуга становилась въ тягость и обращалась въ источникъ непріятностей, а мостовыя исправились, и вотъ долой форрейторовъ и переднюю пару лошадей; экономія и даже лишній доходъ отъ отпущеннаго въ люди Ваньки, бывшаго форрейтора; своего камердинера тоже пустить на оброкъ, а на его мѣсто Гагаринскаго Гаврилу; его исправность рекомендуютъ.

Молодое и среднее поколѣніе не можетъ представить себѣ путей сообщенія тому назадъ сорокъ, пятьдесятъ лѣтъ, когда кругомъ Москвы не было не только желѣзныхъ дорогъ, но даже шоссе. Въ Талицахъ по Троицкой дорогѣ мужики кормились тѣмъ, что вытаскивали изъ грязи завязшіе экипажи. Это былъ ихъ главный доходъ. Въ сѣроковыхъ годахъ, когда я жилъ уже у Троицы, не рѣдкость бывало видѣть кареты на дорогѣ, брошенныя до зимы. Застряла, и силъ всего селенія не хватаетъ вытащить. Оставляютъ до морозовъ; обмерзнетъ глина, и экипажъ *вырубятъ*. Шоссе избавило отъ этой напасти, а съ тѣмъ появились и лежачія рессоры. Въ первый разъ удалось мнѣ видѣть экипажъ съ низкими рессорами на Воскресенской площади. Длинный рядъ каретъ тянулся отъ присутственныхъ мѣстъ до Театральной площади. Дворянское ли собраніе было или что другое, но экипажъ низкорессорный былъ единственный. Могъ бы я упомянутымъ выше приѣмомъ историческаго критика опредѣлить годъ, когда совершенно это наблюденіе, и даже мѣсяцъ приблизительно. Но стоить ли?

Извозчики были по преимуществу калиберные. Пролетокъ сначала не было совсѣмъ; затѣмъ появились по одной, по двѣ на биржѣ, и за пролетку брали извозчики приблизительно въ полтора раза противъ калибера;

калиберъ пяталтынный, пролетка четвертакъ. Названіе калибра—полицейское. Который-то изъ полицеймейстеровъ (не Шульгинъ ли?) обязалъ извозчиковъ имѣть дрожки по образцовому *калибру*, и притомъ рессорныя. Отсюда дрожки на желѣзныхъ рессорахъ безъ мѣста для кучера получили названіе „калибра,“ а названіе дрожекъ осталось для дрожекъ съ высокими, стальными рессорами и съ особымъ сидѣньемъ для кучера. До введенія пролетокъ ставили на биржѣ и дрожки въ тѣсномъ смыслѣ. А до калибровъ употреблялись тѣ же дрожки, но безъ рессоръ, за то болѣе просторныя. Теперь окрещены онѣ названіемъ линеекъ, въ другихъ же мѣстахъ называютъ ихъ иногда долгушами. Были ли крытыя линейки-дрожки у извозчиковъ, и у всѣхъ ли были фартуки, преданіе объ этомъ до меня не дошло, но на моихъ глазахъ совершилось постоянное умаленіе калибра. Было время, когда на калибрѣ можно было усѣсться четверымъ, не считая извозчика, по два сѣдока на каждую сторону. Затѣмъ осталось мѣсто только на двоихъ; наконецъ до того дошло, что одному съ трудомъ усѣсться. Все почти пространство занималъ самъ извозчикъ, оставляя нанимателю едва-едва сидѣнье, во всякомъ случаѣ меньше нежели занималъ самъ. Помимо всего, это послужило къ гибели калибровъ, которые могли бы соперничать съ пролетками хотя просторомъ. Процессъ постепеннаго умаленія, сгубившій калибры, повторяется теперь съ пролетками. Двоимъ на пролеткѣ сидѣть прежде бывало совершенно просторно; теперь онѣ обратились изъ двумѣстныхъ въ полуторные экипажи, и притомъ иногда настолько короткіе, что сколько-нибудь сноснаго роста человѣку некуда дѣвать ноги.

Однимъ изъ любимыхъ послѣобѣденныхъ посѣщеній въ лѣтнее время былъ для меня Александровскій садъ, а постояннымъ пристанищемъ гротъ. Прекрасное было мѣсто частію для размышленія, иногда для наблюденія! Въ то же время прихаживали сюда разныя лица неиз-

вѣстнаго званія, похожія преимущественно на приказниковъ безъ мѣста. Завязывались иногда разговоры, и я вслушивался, составляя себѣ понятіе объ интересахъ, занимающихъ этотъ людъ. Случались даже ученые пренія, точнѣе сказать—ученые рефераты. Ихъ излагалъ нѣкто Эльмановъ, увѣренный, что не земля вокругъ солнца, а солнце вертится. Онъ убѣжденъ былъ въ своей ереси фанатически, жилъ ею и на послѣдніе гроши (онъ былъ бѣдный мѣщанинъ) издалъ даже брошюру, очень безграмотную, надо отдать справедливость. Человѣкъ бывалый, ѣздилъ даже на Новую Землю, гдѣ „солнце“, по его выраженію, „кругомъ катается.“ Разубѣдить его не было силъ; онъ приводилъ вычисленія и опыты, существа которыхъ не помню; уличалъ Коперникову систему въ какихъ-то яко бы несообразностяхъ; онъ пролѣзаль даже къ высочайшимъ особамъ, все со своею идеей о неподвижности земли. Галилей своего рода, только въ обратную сторону. Мнѣ было его жалко, а прочіе посѣтители грота слушали его съ любопытствомъ и уваженіемъ. Мнѣ пріятнѣе было наводить его на рассказы о его странствіяхъ, на описанія глубокаго Сѣвера, на рыболовство и звѣроловство, съ которыми онъ былъ знакомъ.

Любилъ я посѣщать еще Толкучку, смотрѣть на „царскую кухню“, гдѣ за грошъ можно пообѣдать на открытомъ воздухѣ; любопытствовалъ о покупкахъ и продажахъ старья и краденаго, всматривался въ лица многочисленныхъ торговыхъ дѣльцовъ, живущихъ исключительно обманомъ. Ихъ притонъ здѣсь, и орудуютъ они въ лавкахъ и на открытомъ воздухѣ. Личныя наблюденія свои провѣрялъ я и дополнялъ рассказами двоюроднаго брата, дьячка отъ Николы Большаго Креста.

По зимамъ, и притомъ начиная со втораго года, совершалось въ послѣобѣденные часы посѣщеніе трактировъ, которое мало-по-малу стало регулярнымъ. Денегъ у меня не бывало, но я бралъ дань натурой съ товарищей, которымъ помогалъ перомъ. Оказалась эта про-

фессія наслѣдственнойю. Братъ Александръ также еще съ риторическаго класса давалъ пользоваться своимъ перомъ: писалъ товарищамъ сочиненія, писалъ сочиненія университетскимъ студентамъ; послѣ, уже на мѣстѣ, писалъ проповѣди для желающихъ и обязанныхъ проповѣдовать, но не владѣющихъ свободно перомъ. Пока онъ былъ дьякономъ, нѣкоторые изъ его товарищей и знакомыхъ прошли даже на священническія мѣста, зарекомендовавъ себя въ глазахъ митрополита, между прочимъ, чужими проповѣдями, то-есть братниными. Моя помощь сначала оказывалась даромъ. Заданъ экспромптъ. Я подалъ. Сосѣдъ просить оказать ему услугу—написать. По его примѣру, пятокъ другихъ обращается съ тою же просьбой. Потомъ пошли угощенія въ благодарность. Наконецъ поступило ко мнѣ предложеніе чрезъ третье лицо писать уже не экспромпты, а домашнія сочиненія для неизвѣстнаго, учащагося въ другомъ отдѣленіи. Написалъ я разъ и два, меня угостили; затѣмъ это вошло въ правило, и притомъ услугами моими пользовалось нѣсколько неизвѣстныхъ, все чрезъ того же агента, Николая Лаврова, товарища по Риторикѣ, но учившагося въ другомъ отдѣленіи. Установилась своего рода такса на сочиненія, въ результатъ чего оказывалась иногда у меня даже мелочь въ распоряженіи, а въ трактиръ приглашаемъ былъ ежедневно. Послѣднее было уже какъ бы оброкомъ: шли вдвоемъ, иногда втроемъ, въ сопровожденіи того самого, кто былъ, какъ я предполагалъ, главнымъ моимъ, но неизвѣстнымъ мнѣ кліентомъ. Однако я вида не показывалъ, что догадываюсь или подозреваю. Деньги за угощеніе платилъ или онъ, или Лавровъ.

Угощеніе впрочемъ было не Богъ вѣсть какое: чай, „три или четыре пары“, смотря по тому, двое насъ или трое; хлѣбъ къ чаю; иногда разстегай. А блины въ трактирѣ Воронина—то была роскошь, которая разрѣшалась лишь въ чрезвычайныхъ случаяхъ. Больше всего ограничивались чаемъ, и трактиръ посѣщаемъ былъ

картины. Въ общихъ чертахъ помню характеристику въ классѣ, произнесенную профессоромъ словесности предъ окончаніемъ курса. Онъ сравнивалъ первыхъ двухъ учениковъ своихъ, меня и Сперанскаго, и отдавая мнѣ честь за живость, бойкость, краснорѣчіе, находилъ въ моемъ товарищѣ спокойную разсудительность, которою онъ меня превосходилъ. Отзывъ былъ болѣе глубокъ, нежели можетъ-быть воображалъ почтенный, доселѣ здравствующій нашъ профессоръ. Пробѣгая въ теперешнее время свои опыты четырнадцати и пятнадцати лѣтъ, я вижу въ этомъ мальчикѣ готоваго хлесткаго фельетониста или будущаго беллетриста. Я пишу *Безпечный Семинаристъ*, характеристику своихъ товарищей; описываю вымышленный *Поюстъ Гороховецъ* съ картиной сельской жизни. Не дурно и даже изящно, съ сильнымъ оттѣнкомъ ироніи; въ послѣднемъ узнаю слѣды *Библиотеки для Чтенія*. Эпизоды изъ Русской исторіи, вымышленныя рѣчи историческихъ героевъ, описаніе своего вѣзда въ Москву, историческая повѣсть; бойко, живо, есть воображеніе, есть соль, не говоря о правильности языка; слово слушается. Но разборы рѣчей Цицерона, разсужденія на отвлеченныя темы — мысль слабая, понятія готовые, самая рѣчь становится вязкою, теряетъ свободу. Еслибы съ риторической скамьи мнѣ перескочить прямо въ печать, я оказался бы не хуже многихъ другихъ борзописцевъ. Но потому-то не высоко я цѣню хлесткихъ борзописцевъ, даже пользующихся извѣстностью; я читаю въ нихъ близко знакомаго мнѣ ученика Риторики въ Московской семинаріи; ясенъ мнѣ процессъ, какъ заносятся къ нимъ въ голову слова принимаемыя ими за понятія, какъ усваиваются безъ мысли готовые положенія, заслушанныя и вычитанныя ими и въ механической перестановкѣ предлагаемыя публикѣ подъ видомъ надуманныхъ сужденій. Отъ того у насъ въ печати и преобладаніе пошлости; отъ того удивительно скоро и изнашиваются всѣ теоретическія положенія, выдаваемыя и прини-

маемые первоначально за открытія; изнашиваются самыя слова.

Предводитель долженъ произнести рѣчь при открытіи земскаго собранія. Ротмистру или майору стараго воспитанія словесность не далась. Когда же? Хозяйство! Литтературная дѣятельность ограничивалась письмами къ роднымъ и знакомымъ. Ему подають проектъ сочиненной для него рѣчи, которую онъ долженъ заучить до произнесенія. Прочиталъ, и облакомъ грусти омрачилось чело.

„Хорошо... Но знаете ли, недостаточно современно. Нельзя ли тутъ какъ-нибудь упомянуть объ „иниціативѣ“ и „благодѣтельной гласности?“ Пожалуйста. Кстати, что такое *иниціатива*?“

Подлинный фактъ шестидесятыхъ годовъ. А предводитель былъ даже не глупый человѣкъ.

Первоначальный мой руководитель, братъ, не стѣснялъ моей литтературной бойкости, во первыхъ, потому что находился подъ вліяніемъ *Библиотеки для Чтенія*, во вторыхъ, самъ, подобно безчисленному большинству семинаристовъ, цѣнилъ только, *какъ* написано, а не *что* написано. Въ собственныхъ проповѣдяхъ его обиходъ мысли былъ скуденъ. Но мнѣ съ приближеніемъ философскаго класса пришлось подумать о приготовленіи себя къ новой наукѣ, и прежде всего—къ логикѣ. На счастье мое или на несчастье—какъ это опредѣлить теперь?—учебникомъ философіи для семинаріи назначенъ былъ Баумейстеръ. Пусть по немъ уже не преподавали; но книга была у брата, и братъ съ увлеченіемъ рассказывалъ о методѣ Баумейстера, а равно о методѣ архимандрита Макарія, бывшаго въ прошломъ столѣтіи ректоромъ, если не ошибаюсь, Тверской семинаріи, и напечатавшаго свое Богословіе. Это произведеніе въ свое время было рѣдкостью, во первыхъ потому, что изложено было на русскомъ языкѣ, и во вторыхъ по методу изложенія, одинаковому съ Баумейстеровымъ. Баумейстеръ былъ вольфіанецъ, и изложеніе

у него демонстративное, ни дать ни взять какъ въ геометріи; рядъ сцѣпленныхъ силлогизмовъ, въ основаніи которыхъ лежатъ твердо опредѣленные понятія. Тѣмъ же порядкомъ изложено и Богословіе Макарія, какъ ни странно приложеніе демонстративнаго метода къ наукѣ, основанной на откровенномъ ученіи. Но и нѣмецкая литература представляла опыты въ этомъ родѣ. При господствѣ Лейбнице-Вольфіанской системы, предъ Кантомъ, даже проповѣди и библейскія объясненія излагались на подобіе геометріи. Тема проповѣди—нагорная бесѣда Спасителя. Предпославъ текстъ: „видя много народа, Иисусъ взошелъ на гору“, проповѣдникъ начинаетъ: „Гора есть возвышеніе“... и пр. Такъ требовала тогдашняя наука.

Прочитавъ я Макарія, взявъ Баумейстера, началъ вчитываться и увлекся. „Логическій законъ достаточнаго основанія“ налегъ на меня тяжестью. Когда въ училищѣ и Риторикѣ я стряпалъ переводы, меня озабочивала точность, вѣрно ли передана мысль. Въ риторическихъ самостоятельныхъ упражненіяхъ болѣлъ о выразительности, прозрачности, о живости изложенія. Теперь поднялось требованіе послѣдовательности и опредѣленности, и обратился въ источникъ мученій. Да, истинныхъ мученій, напряженій, которыя близки къ тому, чтобъ „умъ за разумъ заходилъ“. Хемницеръ посмѣялся надъ *Метафизикомъ*, но пытанье, подобное описанному въ баснѣ, заслуживаетъ состраданія, когда оно есть не праздная потѣха отъ бездѣлья, а исканіе истины.

Веревка вещь какая?

Какъ близко къ сердцу отозвался мнѣ этотъ вопросъ, когда я прочиталъ его въ Хемницерѣ (а прочиталъ уже тронутый подобною болѣзнью)!

„Чѣмъ различаются между собою понятія и сужденія?“—„Какое относительное значеніе четырехъ фигуръ силлогизма?“ Вотъ для примѣра двѣ темы, которыя въ числѣ прочихъ были намъ даны по классу логики. Когда я отвѣчалъ на первую, во мнѣ еще не испарилась ри-

торическая бойкость. Но вторая замучила. Веревка вещь какая? Что такое „значеніе?“ Что такое „относительное?“ Надобно опредѣлить оба понятія, чтобы раскрыть ихъ. И я строилъ опредѣленія по всѣмъ требованіямъ формальной логики. Но въ добытыхъ опредѣленіяхъ—новыя понятія, которыя требовали тоже опредѣленія. И я шелъ далѣе, пытался опредѣлить и ихъ; а тамъ новыя понятія, и голова закружилась, умъ изнемогалъ. Еслибы кто-нибудь былъ возлѣ меня, искусившійся въ мысли, тотъ безъ особеннаго труда поставилъ бы меня на ноги, объяснивъ тщету погони за безусловною опредѣленностью и указавъ призрачность самаго метода, допускающаго лишь относительное примѣненіе; разбилъ бы и Баумейстера, и Макарія, доказавъ, что тѣмъ же методомъ можно пройти и къ противоположнымъ заключеніямъ; и убѣдить меня было тѣмъ легче, что я самъ чуялъ бесплодную формальность своихъ напряженій; только при скудости историко-философскихъ познаній не умѣлъ найти выхода изъ круга, въ который себя заключилъ. Но не было около меня человѣка съ достаточною эрудиціей и достаточною опытностью мысли, и даже послѣ никогда не нашлось. Даже въ Академіи, когда, принимаясь за диссертацию на тему: „Отчего трудно наблюдать надъ собою“,—я отнесся къ профессору съ объясненіемъ, между прочимъ, что я отличаю самонаблюденіе отъ самопознанія и самосознанія, потому ограничиваю изслѣдованіе самымъ процессомъ наблюденія, профессоръ добродушно мнѣ замѣтилъ: „Наблюдать, познавать—все равно; чѣмъ тутъ затрудняться?“ Для добродушнаго философа стало-быть требованія строгой опредѣленности отъ психологическихъ понятій никогда и не возникало. Онъ даже не понималъ меня.

Требовательность къ себѣ развилась до болѣзни; „опредѣленность“ и „послѣдовательность“ отравили талантъ. Какъ прежде былъ я плодовитъ, такъ теперь себя сократилъ; какъ живо прежде было изложеніе, такъ сухо

у него демонстративное, ни дать ни взять какъ въ геометріи; рядъ сцѣпленныхъ силлогизмовъ, въ основаніи которыхъ лежатъ твердо опредѣленные понятія. Тѣмъ же порядкомъ изложено и Богословіе Макарія, какъ ни странно приложеніе демонстративнаго метода къ наукѣ, основанной на откровенномъ ученіи. Но и нѣмецкая литература представляла опыты въ этомъ родѣ. При господствѣ Лейбнице-Вольфіанской системы, предъ Кантомъ, даже проповѣди и библейскія объясненія излагались на подобіе геометріи. Тема проповѣди—нагорная бесѣда Спасителя. Предпославъ текстъ: „видя много народа, Иисусъ взошелъ на гору“, проповѣдникъ начинаетъ: „Гора есть возвышеніе“... и пр. Такъ требовала тогдашняя наука.

Прочитавъ я Макаріа, взявъ Баумейстера, началъ вчитываться и увлекся. „Логическій законъ достаточнаго основанія“ налегъ на меня тяжестью. Когда въ училищѣ и Риторикѣ я стряпалъ переводы, меня озабочивала точность, вѣрно ли передана мысль. Въ риторическихъ самостоятельныхъ упражненіяхъ болѣлъ о выразительности, прозрачности, о живости изложенія. Теперь поднялось требованіе послѣдовательности и опредѣленности, и обратилось въ источникъ мученій. Да, истинныхъ мученій, напряженій, которыя близки къ тому, чтобъ „умъ за разумъ заходилъ“. Хемницеръ посмѣялся надъ *Метафизикомъ*, но пытанье, подобное описанному въ баснѣ, заслуживаетъ состраданія, когда оно есть не праздная потѣха отъ бездѣлья, а исканіе истины.

Веревка вещь какая?

Какъ близко къ сердцу отозвался мнѣ этотъ вопросъ, когда я прочитавъ его въ Хемницерѣ (а прочитавъ уже тронутый подобною болѣзнью)!

„Чѣмъ различаются между собою понятія и сужденія?“— „Какое относительное значеніе четырехъ фигуръ силлогизма?“ Вотъ для примѣра двѣ темы, которыя въ числѣ прочихъ были намъ даны по классу логики. Когда я отвѣчалъ на первую, во мнѣ еще не испарилась ри-

торическая бойкость. Но вторая замучила. Веревка вещь какая? Что такое „значение?“ Что такое „относительное?“ Надобно опредѣлить оба понятія, чтобы раскрыть ихъ. И я строилъ опредѣленія по всѣмъ требованіямъ формальной логики. Но въ добытыхъ опредѣленіяхъ—новыя понятія, которыя требовали тоже опредѣленія. И я шелъ далѣе, пытался опредѣлить и ихъ; а тамъ новыя понятія, и голова закружилась, умъ изнемогалъ. Еслибы кто-нибудь былъ возлѣ меня, искушившійся въ мысли, тотъ безъ особеннаго труда поставилъ бы меня на ноги, объяснивъ тщету погони за безусловною опредѣленностью и указавъ призрачность самаго метода, допускающаго лишь относительное примѣненіе; разбилъ бы и Баумейстера, и Макарія, доказавъ, что тѣмъ же методомъ можно пройти и къ противоположнымъ заключеніямъ; и убѣдить меня было тѣмъ легче, что я самъ чуялъ бесплодную формальность своихъ напряженій; только при скудости историко-философскихъ познаній не умѣлъ найти выхода изъ круга, въ который себя заключилъ. Но не было около меня человѣка съ достаточною эрудиціей и достаточною опытностью мысли, и даже послѣ никогда не нашлось. Даже въ Академіи, когда, принимаясь за диссертацию на тему: „Отчего трудно наблюдать надъ собою“,—я отнесся къ профессору съ объясненіемъ, между прочимъ, что я отличаю самонаблюденіе отъ самопознанія и самосознанія, потому ограничиваю изслѣдованіе самымъ процессомъ наблюденія, профессоръ добродушно мнѣ замѣтилъ: „Наблюдать, познавать—все равно; чѣмъ тутъ затрудняться?“ Для добродушнаго философа стало-быть требованія строгой опредѣленности отъ психологическихъ понятій никогда и не возникало. Онъ даже не понималъ меня.

Требовательность къ себѣ развилась до болѣзни; „опредѣленность“ и „последовательность“ отравили талантъ. Какъ прежде былъ я плодovitъ, такъ теперь себя сократилъ; какъ живо прежде было изложеніе, такъ сухо

и отвлеченно теперь. Я спотыкался на каждомъ понятіи, задумывался надъ каждымъ словомъ и не видѣлъ конца, гдѣ остановиться. Методъ требовалъ аксіомы во главѣ, положенія несомнѣнно удостовѣреннаго. Но мнѣ даютъ частный вопросъ изъ логики или психологіи. Приходилось *предположить* что-нибудь за несомнѣнное, заимствовать на вѣру ближайшее частное положеніе учебника, служащее основаніемъ къ данной темѣ. Но на чемъ основано само это положеніе? спрашивалъ я. Не должно ли оно быть само прежде выведено? И гдѣ же начало? Напряженіе доходило до того, что я бросалъ думать; но и это не всегда удавалось. Построенія и попытки къ построеніямъ совершались мимо моей воли. Происходила двойная жизнь; я разговариваю съ кѣмъ-нибудь о сегодняшнемъ морозѣ, о вчерашней выходкѣ Богдавленскаго, который по близорукости приставилъ лицо къ самой доскѣ и написалъ такъ мелко $a+b$ и пр. что профессоръ попросилъ стереть и написать виднѣе. Стеръ; на полшага отойдя отъ доски, размахнулся всею рукой, на смѣхъ написалъ во всю доску „ $a+$ “ и обратился къ профессору съ совершенно серіознымъ видомъ: „Доски не хватаетъ“. Слушаю разговоръ, участвую въ немъ, смѣюсь, а въ головѣ, какъ та непослушная дудка въ органѣ, о которой говоритъ Гоголь, продолжаетъ само собою: „ a равно a , золото есть золото; чѣмъ отличается законъ тождества отъ закона противорѣчія, и если отличается, почему законъ противорѣчія не есть выводъ изъ закона тождества? И нѣтъ ли высшаго закона, изъ котораго оба вытекаютъ?“

Сочиненія мои были уродливы; прочитывая ихъ чрезъ долгое время, я ихъ называлъ самъ себѣ „головастиками“: большая голова и безъ туловища, одинъ хвостъ. Въ длинномъ введеніи устанавливались предварительныя общія понятія; начиналось издадека, а самое положеніе, о которомъ слѣдовало разсуждать, изъяснялось на нѣсколькихъ строкахъ. Сочиненія, писанныя для кліентовъ, вѣроятно были удовлетворительнѣе собственныхъ,

обстоятельнѣе и яснѣе. Тутъ я не думалъ, а можно сказать игралъ мыслями.

Спасла бы меня философская литература, еслибъ она существовала на русскомъ языкѣ. Но какая же была литература? Я прочиталъ все или безъ малаго все печатное, доставая книги чрезъ брата отъ одного вино-торговца. Отмѣчаю эту странность. И. И. Мѣщанинова библіотека состояла изъ журналовъ, историческихъ, географическихъ сочиненій, изъ бѣллетристическихъ произведеній; но въ московскій періодъ моей жизни перестала и она существовать для меня. Отъ Н. Θ. Островскаго заимствовались тоже журналистикой. А за учеными книгами обращались къ погребщику Соколову, торговавшему въ Ножевой линіи. Онъ былъ библіофилъ, и именно по части серіозной литературы. Самъ онъ читалъ, когда читалъ, чтѣ извлекалъ? Видавъ его только въ лицо, не умѣю отвѣтить на эти вопросы. Но когда я перешелъ въ философскій классъ, и даже ранѣе, въ классъ Словесности, книги ученаго содержанія, относившіяся къ моимъ текущимъ занятіямъ, брались у него и находились всегда въ болѣе значительномъ обиліи, нежели можно было ожидать. Кромѣ современныхъ, каковы напримѣръ были логика Кизеветтера и Бахмана, къ моимъ услугамъ являлись такіе, какъ Шадъ, Галичъ, Сидонскаго *Введеніе въ философію* и другія произведенія отечественныхъ мыслителей. Разъ я узналъ, что Соколовъ приобрѣлъ даже *Гекзаплы* Оригена, купивъ у кого-то, при чемъ предварительно справился у брата, чтѣ это за книга, такъ какъ самъ не владѣлъ языками. Вотъ каковъ былъ Соколовъ-погребщикъ и вотъ въ какихъ неожиданныхъ мѣстахъ можно было находить ученые библіотеки!

И такъ, я прочитывалъ философскія книги, какъ прочитывалъ годъ и два назадъ книги по теоріи словесности. Но онѣ не возбуждали меня и не успокоивали. Большинство было даже слабо, и я отрицалъ въ нихъ философскій элементъ. А главное, всѣ онѣ нацѣлены

были не туда, куда стремилось мое вниманіе. Мнѣ еще тогда нужно было бы дать въ руки Спинозу, Юма и Канта, въ особенности послѣдняго; меня могла успокоить только критика познанія.

Не буду забѣгать и продолжать далѣе діагнозъ этой болѣзни моей, которой въ семинаріи было только начало. Назову ее „болѣзнью о формальной истинѣ“: вышіе пароксизмы ея напали на меня уже въ Академіи, гдѣ было разъ, что я, по прибытіи въ Москву черезъ четыре мѣсяца отлучки, не былъ узнавъ близкими лицами: похудѣлъ, пожелтѣлъ, выцвѣлъ. И главною, если не единственною причиною было изнуреніе отъ умственнаго напряженія, въ которомъ проводилъ я дни и ночи, и ночи часто напролетъ до утра.

Какъ разъ къ тому времени какъ заболѣть мнѣ исканіемъ формальной истины, философскія статьи стали появляться въ журналахъ; къ философскимъ основаніямъ обращались критическіе отзывы о произведеніяхъ литературы; Бѣлинскій входилъ въ славу, Герценъ началъ писать. Требованіе основательности и послѣдовательности, овладѣвшее мною до болѣзни, было причиною того, что я съ глубокимъ скептицизмомъ отнесся къ этимъ писателямъ, пріобрѣтшимъ авторитетъ. А на чемъ это основано? А изъ чего это слѣдуетъ? А гдѣ же связь мыслей, явно смотрящихъ въ сторону? Раздѣльно ли самому автору представляется понятіе, съ которымъ онъ носитъ? Вотъ вопросы, которыми я сопровождалъ чтеніе, и на которые отвѣчалъ себѣ отрицательно. Я не увлекся ни на секунду и принималъ исторически положенія философствовавшихъ публицистовъ: „такой-то утверждаетъ то-то“. Далѣе притянуть къ себѣ ни тотъ ни другой не могъ меня, и Бѣлинскій тѣмъ менѣе, чѣмъ болѣе страстности слышалось въ его статьяхъ и чѣмъ явственнѣе была моему критическому взору произвольность его общихъ положеній, заимствованныхъ съ чужихъ словъ.

На счастье или на несчастье заполонилъ меня демон-

стративный методъ, но онъ оказалъ мнѣ ту услугу, что я въ наукѣ пересталъ принимать что-нибудь на вѣру и тѣмъ обереженъ былъ навсегда отъ увлеченій. Съ критическимъ стекломъ принимался я всегда за чтеніе любого изслѣдованія, какому бы великому авторитету ни принадлежало оно. Я убѣждался въ чемъ-либо, но тогда лишь, когда находилъ безупречную внутреннюю послѣдовательность, и во всякомъ случаѣ оставляя себѣ право сомнѣваться, вѣрны ли еще основныя послышки. Объ этомъ своемъ скептическомъ критицизмѣ вспоминать приходилось не разъ мнѣ и благодарить за него судьбу, когда въ зрѣломъ уже возрастѣ видѣлъ вокругъ себя увлеченіе Бюхнеромъ и Фейербахомъ, Молешотомъ и Контомъ, Бокклемъ и Дарвиномъ, и наконецъ экономическими крайностями въ ту и другую сторону, социалистическую и манчестерскую. Я задавалъ себѣ вопросъ: какое бы дѣйствіе произвела на меня эта литература, еслибы мнѣ пришлось познакомиться съ ней въ молодости? (Фейербаха впрочемъ я читалъ еще въ молодости). О новыхъ авторитетахъ въ сферахъ богословской, философской, политико-экономической не говорю уже; они рвутся по швамъ, способны быть уличены критикой, если она ограничится разборомъ ихъ даже на основаніи ихъ самихъ, а Контъ, напримѣръ, даже въ дѣтской неспособности мыслить. Но къ Дарвину, особенно къ Бокклю, я подступилъ бы съ вопросами: помимо того что обобщенія ваши слишкомъ широки, гдѣ ручательство, кромѣ вашей добросовѣстности, что факты, на которыхъ все опирается, не подтасованы? Подтасованы, согласенъ, можетъ быть даже неумышленно; глазъ столь же произвольно обращается къ извѣстнымъ оттѣнкамъ явленія, какъ ноги мои по пути въ семинарію на правую сторону Пречистенки. Не поддамся, пока самъ не увижу и не вложу руки въ язвы.

Этотъ непримиримый скептицизмъ можетъ быть причисленъ тоже къ болѣзнямъ. Не оспариваю этого и не утверждаю, а только объясняю, чѣмъ застрахованъ былъ

въ молодости отъ умственныхъ увлеченій. Между прочимъ, ему же я одолженъ былъ тѣмъ, что призналъ себя обязаннымъ перевѣрить въ послѣдствіи всѣ свои школьныя познанія, переучиться всему что требовало не одной памяти, а приглашало и умъ, и мысль подчиниться. Я совершилъ эту работу потомъ, послѣ всей школы и за то не могу не помянуть добромъ старика Баумейстера.

XI.

Домашній курсъ.

Философская литература была слаба. По теоріи словесности высшее и лучшее заключалось въ изданныхъ *Чтеніяхъ* профессора Давыдова (И. И.). Богословія же, можно сказать, не существовало; исторіографіи, за исключеніемъ русской, тоже. Гдѣ же узнать? Путь одинъ: иностранные языки, и не латинскій съ греческимъ конечно. Всякая книга серьезная или съ притязаніями на серьезность возбуждала во мнѣ, помимо всего, чувство досады на жреческій характеръ авторовъ, которые что-то выносили изъ святилища, давая разумѣть, что тамъ, въ этомъ святилищѣ, цѣлое море знанія и настоящій его источникъ.

Выучиться новымъ языкамъ стало страстнымъ моимъ желаніемъ со втораго года семинаріи. По-французски предоставлялось мнѣ выучиться въ классѣ, гдѣ я числился учащимся; на нѣмецкій могъ я также записаться, если бы желалъ. Но я сознавалъ, что не выучусь этимъ путемъ; переводятся двѣ какія-нибудь крохотныя статейки въ часъ, а ихъ всего два часа въ недѣлю: много ли приобрѣтешь? Наступала Страстная со Свѣтлою Недѣлей еще въ первый годъ. Распутица; за исключеніемъ богослуженія сиди дома по неволѣ. Я рѣшилъ

себя подогнать по французскому языку. При грамматикѣ Перелогова какая-то помѣщена пьеса; перечитавъ грамматику я взялся за пьесу и перевелъ ее, экзаменовавъ себя по мѣрѣ поступленія впередъ. Находилась у брата еще разрозненная часть Мармонтеля, почему-то попавшая къ нему. Перевелъ ее. Не помню, какую-то книжку еще прочиталъ тѣмъ же путемъ. Словаря не было кромѣ присоединеннаго къ учебнику. Братъ, видя мое занятіе, досталъ у кого-то Татищева на нѣсколько дней по моей просьбѣ. Но прежде того я рѣшилъ такъ: значеніе незнакомаго слова угадывать изъ связи рѣчи по остальнымъ словамъ. Какъ же учатся отечественному-то языку? размышлялъ я. Дѣтей не заставляютъ учить слова, и ни мать, ни нянька не служатъ словаремъ: значеніе слова дается само сразу или постепенно. Свѣрка съ Татищевымъ убѣдила меня въ справедливости разсужденія. Затѣмъ я уже прилагалъ этотъ приемъ обученія къ остальнымъ языкамъ: сперва угадывать значеніе слова или неизвѣстной формы по окружающимъ словамъ и оборотамъ и послѣ того обращаться къ словарю. Если связью рѣчи слово необъяснимо, тогда я держу его въ умѣ впредь до случая, когда оно попадется еще разъ. Такъ я выучился нѣмецкому, англійскому, итальянскому; послѣдній впрочемъ остался безъ примѣненія, и о немъ можно сказать только, что я *учился*, хотя въ богословскомъ классѣ купилъ даже два словаря и обширную грамматику, изложенную на нѣмецкомъ. Но прочитать на итальянскомъ почти ничего не пришлось.

Съ французскимъ я совладалъ такимъ образомъ въ двѣ недѣли (Страстную и Свѣтлую). Въ тотъ же срокъ обучился французскому языку и митрополитъ Филаретъ, какъ сказывалъ онъ. Обучились и онъ и я, разумѣется, свободно читать книги, а не объясняться. А по-англійски потомъ, также въ очень краткій срокъ, выучился я первоначально даже не читать, а лишь *усматривать*, то-есть понимать видимое начертаніе, не зная

произношенія даже приблизительно; мудрость произношенія показана мнѣ была гораздо послѣ, когда я состоялъ уже на каедрѣ.

Нѣмецкому обучился я вскорѣ послѣ французскаго упомянутымъ же способомъ по двумъ хрестоматіямъ, краткой и пространной; у брата нашелся и словарь. Процессъ изученія на этотъ разъ былъ гораздо продолжительнѣе; здѣсь не помогала близость къ латинскому, какъ во французскомъ.

Понимать книги я выучился; но гдѣ ихъ доставать? что читать? Братъ на этотъ разъ не могъ оказать мнѣ помощи, потому во первыхъ, что самъ не зналъ новыхъ языковъ (нѣмецкому хотя учился, но забылъ) и не имѣлъ знакомыхъ, которые могли бы ссужать иностранными книгами. Затѣмъ если не косо, то равнодушно смотрѣлъ онъ на мои занятія дѣломъ, по его мнѣнію не существенно важнымъ; его образованіе не было образованіемъ ученаго, и *геллертерство* никогда его не манило. Толкался я иногда на Сухаревкѣ по воскресеньямъ; тамъ въ числѣ старыхъ книгъ попадались иностранныя. Но онѣ были мнѣ не по средствамъ при всей своей дешевизнѣ; притомъ большею частію касались спеціальностей, меня не привлекавшихъ. Однако я купилъ, помню, двѣ книжки, заплативъ по пятачку за каждую и одною-то изъ нихъ заинтересовался Французъ, съ которымъ я столкнулся въ обычномъ своемъ мѣстѣ отдохновенія, гротѣ. Книжка заключала жизнеописанія французскихъ генераловъ временъ революціи. У Француза была тоже книжка, *Самоучитель русскаго языка*, и онъ просилъ меня помочь въ произношеніи русскихъ буквъ. Съ охотой исполнилъ я его требованіе и даже вызвался придти въ другой разъ на то же мѣсто съ тою же цѣлію. Онъ принялъ мое предложеніе съ благодарностью, но этими двумя свиданіями и ограничилось наше знакомство. Нечаянный мой собесѣдникъ былъ уже не молодыхъ лѣтъ, съ сильною просѣдою, и объявилъ мнѣ, что пріѣхалъ въ Россію на

короткое время съ единственною цѣлью посмотрѣть страну, Европѣ неизвѣстную, но пользующуюся силой и вліяніемъ на европейскія судьбы. Я былъ несказанно радъ своему знакомству и ни мало не потяготился нарочно придти изъ-подъ Дѣвичьяго, чтобы дать второй урокъ произношенія, къ сожалѣнію бесплодный. Произнести правильно слово *ножницы* было выше французскихъ силъ, и сколько разъ я ни повторялъ, Французъ ладилъ: *ноженицсю*, по національному обыкновенію продолжая послѣдній слогъ и повышая на немъ голосъ.

Почти не болѣе того времени пришлось мнѣ быть учителемъ еще одного француза, фабриканта. Къ брату явилась женщина изъ простыхъ, въ родѣ горничной что-то, въ сопровожденіи молодаго человѣка, съ бакенбардами и большимъ носомъ. Объяснила, что вотъ этотъ Французъ желалъ бы учиться по-русски, но не знаетъ, къ кому обратиться. „Меня прислали къ вамъ,“ сказала она. На брата указали ей, должно-быть считая его болѣе образованнымъ изъ мѣстнаго духовенства. Объ отношеніяхъ своихъ къ приведенному французу неизвѣстная отозвалась уклончиво. Я обрадовался. Думаю—предложу себя; это мнѣ доставитъ двойную пользу: заплатятъ во первыхъ, да и самъ напрактикуюсь во французскомъ языкѣ. Надежды мои не оправдались, хотя предложеніе и было принято.

Назначили часъ. Являюсь. Фабрика была около Саввы Освященнаго, близехонько. Застаю предполагаемаго ученика вдвоемъ со старшимъ братомъ за столомъ,—кушаютъ жаркое. Первое свиданіе не повело ни къ чему. Я узналъ, что они изъ Ліона и затрудняются незнаніемъ языка, вынуждающимъ ихъ обращаться за всѣмъ къ прикащику; а прикащикъ тутъ же стоялъ, молодой человѣкъ, совершенно *рассейскій*, не чисто, но бойко болтавшій по-французски, наметавшійся здѣсь же на фабрику. Второе свиданіе объяснило всю невозможность уроковъ. Слѣдовало пребывать при ученикѣ почти неотступно, въ числѣ другихъ причинъ и по той,

что хотя состоятельный фабрикантъ, г. Даме былъ невѣжда, не зналъ грамматики и говорилъ j'avions, а слѣдовательно ему нуженъ человѣкъ только для практическаго навыка; прикащикъ былъ бы для того хорошъ, но его нельзя отвлекать отъ дѣла.

Идемъ мы разъ зимой съ Николаемъ Лавровымъ въ семинарію, какъ обыкновенно, раннимъ утромъ. Николай Лавровъ, мой агентъ по доставленію кліентовъ, пользующихся моимъ перомъ, былъ сынъ Дѣвиченскаго дьячка. Когда я поступилъ въ семинарію, онъ сидѣлъ въ Риторикѣ уже четыре года и оставленъ еще на третій курсъ. Лекторъ ихъ класса по греческому языку сидѣлъ съ нимъ вмѣстѣ на ученической скамьѣ въ той же Риторикѣ. Сосѣдство и ежедневное обоихъ путешествіе по одной дорогѣ познакомило насъ сперва шапочно, потомъ тѣснѣе. А агентура, принятая на себя Лавровымъ, еще болѣе насъ связала.

Итакъ, идемъ мы полемъ, приближаясь къ Zubovu. Вдругъ слышимъ обращенное къ намъ:

— Parlez-vous français?

Мимо насъ проходилъ нѣсколько сгорбившійся старикъ съ небритою бородой, отросшей уже на четверть дюйма. На немъ фризовая шинель и суковная ермолка изъ разноцвѣтныхъ клиньевъ. „Должно-быть отставной солдатъ изъ бывшихъ подъ Парижемъ“, подумалъ я и сообщилъ догадку спутнику. Мы прошли мимо, не отвѣтивъ старику ни слова.

Однако это былъ не солдатъ. Я его потомъ еще видалъ, не вступая въ разговоръ. Но Лавровъ съ нимъ познакомился. Поручикъ, капитанъ или что-нибудь въ этомъ родѣ, Талистовъ былъ побочный сынъ графа Остермана-Толстаго или просто Толстаго, дослужившійся до офицерскаго чина, а съ тѣмъ и до дворянства, разжалованный кажется и снова выслужившійся; вотъ кто былъ незнакомецъ во фризовой шинели, опрашивавшій насъ по-французски. У него были жена и дѣти; у нихъ было небольшое имѣніе; они нанимали цѣлый домъ на

Дѣвичьемъ полѣ, небольшой правда. Но старикъ Талистовъ страдалъ болѣзнію русскаго человѣка, въ высшемъ классѣ впрочемъ рѣдко встрѣчающеюся: онъ пилъ запоемъ. Вотъ причина его нищенской наружности. Когда наступали на него припадки болѣзни, онъ пропивалъ все съ себя, и то одѣяніе, въ которомъ мы видѣли его первый разъ, было не его, а кабацкое, вымѣненное имъ на пропитое. Все это передалъ мнѣ Лавровъ, прибавивъ, что онъ знакомъ съ семействомъ и даже имѣетъ тамъ урокъ, учить сына, парнишку лѣтъ двѣнадцати. Замѣчательный на это былъ Лавровъ; я ему удивлялся и завидовалъ. Самъ едва держась въ семинаріи по малоуспѣшности, и притомъ зависѣвшей не отъ лѣни или гулящей жизни, а отъ малоспособности и тупости, онъ однако находилъ для себя уроки, иногда даже не въ одномъ домѣ. Кто же беретъ его? думалъ я часто, зная какъ не великъ обиходъ познаній моего агента; я полагалъ первоначально, что онъ хвасталъ. Но аккуратность, съ какою въ извѣстные дни и часы онъ отлучался, лишнія деньги, оказывавшіяся у него въ срочное время гонорара, убѣдили меня, что едва-едва перевалившій въ философскій классъ послѣ шестилѣтняго сидѣнья въ Риторикѣ, Лавровъ дѣйствительно кого-то и гдѣ-то училъ. Я даже провожалъ его не разъ до Кузнецкаго моста, до какой-то г-жи Ревель, у которой онъ давалъ уроки. До того мало я вѣрилъ въ способность моего пріятеля преподавать что-нибудь, что не рѣшался допытываться подробно, чему и какъ онъ учить. Я боялся, что поставлю его въ смущеніе. А между тѣмъ было разъ, что онъ не постѣснился предложить свои услуги въ преподаваніи даже французскаго языка. Я вытаращилъ глаза, когда онъ объявилъ, что уже ходилъ, представлялся родителямъ ученика или ученицы, но опоздалъ; найденъ другой учитель. Я горѣлъ со стыда, дрожалъ отъ страха, воображая себя на его мѣстѣ; но онъ рассказывалъ такъ просто, такъ благодушно, не сознавая, что совершаетъ неслыханную наглость. Онъ

взялъ бы вѣроятно урокъ даже по математикѣ, которой не зналъ первоначальныхъ правилъ, или по преподаванію нѣмецкаго, котораго не разумѣлъ даже азбуки (по-французски онъ по крайней мѣрѣ разбиралъ, и хотя начала грамматики были ему извѣстны). И совершалъ бы все это въ полной увѣренности, что поступаетъ добросовѣстно.

Получая съ уроковъ, состоя агентомъ по доставкѣ готовыхъ письменныхъ упражненій лѣнивымъ или неспособнымъ писать (не принадлежалъ ли пожалуй онъ и самъ къ числу моихъ кліентовъ, сохранявшихъ инкогнито?), онъ велъ и еще промыселъ—агента по перепискѣ лекцій для университетскихъ студентовъ. Тогда лекцій не литографировали; студенты готовились по рукописнымъ, нуждались въ переписчикахъ; ихъ доставляла семинарія, и многіе семинаристы тѣмъ исключительно кормились. Было нѣсколько агентовъ, и Лавровъ въ томъ числѣ. У него всегда бывали стопы оригиналовъ; раздавалъ онъ ихъ, а иногда переписывалъ и самъ. При раздачѣ переписки другимъ, онъ пользовался коммиссіоннымъ процентомъ; полагаю, что не безъ того было и при передачѣ сочиненій мною изготовленныхъ. Затѣмъ, гонораръ за уроки. Лавровъ всегда поэтому былъ при деньгахъ и не тяготилъ своихъ родителей-бѣдняковъ; на свой счетъ одѣвался. Онъ всегда былъ даже при табакѣ, и притомъ Жукова, что не всякому семинаристу было по карману; большинство курило 3-й сортъ, Аванасьева и другихъ.

Итакъ, я не былъ удивленъ, что Лавровъ получилъ урокъ въ домѣ Талистовыхъ, и былъ порадованъ, когда Лавровъ предложилъ мнѣ не давать, а брать уроки французскаго языка у старика Талистова. Старикъ очень образованный человѣкъ; съ нимъ объ этомъ уже говорено и полагено; Лавровъ будетъ ходить къ нему, чтобы дополнить свои свѣдѣнія во французскомъ и именно пріучиться къ разговору. Но вдвоемъ будетъ охотнѣе, и онъ приглашалъ меня. Я ухватился за случай

тѣмъ съ большею радостью, что мнѣ не предстояло издерживаться. Плата предполагалась небольшая, да и ту принималъ на себя мой будущій соученикъ. А именно, онъ порядился, что Талистовъ будетъ намъ давать по два урока ежедневно, по два часа каждый, и получать за это пятнадцатинный, два кувшина молока и одинъ французскій хлѣбъ *въ недѣлю*. Практицизмъ Лаврова сказался и въ этомъ. Въ число элементовъ платы входило молоко, потому что у его родителей была своя корова; слѣдовательно, денежныя издержки совсѣмъ сокращались.

Я нарочно остался въ этотъ (1841) годъ на вакацію, посѣтилъ съ Лавровымъ будущаго учителя и поразился его обширными знаніями. Онъ зналъ не только французскій, который былъ ему почти природный, но латинскій, нѣмецкій (слабѣе), итальянскій и даже еврейскій, которому выучился въ зрѣлыхъ лѣтахъ по любознательности. Его бывалость чрезвычайная; онъ путешествовалъ; въ Парижѣ жилъ въ самый разгаръ революціи; дома самой высшей аристократіи двора Екатерины были ему свои. Я впился въ него; разспросамъ не было конца: и о дворѣ прошлаго столѣтія, и о жизни нашихъ тогдашнихъ грандовъ, и объ иностранныхъ земляхъ, и о революціи. А онъ мнѣ передавалъ кромѣ того о своихъ былыхъ кутежахъ, о дуэляхъ, о любовницахъ, о томъ какъ прожилъ на нихъ состояніе, какъ брался потомъ за учительство въ пансіонахъ, остепенялся и снова заучивалъ, переходилъ мало-по-малу отъ тонкихъ винъ къ сивухѣ и наконецъ дошелъ до настоящей своей слабости. Говорилъ онъ одушевленно и красиво, пересыпая цитатами изъ латинскихъ и французскихъ классиковъ—классиковъ стараго времени, Корнеля и Расина. Не только Шатобрианъ, о которомъ отзывался онъ съ презрѣніемъ, но даже Вольтеръ былъ для него молодымъ, въ томъ по крайней мѣрѣ смыслъ, что правописанія Вольтеровскаго онъ не признавалъ, возмущался имъ и писалъ *j'étois, j'avois*. Когда касался разго-

воръ французской литературы, я щадилъ старика и не упоминалъ о существованіи новыхъ писателей, не желая его раздражать напрасно. Я показывалъ видъ, что и для меня Шатобріанъ есть послѣдній; французская литература какъ бы кончилась, теперь уже нѣтъ ничего. Но я упивался разговорами, постоянно вызывалъ на нихъ, и достойна была кисти художника эта картина. Комнатка въ мезонинѣ, точнѣе—на чердакѣ, маленькая, едва можно повернуться, аршина три въ ширину. Бѣдная деревянная кровать, прикрытая худымъ одѣяломъ, лоскутнымъ, употребляемымъ прислугою; два убогіе стула и столикъ: все такое, чего никто не купить, за что не дадутъ копѣйки и чего нельзя слѣдовательно пропить. Сидитъ, а больше стоитъ, когда разговариваетъ, приземистый старикъ съ волосами совершенно бѣлыми, черты лица выразительны, большіе черные глаза сверкаютъ. Манеры благородны, то мягки, то величественны, обличаютъ аристократическое воспитаніе; рѣчь изящна, часто одушевлена. Но на немъ фризовая не то шинель, не то халатъ, съ заплатами; а запахнется—бѣлье висящее лоскутьями, совершенно худое, опять чтобы пропить нельзя было. Противъ него мы двое, семнадцати- и двадцатилѣтній, одинъ весь превратившійся во вниманіе, глотающій каждое слово, другой—равнодушный и даже скучающій вѣроятно: что ему Корнель, Расинъ, Дворъ предъ революціей, князь Григорій Григорьевичъ, везущій въ Швейцарію свою молодую, едва разцвѣтшую супругу, въ которую онъ влюбленъ послѣ близости къ Екатеринѣ? Тамъ она умретъ, убьетъ ее именно любовь мужа слишкомъ страстная, и главный виновникъ переворота 1762 года будетъ тосковать по ней безутѣшный. Что Лаврову Альпы, Женевское озеро, Людовикъ XVI, барская жизнь Екатерининскихъ вельможъ?

Разъ мы разговаривали объ императорѣ Павлѣ, его крутыхъ мѣрахъ, строгой дисциплинѣ имъ введенной, невозможномъ требованіи, чтобы выходили изъ экипа-

жей для привѣтствія его проѣзжающіе. Я сказалъ рѣзкое слово:

— Да онъ былъ сумасшедшій.

Мой собесѣдникъ преобразился. Ласковый, мягкій, плавно рассказывавшій до того, онъ вскочилъ, лицо его закипѣло гнѣвомъ, рука поднялась величественно.

— Какъ вы смѣете такъ говорить о моемъ государѣ!

Я думаю, полчаса лилась потокомъ рѣчь его, негодующая и презрительная, топтавшая меня въ грязь. Я, молокосошь, осмѣливаюсь на такіе отзывы о такихъ особахъ!

Я былъ стертъ въ порошокъ. Я почувствовалъ всю дерзкую неумѣстность слова, неосторожно вырвавшегося. Я просилъ извиненія, не зная куда дѣваться отъ смущенія, особенно когда старикъ сказалъ гнѣвно: „Вы недостойны отсель переступать этотъ порогъ!“ Но я любовался въ то же время и почти благоговѣлъ предъ рыцарскими чувствами, выраженіе которыхъ въ такой силѣ и искренности, среди такой притомъ обстановки, я слышалъ первый разъ въ жизни.

Начались наши уроки, но немного длились, недѣли двѣ, три, не болѣе. Разница въ познаніяхъ между мною и Лавровымъ была чрезвычайная. Для него надобно было начинать съ самаго начала. Учитель нашъ взялъ Ломонда (другихъ, позднѣйшихъ грамматикъ онъ не признавалъ) и началъ *экзерсисы* съ первой строки: *Phôte et l'hôtesse sont au logis*. Но я это уже давно самъ по себѣ зналъ; грамматика Ломонда была у меня, и *экзерсисы* мною безъ учителя почти всѣ были пройдены, а Талистовъ задавалъ сначала по страничкѣ. Я просилъ его, правда, идти со мною далѣе, независимо отъ Лаврова, и онъ даже согласился. Но первоначальный планъ все-таки разстроился; мнѣ отчасти и совѣстно было предъ Лавровымъ, а Лавровъ затруднился даже и одною страничкой. Поэтому онъ и охладѣлъ отчасти. Наконецъ, братъ мой, прослышавъ о моихъ систематическихъ посѣщеніяхъ какого-то неизвѣ-

стнаго ему дома, заподозрилъ неблаговидныя цѣли и раскричался на меня, между прочимъ за то, что я бралъ съ собою *Дѣтскій Журналъ*, книгу Н. Θ. Островскаго, бывшую у насъ на поддержаніи. А я бралъ ее затѣмъ, чтобы подъ руководствомъ Талистова переводить ее на французскій. Отношенія мои съ братомъ къ тому времени уже разстроились. Я счелъ унижительнымъ для себя оправдываться и предпочелъ оставить свои ежедневныя учебныя посѣщенія, тѣмъ болѣе что къ тому же времени несчастный учитель мой и запылъ. Откуда онъ взялъ денегъ? Не наши ли пятіалтынные пособили ему? Я засталъ его въ одной рубашкѣ: семья спрятала даже его халатъ, чтобъ отнять послѣднюю возможность выхода изъ дома. Съ помутившимися глазами бурчалъ онъ что-то по-французски; увидавъ меня, сталъ въ позу и началъ декламировать изъ Корнея. Говорить было нечего, и я оставилъ чердакъ съ тяжелымъ чувствомъ. Такой человѣкъ, и такъ низпалъ!

Университетскія лекціи, бывавшія у Лаврова, не проходили мимо меня. Я не переписывалъ ихъ; почеркъ у меня всегда былъ негодный; но я прочитывалъ ихъ. Лекціи были преимущественно медицинскаго и юридическаго факультетовъ. Къ сожалѣнію, свѣдѣнія получались разрозненныя, безъ начала и конца, съ перерывами. Но помню, пробѣжалъ я съ жадностью тетрадки изъ физиологіи (кто ее тогда читалъ? не Филомаеитскій ли?) Помню еще трактатъ, изъ какой науки не вѣдаю, заинтересовавшій меня, о государственныхъ и монастырскихъ имуществѣхъ. Многое почерпалъ я и еще, чего сейчасъ не приходитъ на память. Иногда находя въ себѣ неожиданное свѣдѣніе, котораго, сколько помнится, ни въ какой книгѣ не вычиталъ, и которое относится къ спеціальности, совсѣмъ мнѣ чуждой, недоумѣваю: да откуда же я взялъ это, какъ пришло ко мнѣ? Послѣ нѣкотораго усилія вспоминаю: „а, это въ какой-нибудь изъ рукописныхъ университетскихъ лекцій досмотрѣлъ я, тѣхъ что почитывалъ у Лаврова!“

XLI.

Ближайшее окружающее.

Лавровъ былъ мнѣ не товарищъ. Приличный, почтительный къ старшимъ, цѣломудренный, вина не пилъ; но души я съ нимъ отводить не могъ. Подобія даже какихъ-нибудь идеальныхъ запросовъ не зарождалось въ душѣ у него. Достать урокъ, сходить на урокъ, достать лекцій для переписки, раздать лекціи переписчикамъ и собрать обратно, заплатить дань поклоновъ многочисленной, видной роднѣ, не опуская ничьихъ именинъ и рожденій, вотъ чѣмъ исчерпывались его интересы. Вѣроятно свѣтилась ему въ отдаленіи мысль: получить при помощи всесильнаго родственника Александра Петровича дьяконское мѣсто въ Москвѣ по окончаніи курса, зажить домкомъ, а тамъ присматривать не подойдетъ ли случай со временемъ даже и священническое мѣсто получить при той же помощи. Но даже до этихъ мечтаній въ разговорѣ со мною у него не доходило: счастливая природа—довольствоваться окружающимъ, не забираясь ни въ глубь, ни въ даль! Я же могъ только подлаживать свои душевные струны въ тонъ моему собесѣднику, спрашивать о подробностяхъ передаваемого имъ случая или объ обстоятельствахъ упоминаемаго имъ родственника, сообщать ему собственные мелочные случаи. Петръ Николаевичъ Кудрявцевъ, въ качествѣ родственника, былъ для Лаврова *случай* добывать лекціи для переписки; а для меня былъ Петръ Николаевичъ Кудрявцевъ—первый студентъ университета, вышедшій изъ нашей семинаріи первымъ же студентомъ, параллель Ивану Алексѣевичу Смирнову-Платонову, первому студенту Виѣанской семинаріи, окончившему первымъ въ Академіи. Моя мысль неслась на сравненіе ихъ познаній и способностей, на то

какъ и чѣмъ они достигли своихъ успѣховъ. Завидовалъ въ частности, что вотъ Лавровъ можетъ осязать Кудрявцева; мечталось, сколько бы я могъ вырасти и обогатиться умственно чрезъ общеніе съ такою знаменитостью. А Петръ Николаевичъ—будущая знаменитость среди профессоровъ и литтераторовъ—былъ знаменитостью и для семинаріи ранѣе своей славы въ университетѣ. Въ семинаріи, какъ и въ училищѣ, извѣстные воспитанники и цѣлые даже курсы оставляли преданіе; Петръ Николаевичъ выдавался и сохранился въ памяти. Мои взгляды, мои мечты не могли ожидать отзывчивости отъ Лаврова, и я могъ ихъ держать только при себѣ.

Лавровъ меня не навѣщалъ. Да вообще я не принималъ никого и принимать не могъ. Нужно было бы испрашивать позволеніе у брата и выслушивать допросы: кто, какъ, почему,—подвергнуть гостя можетъ-быть высокому, пренебрежительному обращенію. А Лавровъ и тѣмъ паче не смѣлъ бы переступить порогъ. Онъ былъ сынъ дьячка; а дьячокъ есть „ты“ для священника и для дьякона. Его употребляютъ на посылки, при чемъ за исполненіе награждаютъ поднесеніемъ рюмки. Дьячокъ не сидитъ въ присутствіи священнослужителя и не впускается далѣе передней. Пусть Егоръ, отецъ Лаврова, и пользовался нѣкоторымъ уваженіемъ по своимъ лѣтамъ и вполнѣ благопристойному поведенію; обращаясь къ нему употребляли и отчество иногда, имъ не помыкали; но все—дьячекъ, и сынъ его, пока не кончилъ курса, все сынъ дьячка, не болѣе.

Я въ свою очередь не часто посѣщалъ Лаврова, при всей близости мѣстожителства. Я захаживалъ къ нему передъ классомъ, чтобы вмѣстѣ отправиться въ семинарію. „Захаживалъ“, это значитъ совершалъ болѣе полуверсты крюку: шелъ въ противную отъ семинаріи сторону до Лаврова и затѣмъ проходилъ обратно тотъ же путь съ Лавровымъ. Очень рѣдко заходилъ я днемъ. Кромѣ *Деленія*, никого мы вмѣстѣ не посѣщали, и разъ только со-

вершили вдвоемъ прогулку на Воробьевы Горы, къ отцу Добронравова, обыкновеннаго нашего сотоварища по *Деметію*; отецъ Добронравова, болѣе извѣстный въ тогдашнемъ московскомъ духовенствѣ подъ именемъ Тарабара, былъ въ Воробьевѣ дьякономъ; онъ казался очень живымъ, веселымъ и необыкновенно разговорчивымъ человѣкомъ и далъ мнѣ изъ своего обращенія понять, почему его прозвали Тарабаромъ. Раза два ходили мы въ садъ Чицова (прежде Милюковой, а теперь Ганешина), гуляли по лабиринту, между прочимъ описанному въ одномъ изъ романовъ Загоскина, катались на лодкѣ по пруду. Но и туда прогулку я предпочиталъ послѣ того совершать въ одиночествѣ.

Садъ былъ въ частномъ владѣніи, однако я и Лавровъ, и всякій входилъ въ него свободно. Сиживалъ я тамъ по цѣлымъ часамъ, по получасамъ катался на лодкѣ, всегда свободной; она была на привязи и никогда не заперта. Ни разу ни отъ кого замѣчанія. Въ тѣ времена мнѣ и въ голову не приходило, что я самовольно распоряжаюсь въ чужомъ владѣніи, и миллионы русскихъ людей пребываютъ до смерти при этомъ неразвитомъ понятіи о собственности. Двадцать лѣтъ минуло и нужно было произойти особенному случаю, чтобы вопросъ о законности права, которымъ я пользовался безпрекословно въ Чижевскомъ садѣ, потребовалъ отъ меня размысленій. Я нанималъ дачу въ Останкинѣ. Вотчинная контора распорядилась между прочимъ загородить ходъ въ нѣкоторыя мѣста сада и парка. Дачники взволновались, забунтовали, и мнѣ пришлось по крайней мѣрѣ съ полудюжиной тратить время на препирательства.

— Да позвольте, возражалъ я,—контора вольна запереть намъ садъ совсѣмъ. Вы нанимаете у крестьянина; въ число договорныхъ условій не входило обязательство пускать васъ въ садъ, да и не въ волѣ это вашего хозяина это.

— Да я съ тѣмъ нанималъ. Я, гдѣ хотите, въ другомъ

мѣстѣ провелъ бы лѣто. Согласитесь, что это свинство, никогда этого не было. Насъ нѣсколько сотъ, какъ можно такъ съ нами обращаться!

— Но можетъ-быть у васъ въ городѣ, обращался я къ нѣкоторымъ,—есть и домъ и садъ. Вы позволите всякому постороннему ходить тамъ и проводить время по цѣлымъ днямъ?

— Это совсѣмъ другое, горячится собесѣдникъ.—То городъ, а то деревня. Тамъ придетъ воръ какой-нибудь, еще обокрадетъ. Помилуйте, графъ еще, огромное состояніе: что у него, испортятъ дорогу что ли, когда дачники, приличные люди, пройдутъ по ней? А извольте теперь, отправляйтесь кругомъ чрезъ грязь.

И такъ далѣе. Меня занимали эти пренія тѣмъ, что происходили вскорѣ послѣ манифеста 19 февраля 1861 года, когда о правахъ собственности исписаны были по поводу реформы цѣлые томы; и притомъ споръ приходилось вести съ людьми, которые въ мигъ перемѣняли точку зрѣнія, когда повертывалъ я разговоръ на отношенія ихъ съ бывшими крѣпостными. Неуваженіе крестьянина къ принципу частной поземельной собственности ихъ возмущало, они негодовали; а здѣсь на оборотъ становились сами на осуждаемую ими точку зрѣнія и приходили въ негодованіе, когда я уличалъ ихъ. Здѣсь, по ихъ мнѣнію, въ Останкинѣ совсѣмъ другія отношенія.

То былъ первый случай соприкосновенія моего со сбивчивыми, противорѣчивыми представленіями о поземельномъ правѣ, не чуждыми даже образованному классу. Послѣ же приходилось десятки и даже сотни разъ встрѣчаться съ безсознательными коммунистами, очень ретиво однако оберегающими личное право, когда бы дѣло дошло до покушенія на ихъ собственность. Одинъ случай особенно характеренъ. Я жилъ близъ Петровскаго-Разумовскаго. Само Петровское-Разумовское съ садомъ и паркомъ принадлежало тогда П. А. Шульцу. Общество моихъ знакомыхъ отправилось въ садъ гу-

лять, и одинъ изъ кавалеровъ, желая услужить дамамъ, нарвалъ цвѣтовъ съ куртины, расположенной предъ самымъ домомъ владѣльца, который въ добавокъ сидѣлъ на ту пору предъ цвѣтникомъ съ семействомъ и гостями. Чрезъ садовника послѣдовало замѣчаніе и просьба не трогать цвѣтовъ; а услужливый кавалеръ выбиралъ что ни есть лучшіе, чтобы собрать букеты повеликолѣпнѣе. Послѣдовалъ крупный разговоръ. Потоки негодованія лились, когда виновники происшествія передавали мнѣ о грубости владѣльца. „Помилуйте, если ужъ ему такъ жалко, могъ лично подойти и вѣжливо попросить. Видить вѣдь, что дамы тутъ, и вдругъ садовника: не смѣй трогать! Видите, раззорили! Ему оказываютъ честь, что гуляютъ по его саду, а онъ...“

Убѣжденный опытомъ въ бесплодности, я уже не усиливался особенно разувѣрять, довольствуясь замѣчаніемъ, что нужно спасибо сказать, когда и гулять-то пускаютъ. Правда, не чувствомъ какого-нибудь нравственнаго долга внушается большею частію это вниманіе и владѣльцевъ къ публикѣ. Русскій просторъ и затрудненіе держать сторожей и устраивать изгороди, затѣмъ преданіе,—вотъ главная причина кажущагося великодушія, и если нельзя похвалить кавалеровъ, собирающихъ букеты въ чужихъ дорогахъ цвѣтникахъ, то стоить посмѣяться и надъ тѣми владѣльцами, которые обставляютъ свои парки и лѣса шестами съ надписью: „входить строго воспрещается“. Меня всегда забавляетъ эта непрѣмная прибавочка нарѣчія „строго“. Почему не просто „воспрещается?“ не все ли одно? А тутъ сказывается досада на сознаваемое безсиліе, и она вымещается словомъ „строго“. Нельзя помѣшать, пройдутъ все равно, не обращая вниманія на надпись; такъ хоть усилить выраженіе. Забавно! А этимъ господамъ, сердитымъ, но не сильнымъ, можно напомнить общепринятое международное правило, что „блокада тогда только признается, когда объявляющій блокаду обладаетъ средствами поддержать ее“. Такъ и владѣлецъ, объявляющій

свое поземельное владѣніе въ блокадѣ, обязанъ прокопать рвы, воздвигнуть изгороди, поставить сторожей. А безъ того оно есть общественное вхожее мѣсто, и нельзя гнѣваться, когда прохожіе не трогаются надписями „воспрещается“, хотя бы воспрещалось не просто, а „строго“. Обязанъ ли прохожій читать эти надписи и умѣть ли даже прочесть каждый?

Кромѣ Чижевскаго сада навѣщалъ я Нескучный, съ которымъ было легкое сообщеніе чрезъ перевозъ; казались тогда очень недалекими нѣсколько верстъ, отдѣлявшія Новодѣвичій отъ рѣки; входъ же въ Нескучный свободенъ былъ не только съ Калужской улицы, но и съ берега. Удалялся я на размышленія и въ садъ Ступина, большой, запущенный, расположенный между огородами, съ повалившимся по мѣстамъ заборомъ и со старымъ барскимъ домомъ, отъ котораго вѣяло плѣсенью. Сказывали, что нѣкогда помѣщался тутъ какой-то клубъ. Но къ моему времени даже памяти о человѣческомъ жильѣ не сказывалось ни домомъ, ни садомъ съ заросшими дорогами и бурьяномъ и съ грачами, каркавшими вокругъ. Я любилъ это уныніе и легче сосредоточивался, диктуя себѣ собственные сочиненія или возносясь въ другой міръ на фантастическихъ крыльяхъ. Изъ любознательности, которую можно назвать тоже фантастическою, я отправился разъ на измѣреніе Вавилона-колодца, за монастырь, въ направленіи къ Воробьевымъ горамъ. Чтò это былъ за колодезь? Туда совершался крестный ходъ изъ монастыря въ урочный день года; шатеръ надъ нимъ въ родѣ часовни; преданіе какое-то есть о немъ; говорятъ, онъ бездонный. Какъ бездонный? И я вооружился большимъ клубкомъ бичевки, привязалъ къ ней камень и сталъ спускаться. Я дна дѣйствительно не досталъ, по крайней мѣрѣ такъ мнѣ показалось. Физики тогда не зналъ еще, и могло случиться, что развертывала клубокъ сама бичевка, размочившаяся и отъ того увеличившаяся въ вѣсъ, а не камень, давнымъ-давно быть-можетъ лежавшій уже на днѣ.

Но вообще я не зналъ куда дѣвать время, когда не было ни чтенія дома, ни письменной работы. Такое несчастье въ особенности постигало въ каникулярные періоды, Святки, Масляницу, Свѣтлую Недѣлю и вакацію, если оставался въ Москвѣ; а Масляницу и Свѣтлую Недѣлю я, всѣ четыре года жизни у брата, проводилъ въ Москвѣ, не уѣзжая въ Коломну. Братъ, при всей природной словоохотливости, вступалъ теперь лишь изрѣдка въ разговоры; невѣстка была совсѣмъ изъ молчаливыхъ. Оставались дѣти, изъ которыхъ старшій былъ моложе меня на шесть лѣтъ. Посторонніе бывали рѣдко. Семью вообще можно было назвать читающею, но не говорящею. До нѣкоторой степени напоминалась даже коломенская семья, съ тѣмъ различіемъ что тамъ отецъ и я читали непрерывно, а сестра иногда. Здѣсь непрерывно читали невѣстка и дѣти (двое старшихъ), а братъ рѣже. Старшіе племянникъ и племянница забавлялись между собою иногда, экзаменуя себя взаимно. Я отъ нечего дѣлать принималъ участіе въ этой самоизобрѣтенной игрѣ, которая при благоразумномъ руководствѣ могла бы приносить дѣтямъ и положительную пользу. Дѣти читали въ журналахъ повѣсти и потомъ обращались другъ къ другу съ вопросами:

— „Ладно, сказалъ онъ, завертывая покупку въ грязную бумагу“. Гдѣ это сказано?

Собесѣдникъ большею частію угадывалъ, откуда взято мѣсто, и предлагалъ свой вопросъ въ видѣ цитаты изъ другой повѣсти или романа.

Особенно тоскливо тянулись Масляница и Свѣтлая недѣля. Чтобы дѣвать время, я отправлялся бродить по Москвѣ и наблюдать веселящихся по улицамъ и подъ Новинскимъ. Полагаю, съ тѣхъ поръ идетъ, что цѣлодневные звоны производятъ на меня крайне удручающее впечатлѣніе всегда. „У всякаго есть радость, есть забвеніе себя“, думалъ я, шагая по улицамъ. „Ну, чему они рады? Какъ это досадно!“

Подъ Новинскимъ разъ я сдѣлалъ наблюденіе надъ процессомъ кражи, оказавшейся для виновника забавно неудачною, а для потерпѣвшаго непріятною не въ смыслъ потери имущества. Уже разъ двадцать можетъ-быть прошагалъ я отъ Кудрина до Смоленскаго и назадъ: та же глазѣющая толпа, тѣ же экипажи съ публикой мало интересною, тѣ же паяцы. Поворачиваю для разнообразія на заднюю сторону гулянья; она пуста совершенно, только извозчики жмутся кое-гдѣ у троттуаровъ, и нѣкоторые изъ любознательныхъ мастеровыхъ и крестьянъ уткнули носы въ стѣны балагановъ въ усиліи увидѣть что-нибудь. Вниманіе напряжено, и карманникъ этимъ воспользовался. Вижу: около крестьянина въ полушубкѣ, приставившаго глаза къ щели балагана, помѣстилась чуйка и осторожно вытаскиваетъ торчавшій изъ кармана у крестьянина ремешекъ. Медленно тянулъ кажущійся мастеровой, тоже смотря повидимому въ щель. Довольно долго продолжавшаяся операція завлекла меня. Тащилъ, тащилъ и наконецъ вытащилъ. Добыча оказалась не кошелькомъ, какъ воображалъ вѣроятно жуликъ, а только длиннымъ ремнемъ.

— Ахъ, ты!... вскрикнулъ воръ въ негодованіи, стегая мужика вытащеннымъ ремнемъ.—Таскаешь такую дрянь!

Оглянулся мужичекъ; оглянулись и прочіе участники контрабанднаго зрѣлища чрезъ щелку. Хохотъ, остроты; участіе приняли и извозчики, жавшіеся у троттуаровъ, и предметомъ шутокъ были оба равномѣрно, и жертва и виновникъ проступка. А жуликъ остался тутъ же, лишь нѣсколько перемѣстившись.

— Не выудилъ! Поди, попытай еще, говорили ему въ слѣдъ добродушно.

Товарищей въ первые годы, да и во весь семинарскій курсъ не было такихъ, которыхъ бы я навѣщалъ; да и разъѣзжались, къ кому бы еще могъ зайти. Но въ числѣ спутниковъ по дорогѣ изъ семинаріи былъ сынъ

дьякона съ Воздвиженья на Овражкахъ. Я былъ уже въ философскомъ классѣ, онъ въ риторическомъ. Онъ вышелъ первымъ изъ училища. Это обстоятельство меня къ нему потянуло. Я ожидалъ въ немъ найти подобіе и часть себя, заговаривалъ съ нимъ дорогой, а разъ, именно во время Масляницы, зашелъ къ нему. Онъ былъ единственный сынъ у отца-вдовца. Я надѣялся встрѣтить однозвучную мнѣ тоску, умъ томящійся уединеніемъ и бездѣйствіемъ. Я нашелъ юношу болѣе хозяиномъ, нежели любознательнымъ ученикомъ. Онъ разливалъ чай и вообще носилъ на себѣ прозаическій видъ хозяйки, немного возвышающейся надъ кухаркой. Мертвый разговоръ, а послѣ чая, такъ какъ я оказался третьимъ, мнѣ предложено играть въ горку. Я отозвался незнаніемъ. Меня обучили и тѣмъ легче убѣдили, что игра была не на деньги. Иль нѣтъ, на деньги, только на особенныя. Папаша-дьяконъ досталъ изъ шкафа мѣшечекъ, весь наполненный полушками стараго чекана, но не изношенными, раздѣлилъ между нами поровну и началась игра. По окончаніи игры поужинали, и я вышелъ разочарованный, очень благодарный за гостепріимство, но вынесшій хуже нежели пустоту, какое-то засореніе въ головѣ. Я бѣжалъ отъ уединенія, не зная чѣмъ избавить себя отъ поѣдающей меня внутренней работы логическихъ ли построеній или фантастическихъ сооружений, а нашелъ убиваніе времени, послѣ чего голова не освѣжалась, а тяжѣла. Придешь къ Лаврову; тамъ по крайней мѣрѣ у отца его, дьячка, вытеребишь объ его молодости. Онъ родомъ изъ барскаго села, и бариномъ у нихъ былъ сочинитель. Слово „сочинитель“ произносилось съ почтеніемъ, и изъ рассказовъ видно, что и тогда когда „сочинитель“ здоровствовалъ, онъ пользовался почтеніемъ отъ окружающихъ за свое сочинительство.

„Кто же это такой? думалъ я. Не Державинъ ли? Ужъ не Карамзинъ ли?“ Изъ рассказовъ оказалось что это былъ Николевъ. Николевъ! Я до того времени о немъ

и не слыжалъ, а на дьячкѣ Егорѣ сохранилось обаяніе, и онъ съ видомъ почти благоговѣнія перечислялъ мнѣ творенія этого, совершенно забытаго теперь писателя, не пользовавшагося особенною славой, кажется, и въ свое время. Какая противоположность съ однимъ офицеромъ, съ которымъ я познакомился лѣтъ чрезъ десятокъ, родственникомъ по женѣ! Познакомившись, я полюбопытствовалъ знать о его службѣ: заставный офицеръ; а прежде гдѣ служилъ? Онъ перечислялъ полки и корпуса и затруднялся припомнить фамилію главнокомандующаго, при которомъ началъ службу.

— Вотъ не помню, какъ его...

Я пытался ему помочь, перечисляя нѣкоторыя фамиліи извѣстныхъ мнѣ второстепенныхъ генераловъ стараго времени. Наконецъ онъ вспомнилъ:

— Ну, Суворовъ. Вотъ, вспомнилъ.

Предоставляю читателю судить о моемъ не то что удивленіи, а остоленіи. Я началъ допытываться, не смѣшалъ ли онъ, не перевралъ ли; нѣтъ, оказалось, что онъ забылъ именно фамилію знаменитаго полководца, перешедшаго Чертовъ мостъ, князя Италійскаго, графа Суворова - Рымникскаго. Вотъ и судите: одинъ съ благоговѣніемъ чтитъ память знаменитаго, по его мнѣнію, сочинителя Николева; другой не вспомнитъ фамилію главнокомандующаго, который однако былъ Суворовъ.

Досказать ли о Лавровѣ? Дьяконскаго мѣста въ Москвѣ онъ не успѣлъ получить. Просидѣвъ въ Риторикѣ шесть лѣтъ, онъ равно шесть лѣтъ просидѣлъ и въ Философіи. Я уже поступилъ въ Академію, а онъ все еще сидѣлъ на ученической скамьѣ средняго отдѣленія. Я уже потерялъ его изъ вида совсѣмъ, года три почти не встрѣчался, какъ получаю въ Академіи письмо съ просьбой написать сочиненіе. Бѣдный, что съ нимъ стало?

XII.

Свѣтскій послушникъ.

Прерываю теченіе разсказа, чтобы познакомить читателя съ однимъ замѣчательнымъ челоѡкомъ, упомянутымъ въ предшествовавшей главѣ. Онъ не имѣлъ отношенія ни къ семинаріи, ни ко мнѣ въ частности, но заслуживаетъ памяти какъ самъ по себѣ, такъ и потому что судьба его и положеніе даютъ дополненіе къ нравственному облику знаменитаго всероссійскаго іерарха, Филарета.

Я упомянулъ, что Николай Лавровъ, мой спутникъ и кліентъ, могъ мечтать о полученіи дьяконскаго мѣста въ Москвѣ со временемъ, при помощи „всесильнаго Александра Петровича“, своего родственника. Кто этотъ всесильный родственникъ? Это былъ Александръ Петровичъ Святославскій, домашній секретарь митрополита Филарета. Его считали всесильнымъ, потому что онъ успѣвалъ устраивать соихъ родныхъ на епархіальныя мѣста помимо болѣе достойныхъ кандидатовъ. Да и вообще проситель, снабженный помощью „Александра Петровича“, подъ этимъ именемъ извѣстнаго всей епархіи, могъ быть увѣренъ въ успѣхѣ. Его протекція для того, кто успѣвалъ ее пріобрѣсти, была вѣрнѣе протекціи всякаго сановника; но на дѣлѣ онъ былъ отнюдь не всесиленъ и не брался за то, что ему прямо не подлежало. Читатель ошибется, если въ образѣ Святославскаго представить себѣ архіерейскаго секретаря, подобнаго тому секретарю Орловскаго епископа, которому вмѣстѣ съ его патрономъ сочиненъ былъ въ пятидесятыхъ годахъ сатирическій акаѡистъ, разошедшійся въ рукописи по духовенству всей Россіи. Ничего похожаго, потому что и самъ Филаретъ былъ не Смарагдъ.

По поступленіи на Московскую епархію, Филаретъ потребовалъ отъ консисторіи, чтобъ она прислала ему писца для домашней его канцеляріи. Консисторія прислала Святославскаго; * онъ и былъ писецъ, не болѣе, хотя получилъ семинарское образованіе; писцомъ онъ и остался до смерти, послѣдовавшей чрезъ тридцать слишкомъ лѣтъ его службы. Во все это время Святославскій былъ неизмѣнною тѣнью митрополита, повсюду его сопровождавшею, ни на сутки, почти ни на часъ отъ него не отлучавшеюся, не потому однако и не затѣмъ, почему и зачѣмъ неотлучно состоятъ секретари иногда при другихъ архіереяхъ и правители дѣлъ вообще у сановниковъ, затрудняющихся иногда ступить шагъ безъ „правой руки“. Митрополитъ не поручалъ никакихъ дѣлъ секретарю; каждое дѣло обсуживалъ самъ и самъ составлялъ каждую бумагу. Онъ не возлагалъ на секретаря никакихъ и докладовъ, а тѣмъ менѣе позволялъ ему подавать какія-нибудь мнѣнія. Докладывали викарные, секретари консисторіи, ректоры, благочинные, каждый по кругу своихъ обязанностей; просители каждый лично объяснялъ, когда помимо письменной просьбы требовалось личное объясненіе. Домашнему секретарю оставалось докладывать не о дѣлахъ, а только о лицахъ, являющихся съ докладами или просьбами, и то въ ограниченныхъ случаяхъ. Первою его обязанностью была регистратура официальной переписки митрополита. Затѣмъ онъ былъ переписчикъ и чтецъ. Читалъ онъ митрополиту иногда входящія бумаги (когда онѣ бывали очень обширны), а чаще книги, и притомъ свѣтскія, когда любопытствовалъ владыка о ихъ содержаніи; переписывалъ бумаги исходящія отъ митрополита. Писецъ и чтецъ только, писецъ

* Святославскій былъ сынъ извѣстнаго по исторіи протоіерея Сорожосвитской церкви Веніамінова, убитаго въ 1812 году французами на паперти за отказъ отдать имъ ключи отъ церкви. У троихъ сыновей убіеннаго протоіерея были три разныя фамиліи: Веніаміновъ, Святославскій и Григоровичъ. Въ духовенствѣ была не рѣдкостью такая прихотливость: родные братья, а фамиліи разныя.

и чтецъ неотступный въ теченіе тридцати слишкомъ лѣтъ, писецъ и чтецъ составлявшій всю канцелярію сановника, управлявшаго не только епархіальными дѣлами, но цѣлымъ духовно-учебнымъ округомъ, участвовавшаго во всѣхъ Синодальныхъ дѣлахъ сколько-нибудь важныхъ, входившаго въ постоянное должностное соприкосновеніе съ генераль-губернаторомъ и съ министрами. Александръ Петровичъ былъ показателемъ между прочимъ всей умственной мощи, всей невѣроятной-обширной личной дѣятельности знаменитаго іерарха. Заурядная личность не должна бы выдержать и своего скромнаго значенія тѣни; дюжинныхъ человѣческихъ силъ не должно бы хватить и на то, чтобы быть планетой столь большаго свѣтила. Но Святославскій выдержалъ, и въ теченіе тридцати лѣтъ не отходилъ отъ владыки, не искалъ повышеній или лишняго вознагражденія, кромѣ помощника себѣ, такого же писца. Онъ носилъ миниатюрный портретъ митрополита вмѣстѣ съ крестомъ на шеѣ, вынималъ его иногда и нелицемѣрно цѣловалъ наравнѣ съ крестомъ, какъ икону. Александръ Петровичъ былъ не только писецъ и чтецъ, но былъ подвижникъ, послушникъ, только одѣтый въ длиннополый сюртукъ вмѣсто подрясника; подвигъ иноческаго послушанія онъ несъ исправнѣе и ревностнѣе любого монаха. Онъ не былъ женатъ и никуда, за исключеніемъ чрезвычайныхъ случаевъ, не выходилъ изъ своихъ двухъ комнатъ, которыми пользовался въ митрополичьихъ покояхъ. Единственными прихотями его были хорошій чай и трубка съ табакомъ. Хотя куренье табаку не одобрялось митрополитомъ, но онъ не насиловалъ въ этомъ своего секретаря.

Въ теченіе тридцати лѣтъ авва-митрополитъ ни разу не посадилъ своего писца-послушника въ своемъ присутствіи; только въ послѣдніе годы или даже въ одинъ, предсмертный годъ, когда Александръ Петровичъ, изнуренный, уже носилъ въ себѣ роковой исходъ, митрополитъ указывалъ ему на стулъ, съ позволеніемъ сядя

продолжать чтеніе, тянувшееся нѣсколько часовъ. Обращеніе владыки не переходило никогда въ подобіе близости. „Если святитель призоветъ да скажетъ ласковымъ, почти просительнымъ тономъ: вотъ поторопись, перепиши *пожалуйста*,—я ужъ понимаю. Это значить какая-нибудь длинная записка, за которою надобно сидѣть и день и ночь на пролетъ, да и не одну. Безъ того отдастъ молча или прикажетъ сухо: перепиши.“ Суровость обращенія впрочемъ вообще смягчилась послѣ того какъ за три года до смерти * со Святославскимъ послѣдовалъ ударъ. Начали дѣлаться припадки, и когда доводимо было о нихъ до свѣдѣнія владыки, онъ входилъ къ больному, благословлялъ его; какъ родные увѣряютъ, Александръ Петровичъ немедленно подъ дѣйствіемъ благословенія приходилъ въ себя, раскрывалъ глаза и улыбался.

Александръ Петровичъ былъ почтенъ вниманіемъ и уваженіемъ не только епархіальнаго духовенства, но всѣхъ кому приходилось имѣть постоянныя дѣла съ митрополитомъ. Старосты и храмоздатели осыпали его подарками и не предпринимали ничего безъ его совѣта, а державшіе раскаивались послѣ въ своей самонадѣянности.

Митрополитъ не бралъ денегъ за освященіе храмовъ; онъ признавалъ совершеніе этого обряда обязанностію своего пастырскаго служенія. Александръ Петровичъ предупредилъ объ этомъ одного Тита Титыча, который удостоился того, что самъ владыка освятилъ созданный имъ храмъ.

— Ну, да мы знаемъ. Небось, не посрамлюсь.

Ввалился Титъ Титычъ ко владыкѣ благодарить за посѣщеніе, котораго удостоилось сооруженіе. Принять. Благодарить.

— Вотъ, владыка, примите отъ моего усердія, кланяется храмоздатель и предлагаетъ митрополиту пачку.

* Умеръ Святославскій въ 1856 году, какъ говорили, отъ размягченія мозга.

Благословилъ митрополитъ и говорить: Я не принимаю платы за освященіе храмовъ.

— Да ваше высокопреосвященство, вы пересчитайте, вѣдь тутъ тысяча рублей, съ необыкновеннымъ самоудовольствомъ настаиваетъ Титъ Титычъ.

— Вонъ ступай! воскликнулъ раздраженный митрополитъ.

— Я васъ предупреждалъ, замѣчаетъ потомъ Святославскій ошпаренному ктитору, который уже предвкушалъ на своей груди медаль.—Охъ, то-то вотъ и есть; не объщаюсь, но попытаюсь умолить владыку, продолжалъ Александръ Петровичъ.—Вы только не показывайтесь на глаза, пока я васъ не увѣдомлю.

Выбираетъ случай и докладываетъ владыкѣ Святославскій, что староста сокрушается, просить прощенія и не смѣетъ явиться.

— Да представь себѣ, онъ мнѣ предлагалъ деньги!

— Онъ не умѣлъ объяснить, владыка. Онъ деньги приносилъ не вамъ, а на Горихвостовское заведеніе для бѣдныхъ духовнаго званія. Хочетъ ознаменовать освященіе храма пожертвованіемъ на бѣдныхъ.

— Это дѣло другое, сказалъ митрополитъ смягчившись.—Пусть внесетъ.

— Но онъ проситъ вашего благословенія.

— Пусть явится.

Отъ совѣщанія съ Александромъ Петровичемъ не уклонялись и болѣе значительныя лица, имѣвшія нужду въ митрополитѣ, свѣтскія особы и духовныя, даже архіереи. Попасть въ часъ, угодить вкусу, оберечься отъ безтактности,—кто же могъ наставить въ этомъ вѣрнѣе неизмѣнной тѣни митрополита, его неизмѣннаго слуги?

Просилъ я не разъ Александра Петровича къ себѣ, передавалъ мнѣ одинъ изъ московскихъ настоятелей, поддерживавшій добрыя сношенія со столь необходимымъ лицомъ какъ секретарь владыки.

— Вы знаете мое время, когда же мнѣ выбрать

часть? А вотъ развѣ: владыка будетъ освящать церковь въ Вишнякахъ; послѣ того онъ навѣрное заѣдетъ къ Семену Логиновичу (Лепешкину, старостѣ) на чашку чая. Тогда часочекъ урву и приѣду пожалуй къ вамъ.

Наступилъ условленный день; владыка проѣхалъ; слѣдомъ за нимъ Александръ Петровичъ и на перепутьѣ завертывается къ пріятелю-батюшкѣ.

— Съли мы за чай съ ромкомъ. Я запасся самымъ лучшимъ, тѣмъ и другимъ. Припасъ и сигаръ самыхъ дорогихъ, какія могъ найти. Но только что мы было разсѣлись, продолжалъ рассказывать іерей,—какъ послышался звонъ въ одной церкви, и въ другой, и въ третьей. Освященіе кончилось и владыка возвращается. Стало-быть онъ не заѣхалъ къ старостѣ, можетъ-быть почувствовалъ нездоровье. Проскакала мимо оконъ шестерня. Александръ Петровичъ поспѣшно оставилъ недопитый стаканъ и бросился въ коляску, въ которой приѣхалъ. Тщетно старался онъ перегнать митрополичій экипажъ. Только слѣдомъ за нимъ могла поспѣть наемная коляска на подворье.

Когда митрополитъ возвращался откуда-нибудь, его большею частію дожидались уже нуждающіеся во вспоможеніи, и Святославскій былъ обыкновеннымъ раздаятелемъ милостыни. И онъ зналъ, кому сколько дать. Хотя митрополитъ никогда не назначалъ цифры, но достаточно было тона и выраженія.

— Святославскій, скажетъ митрополитъ:—подай нищимъ.

Это значило, что обыкновенныхъ нищихъ, толпящихся на крыльцѣ, нужно одѣлить по гривенничку, по пятиалтынничку.

— Святославскій, бѣдные ждутъ.

Это значить, что въ передней стоятъ просители и просительницы, не принадлежащія къ уличнымъ нищимъ, которымъ нужно помочь рубликомъ или тремя.

— Святославскій, помоги, скажетъ тономъ ниже и болѣе тихимъ голосомъ.

Значить, какой-нибудь чрезвычайный случай; чрезвычайный проситель или просительница объясняли митрополиту свое положеніе.

— Попросишь повторить изложенныя владыкъ обстоятельства, и видишь, что нужно выложить сотенку, пожалуй и три, чтобы выручить изъ нужды.

Когда опоздавшій нѣсколькими минутами Александръ Петровичъ явился, владыка вскинулся:

— Чтѣ это! Нельзя отлучиться, и тебя ужъ нѣтъ. Тутъ бѣдныя, нуждающіеся въ помощи; они ждали, я долженъ имъ помочь, и по твоей милости я не могу исполнить христіанской и пастырской обязанности.

И пошелъ, и пошелъ, горячася все болѣе и болѣе.

— Владыка, отвѣчалъ наконецъ доведенный до слезъ Святославскій.—Во всѣ тридцать лѣтъ какъ служу я вамъ, одинъ только этотъ разъ случилась со мною оплошность. Простите, не вѣняйте въ вину.

Смягчился митрополитъ.

— Такъ помоги, сказалъ онъ уже мягкимъ тономъ,—дожидаются.

Таковы были отношенія. Митрополитъ не считалъ своихъ личныхъ денегъ и до нихъ не касался. Ими завѣдывали частію Лавра, частію эконома, частію секретаря. Только разъ во все пребываніе на Московской каѳедрѣ, по словамъ того же Святославскаго, митрополитъ обратился къ нему съ вопросомъ: „Святославскій, сколько у насъ денегъ?“ Это было во время опалы, въ 1824 году, когда предстояла опасность быть переведеннымъ въ Грузію и объ этомъ ходилъ слухъ.

Безотчетное распоряженіе частію митрополичьей казны давало Святославскому случай нажитья. Экономы митрополичьяго дома, которыхъ перебывало нѣсколько, успѣвали собирать въ короткое время до нѣсколькихъ сотъ тысячъ. У одного изъ нихъ, по оставленіи службы въ митрополичьемъ домѣ, обнаружена кража полутораста тысячъ, да и кромѣ того осталось. Это богатство объяснялось бывшею службой на архіе-

рейскомъ подворьѣ. Но Святославскій не оставилъ послѣ себя ровно ничего денегъ, а только картины и разныя вещи (даренныя), и похороненъ онъ былъ родными на ихъ счетъ. Поэтому я рѣшительно отклоняю всякое подозрѣніе о томъ, чтобы Святославскій злоупотреблялъ довѣріемъ митрополита или оказывалъ кому-нибудь протекцію за деньги. Да и не дослужилъ бы онъ до конца жизни на подворьѣ, при лихоимствѣ, какъ не дослуживали экононы. Мнѣ кажется напротивъ, что Святославскій проникся принципами самого митрополита, котораго боготворилъ.

За такую преданность, за такую безпримѣрную и непрестанную, неусыпную службу не могъ же и митрополитъ не чувствовать признательности, и потому личныя ходатайства секретаря, приносимыя притомъ въ благопріятное время, принимались во вниманіе. Отсюда молва о всесильности. При всемъ великомъ умѣ и осторожной внимательности, митрополитъ давалъ собою пользоваться людямъ, изучившимъ его. Кромѣ Святославскаго, къ числу такихъ принадлежали лаврскій намѣстникъ Антоній и между прочимъ Алексій, сначала инспекторъ, потомъ ректоръ Московской семинаріи, затѣмъ ректоръ Академіи и викарій. Живю помню, какъ во время службы моей у Троицы нужно было предотвратить ли посѣщеніе митрополита или вообще отвести его глаза отъ чего-то, ревизія чего могла навлечь непріятныя послѣдствія. Алексій съ улыбкой передавалъ, что онъ отправился къ митрополиту съ недоумѣніемъ о какой-то пустой бумажонкѣ. Митрополитъ былъ жаденъ къ дѣлу: стоило только подсунуть ему корма; возвращаясь изъ отдаленныхъ поѣздокъ, онъ, шатаясь иногда отъ усталости, прежде всего бросался на бумаги его дожидавшіяся, и потомъ уже отдыхалъ. „Ну, этого старцу хватить, занялся очень внимательно“, съ улыбкой передавалъ Алексій о своей хитрости. Святославскому ли не изучить было митрополита, и ему ли было не умѣть пользоваться

своимъ знаніемъ? И должно отдать ему справедливость: онъ пользовался не на зло, а на добро, хотя иными не заслуженное.

Не оставилъ митрополитъ своего вѣрнаго писца-чтеца и безъ официальной награды. Онъ его представилъ къ ордену, и помнится по указанію Синодальнаго оберъ-прокурора. Самъ бы онъ на это не дерзнулъ. Официальное положеніе Святославскаго, не занимавшаго классной должности, значившагося едва ли не писцомъ консисторіи, не давало ему правъ на служебную награду. А митрополитъ былъ строгій законникъ, не позволялъ себѣ никогда превысить мѣру полномочій закономъ данныхъ, и тѣмъ болѣе просить чего-нибудь изъ уваженія къ себѣ лично, къ своимъ архіерейскимъ заслугамъ. Итакъ, въ силу посторонняго указанія, чуть не понужденія, послѣдовало представленіе.

— Чтѣ же это вы, владыка, ничѣмъ не наградите Александра Петровича: такъ воспроизвожу себѣ слова другаго Александра Петровича, графа Толстаго, который зналъ Святославскаго и обращался къ его посредничеству еще ранѣе, чѣмъ получилъ званіе Синодальнаго оберъ-прокурора.

— Да чѣмъ же я могу наградить? вѣроятно отвѣчалъ съ недоумѣніемъ смиренный митрополитъ.—Онъ служить усердно, правда, но онъ не занимаетъ штатной должности.

Оберъ-прокуроръ успокоилъ, и митрополитъ представилъ къ Аннѣ 3-й степени и несомнѣнно радовался дѣтски, что успѣлъ обломать такую штуку, выхлопотать своему слугѣ такую неслыханную награду!

Нѣчто подобное потомъ было съ А. В. Горскимъ. Когда поручено было Горскому съ Невоструевымъ составить описаніе рукописей Синодальной бібліотеки и когда совершена была ими первая часть этого безпримѣрнаго труда, съ которымъ по полнотѣ, основательности, глубинѣ, подробности не могутъ быть даже сравниваемы знаменитѣйшія описанія знаменитѣйшихъ

библіотекъ, составленныя знаменитѣйшими учеными Европы, митрополитъ представилъ Горскаго къ ордену Владиміра 4-й степени. Награда, правда, небывалая: Горскій не имѣлъ священнаго сана, но и не переходилъ въ свѣтское званіе. Онъ оставался подобно многимъ, на степени амфибія, точнѣе, на степени эмбриона, зародыша, изъ котораго одинаково можетъ выйти и водное и земное существо. Такія лица стояли внѣ обычной служебной лѣстницы и не имѣли права ни на какія награды кромѣ прибавки жалованья, квартирнаго пособія или перемѣщенія на высшую каеедру. Высшая администрація петербургская, по крайней мѣрѣ по словамъ директора духовно-учебнаго управленія, сдѣлала даже чуть не законодательный вопросъ изъ представленія о награжденіи Горскаго. Ходатайство однако было уважено, митрополитъ утѣшенъ и съ видомъ необыкновенно полного удовлетворенія сказалъ Горскому, подавая орденъ: „За твою усердную службу царь жалуетъ тебя дворяниномъ“. А ученики и ученики учениковъ Александра Васильевича, изъ тѣхъ что облеклись въ мундиръ или рясу, дюжинами уже получили такимъ путемъ дворянство и давно обогнали учителя, возвышаясь по служебной, лѣстницѣ за труды, и количественно и качественно меньшіе труды Горскаго, при заурядной службѣ, которая своею государственною пользой даже въ отдаленное сравненіе не могла идти съ заслугами и педагогическими и писательскими знаменитаго профессора.

— А у насъ не такъ, сказалъ мнѣ покойный графъ Д. Н. Блудовъ съ огорченіемъ:—лишнюю бумагу составить, требуетъ особой награды.

Произнесено было это замѣчаніе въ 1853 году. Мнѣ поручено было тогда разобрать, описать и распределить по учебнымъ заведеніямъ раскольническія книги и рукописи, въ числѣ не одной тысячи экземпляровъ хранившіяся въ Синодальной библіотекѣ. На вопросъ: „что же вы за это получите?“—„Ничего“, отвѣчалъ я,

удививъ графа своимъ отвѣтомъ и въ свою очередь удивившись вопросу. Но послѣ я уже не удивлялся, когда дозналъ порядки гражданской службы. Не удивился, когда услышалъ чрезъ немного лѣтъ, какъ и самъ графъ подвергся наградной эксплуатаціи, неслыханной даже на гражданской службѣ.

— Какъ это досадно, что это онъ надѣлалъ! говорилъ мнѣ А. Н. Поповъ, извѣстный ученый, объ одномъ своемъ товарищѣ по службѣ во II Отдѣленіи Собственной Канцеляріи Его Величества.

Графъ Блудовъ былъ тогда главноуправляющимъ II Отдѣленія, и А. Н. Поповъ состоялъ при немъ и управлялъ его домашнею канцеляріей.

— Мнѣ нужно было съѣздить въ деревню, продолжалъ Поповъ:—онъ (называя другаго чиновника) долженъ былъ знать, что нельзя же графа здѣсь одного въ Москвѣ оставить. И вообразите, писецъ, кантонистъ К., воспользовался добротой графа, составилъ о себѣ представленіе, да какое! О производствѣ себя прямо въ коллежскіе совѣтники, да и орденъ на шею (кажется даже — *Владиміра*), и наконецъ пенсія. Государь изъ уваженія къ графу конечно утвердилъ. Но можно ли было допустить до этого, зная безконечную доброту графа и неспособность его отказывать просьбамъ?

И долго негодовалъ Александръ Николаевичъ, и долго не могъ уходить. А я слушалъ его и вспоминалъ о Горскомъ и Святославскомъ. Вотъ одинъ со Владиміромъ 4-й, другой съ Анной 3-й степени, представлявшіеся митрополиту удостоенными наградъ превыше самыхъ смѣлыхъ мечтаній. Вспоминалъ и объ А. Ѳ. Кирьяковѣ, между прочимъ содѣйствовавшемъ мнѣ въ описаніи раскольническихъ рукописей. Онъ зналъ исправно не только древній, но и новогреческій языкъ, и это послужило ему если не въ несчастіе, то въ значительное бремя. При каждомъ сношеніи съ восточными патріархами, когда приходилось справляться съ

древними актами, его запрягали рыться въ архивъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, извлекать изъ документовъ свѣдѣнія и переводить ихъ. Ему поручено было и перевести толкованіе Іоанна Златоуста на цѣлую книгу Новаго Завѣта (*Посланіе къ Галатамъ*). Все это онъ исполнялъ, разумѣется, безпрекословно, хотя ни переводы, ни архивныя розысканія не входили въ обязанность профессора семинаріи. И за всѣ свои заботы и труды, иногда очень не малые и продолжительные, долженъ былъ онъ довольствоваться ласковымъ словомъ и благословеніемъ митрополита. Но такъ насъ воспитывали; этотъ духъ Филарета крѣпокъ былъ тогда. Уклоняться отъ труда, когда предложеніе его есть честь оказываемая, тѣмъ болѣе—торговаться о трудѣ обнаруживало бы безчестный образъ мыслей. Спрашивай о томъ, полезенъ ли трудъ, и старайся о томъ, чтобъ онъ принесъ пользу; находи себѣ и утѣшеніе и награду въ приносимой тобою пользѣ. Разсуждая иначе, ты негодный наемникъ и не заслуживаешь ни довѣрія, ни уваженія, да и пользы принести не можешь, потому что не служишь и не способенъ служить дѣлу. Съ тѣмъ же А. Θ. Кирьяковымъ былъ случай даже нѣсколько забавный. Его переводъ *Посланія къ Галатамъ* былъ напечатанъ на Синодскій счетъ, а ему, переводчику, даже экземпляра не подарили. Этой черстовой невнимательности тоже нельзя одобрить. Но забавно, что переводчикъ, чтобы поднести митрополиту свой трудъ въ печатномъ экземплярѣ, вынужденъ былъ его купить и на свой счетъ переплести!

Лично я узналъ А. П. Святославскаго только шапочно и притомъ когда уже состоялъ на кафедрѣ. Гладко выбритый, съ вѣжливо ласковымъ выраженіемъ, онъ низко кланялся всѣмъ намъ, и старымъ и молодымъ педагогамъ Академіи, былъ предупредителенъ. Онъ держалъ себя не по своему дѣйствительному значенію, а по табели о рангахъ и виѣшнему положенію въ архіерейскомъ штатѣ.

XLIII.

Т о в а р и щ и.

Еще чуть ли не въ первый мѣсяцъ пребыванія моего въ семинаріи завязалось у меня самымъ оригинальнымъ образомъ знакомство съ однимъ соученикомъ, поступившимъ изъ другаго училища. Съ поперечной скамьи, на которую первоначально былъ посаженъ, задумалъ я пересѣсть куда-нибудь и выбралъ вторую скамью на той же лѣвой сторонѣ. Почему ее, а не другую? На правую переходить далеко, а первая на лѣвой была занята старыми. Во всѣ два года я и не оставлялъ лѣвой стороны, садясь то на второй, то на третьей скамѣ. На первыхъ садиться, выставляться, находилъ неловкимъ.

Сижу. Съ обѣихъ сторонъ незнакомыя лица. Во время лекціи, чувствую, чья-то рука съ правой отъ меня стороны подъ пюпитромъ тянется къ моей, ищетъ и кладетъ въ нее бумажку. Поднимаю изъ-подъ пюпитра руку, развертываю бумажку и вижу: совершенно пустая. Сидѣвшій направо сосѣдъ моего сосѣда хихикнулъ; его сосѣдъ, сидѣвшій далѣе, тоже засмѣялся. Въ наступившій свободный часъ послѣ лекцій шутникъ сталъ отпускать на счетъ меня остроты, впрочемъ безобидныя, задирать меня, обращаясь и лично, безъ дерзостей и оскорбленій однако. Сколько понимаю теперь, это былъ бурсацкій способъ рекомендовать себя въ знакомство. Болѣе умнаго и болѣе приличнаго способа малый не придумалъ. Онъ былъ Перервенецъ, слѣдовательно круглый сирота и никакого общества кромѣ бурсачнаго не видалъ. Пришлось мнѣ познакомиться невольно; я долженъ былъ отзываться, а затѣмъ и самъ задавать вопросы. Знакомство, такъ оригинально начавшееся, продолжалось затѣмъ во весь семинарскій курсъ. Только

Академія насъ разлучила; пріятель мой и туда за мною послѣдовалъ, но не выдержалъ вступительнаго экзамена.

Да, это былъ пріятель; изъ всѣхъ соучащихся онъ былъ единственный, съ которымъ у меня дошло на „ты“. Болѣе ни къ кому я не обращался въ единственномъ числѣ за всѣ десять лѣтъ въ Семинаріи и въ Академіи. Отчего, самъ не постигаю. Были потомъ истинные друзья, любимые и уважаемые, единомысленные, друзья неразлучные въ теченіе цѣлыхъ шести лѣтъ; насъ было трое, и мы сами сознавали странность вѣжливо-холоднаго обращенія при нашей задушевной близости; даже давали другъ другу слово обратиться къ единственному числу. Но нѣтъ, не выходило, и мы бросали, возвращаясь къ чинному „вы“. А съ Перервенцемъ, навязавшимся мнѣ въ знакомство, сошло на „ты“ очень скоро; выходило на оборотъ очень неловко держаться на множественномъ числѣ.

Пріязнь наступила не вдругъ и никогда не была ободно полною. Потребовалось болѣе двухъ лѣтъ, чтобъ отношенія стали тѣснѣе. Въ первые два года я не помню даже ни одного случая, гдѣ бы сказалась наша общность; не припомню даже, гдѣ онъ жилъ учась въ низшемъ отдѣленіи. Только не въ „казнѣ“, не въ монастыряхъ и не въ Остермановомъ домѣ, и это меня удивляетъ теперь: въ качествѣ круглаго сироты онъ долженъ былъ состоять на казенномъ коштѣ; не получалъ ли онъ пособіе деньгами?

Близость трудно завязывалась, потому что мы замѣшаны были на разномъ тѣстѣ. Сирота съ ранняго дѣтства, сынъ сельскаго священника, пьянаго и буйнаго, сведшаго еще ранѣе мать въ могилу, Перервенецъ не имѣлъ и родныхъ близкихъ, а въ тѣхъ, которыхъ имѣлъ, не возбуждалъ родственной нѣжности. Ни память отца, ни личныя качества сиротъ, не трогали сердце у двоюроднаго дяди или двоюродной сестры. У тѣхъ свои семьи; въ пору на нихъ расходовать чувства. Отданы

ребята въ бурсу. Ихъ было четверо; старшій скоро вывалился и поступилъ писцомъ не то въ Сиротскій Судъ, не то въ Управу Благочинія, но и тамъ не удержался. Второй къ моему времени дошелъ до средняго отдѣленія семинаріи, поступилъ отсюда въ Медицинскую Академію, но почти тотчасъ женился на швеѣ, мѣщанкѣ какой-то во всякомъ случаѣ, да еще съ семьей, которая сѣла на шею зятю, или онъ ей—кто разберетъ? Но нищета вынудила бросить Академію и поступить на службу тоже писцомъ куда-то. Третій, лѣнивый и неспособный къ ученью малый, засидѣлся въ училищѣ, давъ обогнать себя четвертому, моему пріятелю. Пріятель мой былъ изъ первыхъ на Перервѣ, не выходилъ изъ числа лучшихъ и въ Семинаріи. Но самопомощь, въ которую бросила его судьба при столь неблагопріятной обстановкѣ, не могла воспитать въ немъ идеаловъ. Привычки и потребности были грубы. Рюмка и даже публичный домъ рано были ему знакомы, не возбуждая отвращенія; напротивъ, въ томъ и другомъ видѣлась ему, со многими другими, удаля, которою онъ хвалился. Безъ отвращенія, напротивъ съ восхищеніемъ объ изворотливости, передавалъ онъ о слышанныхъ имъ какихъ-нибудь небывалыхъ продѣлкахъ мошенничества. Чтò общаго могло быть съ нимъ у меня? На ряду со всѣми я выслушивалъ его рассказы о похожденияхъ, часто очень грязныхъ, въ которыхъ онъ бывалъ иногда главнымъ, иногда второстепеннымъ участникомъ. Онъ умѣлъ рассказывать живо, не лишенъ бывалъ остроумія и липедѣйственной способности; какъ душу общества, его приглашали нѣкоторые изъ соучениковъ къ себѣ даже въ домъ къ родителямъ; у нѣкоторыхъ онъ гащивалъ.

Онъ учился, онъ и читалъ; тѣ же обстоятельства ограничили однако чтеніе его Поль де-Кокомъ и литературой Толкучки. Когда мы бывали въ трактирѣ, онъ не бросался подобно мнѣ на журналы; любознательность его въ этомъ отношеніи была ниже даже, нежели у Добронравова, моего кліента, и чуть не ниже-нежели у

Лаврова. Онъ охотиѣ отправлялся, пока я читаю книгу, въ билліардную, посмотрѣть тамошній бой игроковъ. Но о содержаніи классныхъ уроковъ мы иногда разговаривали, передавали другъ другу недоумѣнія и разрѣшали ихъ. Больше впрочемъ наши отношенія вращались въ практической сферѣ: купить гдѣ что, гдѣ чего достать, на это онъ былъ хорошій совѣтникъ.

При казенномъ пособіи Перервенецъ, такъ буду называть его, питался перепиской лекцій; проживалъ на урокъ сначала у своего родственника дьякона, а потомъ у посторонняго протоіерея. Живалъ и на квартирахъ, и между прочимъ у своего брата, который колотясь придумывалъ разные способы прокормить семью, въ томъ числѣ пусканье нахлѣбниковъ. Перервенецъ приглашалъ меня къ себѣ въ гости, между прочимъ и посмотрѣть Наташу, свояченицу (жену брата), за которою онъ ухаживалъ и которая будто бы тоже была равнодушна къ нему; а она красавица. И былъ я, и видѣлъ; дѣйствительно пышная, красивая женщина, и сердце мое сжалось. Цѣль ухаживанія, понятно, была самая грязная; у пріятеля былъ низкій замыселъ, между прочимъ поймать свояченицу въ расплохъ, даже подпоить ее. Я попытался представить ему всю гадость поступка, но говорилъ стѣнѣ. „Не я, такъ другой“, отвѣчалъ онъ. Вліянія не имѣлъ я на него; онъ былъ и старше меня и опытиѣ во всемъ. Во взаимномъ положеніи нашемъ мужескій элементъ, дѣятельный, былъ за нимъ; за мною женственный, пассивный. Еслибъ я не предохраненъ былъ всѣмъ виѣшнимъ прошлымъ и внутреннимъ самовоспитаніемъ, скорѣе могло случиться, что я бы низвергся въ бездну, увлеченный пріятелемъ.

Охотиѣ навѣщалъ я его, когда онъ квартировалъ у общаго нашего товарища въ домѣ князя Бѣлосельскаго-Бѣлозерскаго, на Тверской (домъ Малкіеля потомъ, теперь Носовыхъ). Во флигелѣ жилъ управляющій домомъ, дворовый человекъ. Розановъ, товарищъ нашъ — сынъ священника изъ села, принадлежавшаго Бѣлосельскимъ-

Бѣлозерскимъ, получалъ отъ управляющаго комнату, въ которой одно время жилъ и Перервенецъ. Съ восторгомъ передавалъ онъ мнѣ о спокойномъ, уютномъ, совершенно отдѣльномъ уголкѣ, на который онъ напалъ; объ удобствахъ заниматься, о независимости положенія: не то что на людяхъ, въ чужомъ домѣ на урокѣ. А главное—предлагалъ онъ мнѣ послушать игрока на гитарѣ, необыкновенно искуснаго, по его словамъ, приводящаго въ восторгъ; онъ самъ ради этого началъ учиться на гитарѣ и даже купилъ подержанный инструментъ, заплативъ съ чѣмъ-то рубль. Отправился я, былъ и разъ, и два, и больше: просиживалъ по часамъ. Комната дѣйствительно особенная, хотя не отдѣльная, менѣе грязная нежели въ Коломенской бурсѣ иль Богоявленскомъ общежитіи, удушливая однако до нестерпимости. За то была гитара, на которой я и самъ началъ учиться. Знаменитый игрокъ оказался. исключенный изъ семинаріи прохвостъ, лѣтъ двадцати, прокармливавшійся игрой на бильярдѣ въ трактирахъ, а можетъ-быть чѣмъ и еще хуже. Игралъ онъ не дурно дѣйствительно, сколько могу помнить. Въ ходу была тогда *Аскольдова Мошля*, и Перервенецъ перенялъ отъ него, а я отъ Перервенца, *Ахъ, подруженки, Ужъ какъ вьетъ вътерокъ* и *Близко города Славянска*. Душа моя питалась нѣсколько, но впечатлѣніе все-таки омрачалось. Для игрока-учителя требовалось угощеніе; бутылки съ пивомъ, даже полштофъ съ зеленымъ являлись къ услугамъ. Участвія въ попойкахъ я не принималъ; положеніе бывало стѣснительно, и я уходилъ, предпочитая визиты, которые не вели ни къ встрѣчѣ съ бильярдною знаменитостью, ни къ полштофамъ.

Уроки на гитарѣ и смотръ Наташѣ относились ко времени пребыванія моего въ среднемъ отдѣленіи семинаріи. Къ тому же времени относится и начало знакомства съ Алексѣемъ Алексѣвичемъ Остроумовымъ. Впрочемъ этимъ классомъ близкое знакомство и кончилось, а установилось оно чрезъ сосѣдство по ученической скамьѣ: мы сидѣли рядомъ, уже на первой скамьѣ

теперь, которой въ среднемъ отдѣленіи я не обѣгалъ. А. А. Остроумовъ вмѣстѣ съ братомъ Васи́ліемъ Алексѣвичемъ былъ тоже круглый сирота. Когда еще былъ я въ низшемъ отдѣленіи, два эти брата поражали меня своимъ сходствомъ; я ихъ не отличалъ, хотя они были не близнецы; В. А. былъ старше, должно-быть, однимъ годомъ, и былъ уже въ среднемъ отдѣленіи, когда Алексѣй былъ въ низшемъ, только не въ томъ гдѣ я учился, а въ параллельномъ. Присмотрѣвшись послѣ, по переходѣ въ среднее отдѣленіе, я даже удивлялся, что принималъ ихъ за двойниковъ. Но было что-то, дававшее смѣшивать ихъ, или точнѣе — не было чего-нибудь, по чему посторонній глазъ и мой въ частности, на первый разъ отличаетъ одну фигуру отъ другой. Японцы и Китайцы Европейцу на первый разъ представляются всѣ на одно лицо; вѣроятно и Европейцы тоже Японцу или Китайцу, если не выдаетъ ростъ или рѣзко отличный цвѣтъ волосъ. Глазомъ, по крайней мѣрѣ моимъ, должно-быть схватывается прежде всего общій типъ, а къ подробнымъ чертамъ вниманіе обращается позднѣе.

А. А. Остроумовъ былъ юноша вполне приличный и въ одеждѣ и въ пріемахъ; на лицѣ не лежало ни пошлости, ни той печати, отличавшей семинарскіе подонки, которая по первому взгляду внушаетъ сомнѣніе, полпивная или мастерская чаще всего выдаетъ носителя физіономіи. Въ цилиндрѣ, въ опрятномъ сюртукѣ, въ столь же опрятной шинели, онъ имѣлъ видъ джентльмена. Какъ много значитъ общество, среди котораго вырастаетъ дитя! Оба брата жили у опекуна, московскаго священника, и у того же священника проживалъ студентъ или кандидатъ перваго курса Московской Академіи, одинъ изъ неудачниковъ, почему-то не нашедшій должности и пріютившійся у товарища - священника. Должно-быть зелено-вино разстроило карьеру ученаго мужа, фамиліи котораго не помню. Но простое треніе о развитую личность положило совсѣмъ другую отъ

товарищей печать и на братьевъ-питомцевъ. Не Польде-Кокъ и литература Толкучки были чтеніемъ Остроумова: онъ зналъ русскихъ поэтовъ, ощущалъ ихъ красоты, и многое изъ нихъ изучилъ наизусть. Выдающимся его мастерствомъ было умѣнье читать, чему помогаль между прочимъ и прекрасный баритонъ, способный къ самымъ нѣжнымъ переливамъ. Онъ такъ мастерски читалъ, такъ осмысленно, что записанъ былъ первымъ по исторіи въ среднемъ отдѣленіи, подобно Солнцеву въ низшемъ. Это не диво, но диво то, что я, не чувствительный къ стихамъ вообще и неспособный ихъ заучивать, знаю нѣкоторые стихотворенія наизусть доселѣ, послѣ того какъ прослушалъ чтеніе Остроумова. Можно отсюда видѣть, что это былъ огромный талантъ и конечно пропавшій; почтенный Алексѣй Алексѣвичъ теперь священствуетъ, да и притомъ въ такомъ приходѣ, гдѣ живой декламациі прямо смерть—въ единовѣрческомъ. А я млѣлъ, заслушивались и другіе, когда онъ читывалъ, наизусть разумѣется, Пушкина, мелкія стихотворенія и цѣлыя главы. Такую силу дать каждому слову, такъ глубоко захватить каждый оттѣнокъ, каждую мелкую черту! Разъ чѣмъ-то возбудилъ неудовольствіе цѣлаго класса и Остроумова въ частности одинъ поступокъ воспитанника, прозваннаго Шишигой; не помню поступка, но онъ признанъ былъ неблагороднымъ. Остроумовъ сказалъ экспромптомъ рѣчь Шишигѣ. Я таялъ отъ восторга: это истинное краснорѣчіе, достойное Демосоеена. Откуда взялись выраженія, сравненія и при всемъ этомъ удивительная декламация, въ самую душу проникающая! Такую декламацию я слышалъ только два раза въ жизни; подобное впечатлѣніе я испыталъ еще, когда слушалъ Щепкина, читавшаго сцены изъ *Скупая Рыцаря*.

Въ старыя, Платоновскія времена, къ декламациі приучали въ семинаріяхъ. Самъ Платонъ былъ мастеръ въ произношеніи; таковымъ же былъ Августинъ; заботи-

лись о силѣ произношенія вообще вышедшіе изъ Платоновой школы. Съ поступленіемъ Филарета декламация кончилась. Самъ онъ былъ безголосый; читалъ онъ прекрасно, давалъ силу словамъ, но слабо и ровно. Платоновскіе питомцы, правда, впадали въ преувеличеніе и за внѣшнимъ эффектомъ гонялись иногда въ ущербъ внутренней силѣ. Пареній (скончавшійся архіепископомъ Воронежскимъ) служилъ образцомъ этой погони за шумихой. Его проповѣди бѣдны мыслями и чувствами, но богаты восклицаніями; видишь, что проповѣдникъ бьетъ на произношеніе и на немъ основываетъ успѣхъ. Филаретъ былъ врагъ шумихи и лишнихъ словъ; внѣшній эффектъ и подобіе сцены въ церкви тѣмъ болѣе возмущали его. Отсюда преувеличеніе въ противоположную сторону. Какъ Платоновы питомцы служили и проповѣдывали громогласно, такъ Филаретовскіе стали служить подъ-нось, читкомъ произносить проповѣди и притомъ до того тихо, что около стоящіе не могли слышать. А возстановленіе декламации и обученіе ей необходимы; стоило бы особенные уроки назначить для того. Въ Платоновскія времена посылали академиковъ къ лучшимъ театральнымъ артистамъ на обученіе; до моего времени сохранился дьяконъ, другъ Мочалова, сведшій дружбу со знаменитымъ артистомъ именно ради проповѣдей и проповѣдями потрясавшій слушателей, собиравшій публику въ церковь. Проповѣдями, увы, чужими, изъ которыхъ выбиралъ онъ опять тѣ, которыя были потеатральнѣе; но изъ того не слѣдуетъ, чтобы собственныя проповѣди произносились въ полголоса и читкомъ.

Искусство чтенія есть искусство не малое и не легкое, а чтеніе въ церкви, тѣмъ паче проповѣданіе, требуетъ и тѣмъ болѣе искусства, что двѣ опасности предстоятъ одинаково—безсмысленности и профанации. Бывали декламаторы и въ послѣднія, Филаретовскія времена, но я уходилъ изъ церкви смущенный. Между прочимъ Леонидъ покойный, бывшій викаріемъ, грѣ-

шилъ излишествомъ. Была утренняя подъ великую пятницу; страстные евангелія читалъ преосвященный самъ, но такъ театрално, что върующему чувству становилось больно. Да еще преосвященный ничего, а сказывали мнѣ, что одинъ іерей читалъ тѣ же евангелія даже разными голосами. Передавая слова служанки Петру, онъ пискливымъ голосомъ произносилъ: „И ты былъ еси со Іисусомъ Назаряниномъ?“ И затѣмъ возглашалъ низкимъ басомъ: „Ни“. Чтеніе евангелія обращалъ такимъ образомъ въ пародію, въ передразниванье.

Чтеніе священныхъ книгъ въ церкви должно передать смыслъ читаемаго, предоставляя возбужденіе чувствъ настроенію самихъ слушателей, которое можетъ быть скорбное и радостное, просительное и благодарственное, смотря по обстоятельствамъ. А произношеніемъ проповѣди не довольно отчеканить смыслъ, потому что проповѣдь не есть ни священный текстъ, ни диссертація. Это различіе должны не только знать священнослужители, но и должны умѣть соблюдать. А умѣнье можетъ быть дано только наукой и упражненіемъ.

Разъ А. А. Остроумовъ зазвалъ меня къ себѣ для того, чтобы познакомить со своимъ ученымъ сожителемъ. Былъ я, отождѣлалъ и побесѣдовалъ. Передавалъ потомъ Остроумовъ, что и я оставилъ не дурное впечатлѣніе. А меня такъ просто приподняло; это былъ первый случай, что съ лицомъ академическаго образованія я говорилъ, какъ съ равнымъ. Разговоръ вертѣлся болѣе на историческихъ темахъ; я излагалъ свои догадки, онъ подтверждалъ ихъ или исправлялъ. Касались литературы; обмѣнъ мыслей и по этой отрасли знаній освѣжилъ меня. Пріостановка карьеры ученаго мужа оказалась для меня на этотъ разъ счастіемъ. Епархіальная служба обыкновенно затираетъ въ магистрахъ и кандидатахъ печать образованія. Много вылетаетъ, ко многому сердце охлаждаетъ; практическія заботы, механическое требоисправленіе, механическое законоучительство вытрясаютъ живыя сѣмена. Краснорѣчиво

признаніе одного магистра-священника: „ну, батюшка, я даже и читать почти разучился; книги не было въ рукахъ двадцать лѣтъ“. Но сожителъ Остроумова, хотя и въ лѣтахъ человѣкъ, былъ какъ сейчасъ со школьной скамьи; умственные интересы сохранились, и тѣмъ живѣе ощущались, чѣмъ менѣе было постороннихъ развлеченій и чѣмъ болѣе могъ онъ поддерживать ихъ продолжающимся чтеніемъ. „Вотъ откуда, подумалъ я, идя изъ-за Сухаревой башни подъ Дѣвичій, у Алексѣя Алексѣевича такая любовь къ Пушкину и такое чутье къ его красотамъ!“

Въ богословскомъ классѣ мы разошлись съ Остроумовымъ, оттого что сѣли на разныхъ скамьяхъ. Здѣсь другой товарищъ-сосѣдъ сталъ ближайшимъ, Николай Алексѣевичъ Р. Живъ ли онъ? Въ одной залѣ мы слушали съ нимъ и лекціи философскаго класса, но въ два года другъ другу даже не поклонились. Сидѣлъ онъ на противоположной сторонѣ, и встрѣтиться поближе случая не приходило. Какое-то несчастное происшествіе было причиной, что его оставили въ философскомъ классѣ на повторительный курсъ, такъ что при переходѣ моемъ въ среднее отдѣленіе я нашелъ его тамъ „старымъ“. Но онъ былъ не изъ малоуспѣшныхъ; происшествіе, оставившее его старымъ, относилось къ поведенію, а не къ успѣхамъ. Чтò такое натворилъ онъ? Никогда я его не спрашивалъ, и онъ не упоминалъ. Виною было непременно недоразумѣніе; это былъ молодой человѣкъ серьезный и съ самообладаніемъ. Вышло почему-то, что я облюбовалъ по переходѣ въ богословскій классъ мѣсто на второй скамейкѣ между нимъ и И. П. Сокольскимъ, басомъ и солистомъ семинарскаго хора. Сокольскій былъ добрый малый, исправный ученикъ, но не хватавшій звѣздъ и не порывавшійся далеко. Но у Р. мыслительная машина была въ усиленномъ ходу, и я съ нимъ по сердцу бесѣдовалъ, передавая ему свои недоумѣнія и духовныя боли при слушаніи богословскаго курса и получая отъ него таковыя же. Сообща мы об-

суживали, спорили, успокоивались; вмѣстѣ обыкновенно готовились и къ экзамену. О существѣ нашихъ недоумѣній и совѣщаній сказать будетъ время; ограничусь пока только внѣшними отношеніями.

Николай Алексѣевичъ былъ старшимъ Богоявленскаго общежитія, и я навѣщалъ его, предъ экзаменомъ даже ночевалъ. Онъ былъ старше меня лѣтами вѣроятно года на три. Старшинство возраста вмѣстѣ со старшинствомъ по общежитію придавало ему сановитость. Онъ держалъ себя не только какъ взрослый, но какъ пожилой человѣкъ. Дурачество ни себѣ не позволялъ, ни въ другихъ ими не любовался. Удадь не была для него идеаломъ, какъ для Перервенца. Онъ не прочь былъ выпить рюмку, но не для того чтобы напиться, и кутежъ былъ не по его природѣ. Поэтому мы съ нимъ въ трактиръ не хаживали; чай онъ пилъ у себя дома, въ комнатѣ, которую въ качествѣ старшаго занималъ въ общежитіи отдѣльно отъ подвластныхъ ребятъ. Но былъ случай, онъ зазвалъ меня, и притомъ въ грязный трактиръ, для того чтобы посвятить меня во „взрослаго“. Это былъ трактиръ на Трубной площади, помню, Соколовскаго. Мы вошли, игралъ органъ; кромѣ посѣтителей мужскаго пола сидѣли и расхаживали дѣвицы. Николай Алексѣевичъ провелъ меня въ особенную комнату и здѣсь, пока мы сидѣли за чаемъ, велѣлъ позвать „Пелагею“, представилъ ей меня и мнѣ ее, поручая насъ взаимному вниманію. Это былъ первый разъ въ жизни, но онъ же былъ и послѣдній, что я видѣлъ вблизи особу такого сорта. Р. рекомендовалъ ее, какъ выдѣляющуюся изъ другихъ своею степенностію; изъ его словъ я понялъ, что онъ смотрѣлъ на нее какъ на ремесленницу, не отличая ремесла ея отъ другихъ ремеслъ. Меня это поразило и въ степенномъ Николаѣ Алексѣевичѣ удивляетъ до сихъ поръ. Но вотъ чего я не могу себѣ простить до сихъ поръ — малодушія, съ которымъ я отговорился отъ предлагаемаго знакомства, приведя не помню какую причину, но не отвращеніе,

которое въ дѣйствительности отталкивало меня. И въ отношеніи къ Р. я все-таки оставался женственнымъ элементомъ, не смотря на свое умственное превосходство, котораго вдобавокъ Р. во мнѣ и не отрицалъ. Можетъ-быть впрочемъ и онъ далъ бы мнѣ то же объясненіе, что Перервенецъ о Наташѣ?

Мужественный и женственный элементъ! Отъ одного замѣчательнаго русскаго ученаго, слышалъ я замѣчаніе, что сочетаніе половъ подъ разными видами и именоваціями проходить по всему мірозданію: не только въ животномъ и растительномъ царствѣ, но и въ химическихъ процессахъ и механическомъ движеніи свѣтилъ формула все та же одна вездѣ, говорилъ онъ, поясняя этотъ законъ опытами и математическими выкладками. Глубоко мнѣ врѣзалось это замѣчаніе; полное развитіе его въ научномъ изложеніи должно бы составить эпоху и поставить нашего ученаго въ рядъ съ Секки, если не выше. Но не въ томъ дѣло. Съ кѣмъ я ни соприкасался въ жизни, вездѣ за мною оставалась женственная, пассивная роль. Я занималъ кафедру и пользовался рѣдкимъ вниманіемъ слушателей; я увлекалъ; затаивъ дыханіе мнѣ внимали. (Надѣюсь, бывшіе слушатели мои не отвергнуть этого и не уличать въ неосновательномъ самохвальствѣ). Но я не породилъ и не воспиталъ учениковъ. На какихъ дальнѣйшихъ поприщахъ я ни стоялъ, никогда, почти никогда не давалось мнѣ руководство, на которое впрочемъ никогда не хватало у меня и дерзновенія. Препятствія не останавливали моей дѣятельности, но вгоняли внутрь. Чѣмъ порождена не отступавшая ни на минуту гамлетовщина, недовѣріе къ своей силѣ, сомнѣніе въ своемъ нравственномъ правѣ, вѣчное опасеніе переступить предѣлы чужой свободы? Не бесплодно ли послѣ того можетъ-быть и пройдена жизнь?

Были у меня и еще товарищи, наиболѣе близкіе, наиболѣе родственные по духу. Насъ было трое, объ этомъ сказалъ я выше. Но та близость была другаго строя,

не семинарская, и сошлись мы, строго говоря, не въ семинаріи. Богословскій классъ послужилъ только началомъ, хотя съ однимъ изъ троихъ, В. М. Сперанскимъ, началось знакомство еще съ Риторики, и сидѣлъ онъ въ томъ же второмъ отдѣленіи риторическаго класса что и я. Его уже и нѣтъ теперь на свѣтѣ, и его высокій, чистый образъ заслуживалъ бы подробнаго изложенія въ особенномъ обстоятельномъ очеркѣ. Дойдетъ ли однако до него когда-нибудь перо въ этихъ наброскахъ?

XLIV.

Составъ учащихся.

Лавровъ, Перервенецъ, Остроумовъ, Николай Алексѣвичъ, это не всѣ типы семинаристовъ моего времени. Остроумовъ даже не типъ, онъ случайность. У каждаго изъ поименованныхъ была своя особенность, выдвигавшая его туда или сюда. Большинство было безличнѣе: вели себя исправно, неупустительно посѣщали классы, держали въ порядкѣ тетрадки, учили уроки, подавали письменныя упражненія, вдалѣ не заносились. Перейдя въ богословскій классъ, подумывали о мѣстахъ. Къ чести московскихъ семинаристовъ, водка не считалась поэзіей жизни, какъ въ другихъ семинаріяхъ. Бурсацкая удалъ Перервенца, граничащая съ развратомъ въ одну сторону, мошенничествомъ въ другую, шла отъ закрытаго училища, въ которомъ онъ получилъ воспитаніе, и отъ сиротства, которое оставило его безъ добрыхъ примѣровъ. Главный контингентъ семинаристовъ, если не по числу то по вѣсу, растворенъ былъ въ обществѣ, сидѣлъ корнями въ семьѣ. Нравственная воспитательная сила сосредоточивалась въ священнослужительскомъ мірѣ, и притомъ столичномъ. Поповичи за-

давали тонъ, приучали къ благопристойности, въ которой дома воспитаны, и къ чувству нравственного достоинства. Повѣствованіе о грязныхъ похожденіяхъ, которыя въ другихъ семинаріяхъ составили бы эпопею, здѣсь или не находило слушателей, или выслушивалось съ пренебрежительнымъ смѣхомъ, какимъ награждаютъ паяцовъ. Небольшой кружокъ собирался около рассказчика, да и тотъ состоялъ изъ отребья: знаменательная черта, которую не мѣшаетъ имѣть въ виду при разсужденіяхъ о сравнительномъ достоинствѣ закрытаго и открытаго воспитанія, именно въ духовноучебныхъ заведеніяхъ! Важенъ фактъ не самъ по себѣ, закрытое или открытое заведеніе; важно то, каковъ духъ въ немъ, откуда онъ идетъ и чѣмъ питается. Московская семинарія отличалась среди всѣхъ духомъ порядочности и относительнаго благородства. Разумѣю всѣ семинаріи великороссійскія и малороссійскія, не исключая Петербургской; петербургское столичное духовенство мало численище московскаго и отъ себя мало вливало въ семинарію, распахивая дѣтей болѣе по другимъ заведеніямъ. О семинаріяхъ Западнаго края не говорю: сколько видѣлъ я тамошнихъ воспитанниковъ, они болѣе всѣхъ другихъ приближались къ московскимъ и менѣе прочихъ носили бурсацкую печать.

Превосходство Московской семинаріи, сейчасъ упомянутое, отзывалось потомъ даже въ Академіи. „Москвичъ“, это былъ особый типъ среди академическихъ студентовъ, отличный отъ общаго бурсачнаго, и замѣчательная вещь, онъ не ограничивался наружностію или поведеніемъ, а оставлялъ свой слѣдъ въ учебныхъ успѣхахъ. Во всѣ тридцать лѣтъ отъ начала Академіи и до того времени, какъ я поступилъ въ нее и ее прошелъ, первенство по успѣхамъ оставалось преимущественно за Москвичами, иногда за Виѣнцами и рѣдко за студентами другихъ семинарій. Не помню твердо первыхъ четырехъ курсовъ; изъ перваго, во всякомъ случаѣ, вышелъ первенцемъ москвичъ, Делицынъ; на-

чиная же съ V курса до XVII, Москвичи были первенцами въ семи, въ трехъ Виѣанцы и только въ трехъ воспитанники всѣхъ остальныхъ семинарій; а вплоть до XV курса къ Московской Академіи приписаны были цѣлые два учебные округа съ своими семинаріями! Это умственное превозможеніе не ограничивалось поставкой первыхъ магистровъ. Въ XIII курсѣ и первый, и второй, и третій магистры были Москвичи, въ XVI—первый и второй; не знаю, былъ ли хотя одинъ курсъ, въ которомъ бы не оканчивало одного или даже двоихъ Москвичей въ первомъ пяткѣ, хотя бы первый магистръ былъ и не изъ московскихъ. Откуда это? Не отъ пристрастія; списки студентовъ составлялись, за весьма немногими исключеніями, строго. Не отъ семинарскаго преподаванія. Хотя въ Московскую семинарію и назначали профессоровъ изъ лучшихъ студентовъ, но я показаль въ одной изъ предыдущихъ главъ, каковъ былъ уровень преподаванія. Успѣхъ условливался приготовительнымъ развитіемъ во всякомъ случаѣ. Безспорно, изъ другихъ семинарій поступали дарованія, можетъ быть даже болѣе сильныя; климатъ не могъ имѣть своимъ послѣдствіемъ, чтобы въ московскомъ духовенствѣ родились болѣе способныя дѣти, нежели въ остальныхъ двадцати слишкомъ губерніяхъ. Поступали изъ другихъ губерній безспорно даже лучше подготовленные въ школьномъ смыслѣ; вѣдь отовсюду присылаемы были первые, а курсъ учебный повсюду былъ тотъ же. Но кромѣ школьной подготовки была другая, жизненная; кромѣ умственной выправки — другая, духовная; кромѣ образованія—культура. Академія и семья, вотъ два дѣятеля, близость которыхъ давала москвичу и виѣанцу (одному въ болѣе сильной, другому въ слабѣйшей степени) высшую культуру сравнительно съ калужцемъ или пензенцемъ. Точки зрѣнія иныя, кругозоръ шире, нравственный подъемъ и выше, и глубже; а все это не могло не отзываться и на прохожденіи курса семинарскаго и академическаго. Были дѣятели

не дюжинные и въ наукѣ, и въ литературѣ изъ воспитанниковъ Московской Академіи, не удостоенные отъ нея магистерской степени; назову нѣкоторыхъ: Биларскій, Иринархъ Введенскій, Вуколъ Ундольскій. Академію, казалось бы, можно упрекнуть за несправедливость, невнимательность. Я иначе объясняю: то развитіе, та культура, которыя на студенческой скамьѣ вручали первенство другимъ, приобрѣтены поименованными позднѣе, а задатки были богаче нежели у ихъ сверстниковъ-магистровъ, которыхъ развитіе можетъ быть даже и остановилось съ окончаніемъ академическаго курса, когда у тѣхъ напротивъ продолжалось и росло.

Въ грязныхъ кутежахъ, сказалъ я, московскій семинаристъ не находилъ поэзіи. Большинство за то не искало и никакой поэзіи; какъ бы только перейти въ слѣдующій классъ, а затѣмъ кончить курсъ, вѣ же класса — добыть кусокъ, если нѣтъ готоваго въ казнѣ или въ родительскомъ домѣ. Посторонними средствами пропитанія были: 1) уроки, 2) переписка и 3) работа голосомъ. Немногіе были столь счастливы, чтобы находить подобно Лаврову амбулаторные уроки и получать поурочную плату. Большею частію садились въ домъ на хлѣбъ у какого-нибудь священника или даже дьячка, съ обязанностью проходить съ парнишкой училищный курсъ или помогать при прохожденіи риторическаго; плата, кромѣ стола и помѣщенія, простиралась отъ пяти до десяти рублей въ мѣсяцъ (ассигнаціями). Переписка производилась въ обширныхъ размѣрахъ. Однихъ агентовъ въ родѣ Лаврова было, думаю, до десятка; матеріалами снабжалъ университетъ (переписывались и лекціи, и диссертациі); снабжали и присутственные мѣста. Цѣны были разныя, соображенныя и съ количествомъ, и съ качествомъ работы. Перервенецъ получалъ лишній противъ другихъ заработокъ за красивый почеркъ; ему давали и матеріалъ болѣе цѣнный, въ родѣ докладныхъ записокъ. Бывали работы хотя соединенныя съ перепиской, но требовавшія не одного ме-

ханическаго труда; тотъ же Перервенецъ трудился въ Архивѣ надъ извлеченіемъ матеріаловъ для Гастева, издававшаго историческія и статистическія свѣдѣнія о Москвѣ.

Голосомъ работавшіе большею частію были отпѣтый народъ; зачислялись въ частный хоръ и плялись по халтурамъ, смотрѣли вонъ изъ семинаріи. Ради похоронъ и свадебъ пропускались и классы. Исключеніе составляли пѣвчіе семинарскаго хора; у нихъ тоже были халтуры, нанимали ихъ и на обѣдни, и на всенощныя, и на свадьбы; хоръ имѣлъ и годовыя заподряженныя мѣста; но пѣвчіе не принадлежали къ отбросу, по крайней мѣрѣ не всѣ принадлежали. Вообще же пѣвчій слылъ пьяницей: если не всѣ пристращались къ напиткамъ, то не было ни одного не пьющаго, по странному антигигіеническому предразсудку, что пѣвчему неизбежно „прочистать голосъ“, особенно басу. Откуда взялось это глупое преданіе и въ силу чего укрѣпилось?

Голосъ для семинариста былъ капиталъ, и именно басъ. Хорошіе тенора вообще рѣдки, да ими и не дорожили; кромѣ пѣвческаго хора куда же съ нимъ? Другое дѣло басъ; съ нимъ при посредственномъ аттестатѣ можно получить дьяконское мѣсто въ самой Москвѣ или даже протодьяконское; даже курса не нужно оканчивать, чтобы получить мѣсто, въ соборѣ напримѣръ. Оттого шестнадцатилѣтніе и даже пятнадцатилѣтніе мальчуганы старались „накрикивать“ себѣ басы. Если для развлечения философъ или даже риторъ возглашаетъ Апостолъ (это случалось иногда даже въ классной залѣ въ свободные часы), подражая чтенію въ церкви, то возглашаетъ непременно басомъ, и чаще всего свадебный Апостолъ, чтобы дать почувствовать силу окончательныхъ словъ: „а жена да боится своего мужа“; „своего мужа“ есть динамометръ горла.

Учился со мною сынъ успенскаго протодьякона, знаменитаго Александра Антоновича. Учился хотя посредственно, но не такъ однако, чтобы угодить на исклю-

ченіе. Голоса не было у него никакого; рѣчь глухая, беззвучная, горло будто обложено бархатомъ. Нѣкоторые удивлялись что у голосистаго отца такой безголосый сынъ, и самъ Зиновьевъ видимо скорбѣлъ объ отсутствіи отцовскаго дара. „А мнѣ кажется, возражалъ я, наоборотъ; эта безголосица и предвѣщаетъ голосъ; смотрите, откроется басина не хуже отцовскаго“.— „Нѣтъ, ужъ этого не будетъ, отзывался съ отчаяніемъ протодьяконскій сынъ; горло у меня должно-быть застужено“. Предсказаніе мое сбылось. По переводѣ въ среднее отдѣленіе, голосъ у Зиновьева, по народному выраженію, сталъ „ломаться“; рѣчь начала издавать двоящіеся и троящіеся звуки, въ которыхъ безтонная сипота соперничала съ тонами низкими и высокими, выходившими въ перемежку и даже одновременно. Голосъ очистился и затѣмъ образовался басъ,—не берусь судить, равный ли отцовскому, но сильный и пріятный. Ожилъ парень. Онъ носился со своимъ кладомъ; съ такимъ лицомъ, воображаю, ходять въ первые дни выигравшіе 200.000 по лоттерейному билету. Куда тутъ уроки, куда обдумыванья темъ на письменныя упражненія? Въ рекреационныя часы между классами то и дѣло слышишь или густое „Благочестивѣйшему, Самодержавнѣйшему“... или громогласное „Да боится своего мужа“, а не то „Исусъ Христомъ бысть“. Последняя фраза есть конецъ пасхальнаго евангелія, и Зиновьевъ объяснялъ, что она есть труднѣйшее изъ всѣхъ окончаній во всѣхъ евангельскихъ чтеніяхъ: сверхъестественнымъ искусствомъ нужно обладать, чтобы поднявъ голосъ на высшую ноту діапазона, произнести *бысть*, а не *бастъ*.— Чтò же? Зиновьевъ и исчезъ скоро; исчезъ и погибъ; погибъ между прочимъ именно отъ этого дьявольскаго предразсудка, что необходимо прочищать голосъ.

Есть однако, были по крайней мѣрѣ, элементы для разумнаго пѣвческаго воспитанія, котораго до сихъ поръ не достаетъ Россіи, въ частности духовенству. Можно было бы воспользоваться самымъ этимъ басо-

любимъ, взять его въ руки, поднять цѣну другимъ голосамъ, возбудить соревнованіе, развитъ вкусъ и искусство.

Насъ окончило курсъ девяносто человѣкъ ровно или съ небольшимъ, а въ низшемъ отдѣленіи было до трехсотъ если не болѣе; двѣ трети отошло. Отваливались или особенно бойкіе, или совсѣмъ негодные, невозможные. Впрочемъ со мною даже окончили курсъ совсѣмъ невозможный. Аттестованный семинарскимъ начальствомъ „со странностями въ характерѣ“, Иванъ Михайловичъ былъ по нынѣшнему вѣжливого выраженію душевнобольной человѣкъ. Онъ былъ казеннокоштный. Съ наружностью орангъ-утанга, не высокій ростомъ, онъ держалъ себя и расхаживалъ важно въ длиннополомъ казенномъ сюртукѣ синяго сукна, съ чувствомъ самодовольной увѣренности размахивая руками. Онъ приносилъ въ классъ и прочитывалъ въ слухъ товарищамъ свои литературныя произведенія, повѣсти и драмы, которыя пекъ какъ блины. Что это были за произведенія! Въ нихъ было все кромѣ смысла. Былъ и смыслъ, но только грамматическій, а далѣе никакая пиѣя не разобража бы; слова безо всякой, даже кажущейся связи; дѣйствія невозможныя, имена неслыханныя. И однако догнали и окончили курсъ! Товарищи надъ нимъ издѣвались, приставали къ нему, дразнили, расхваливали на смѣхъ его писанія, поощряли къ нимъ, и онъ не шутя сердился и не шутя гордился. Дергали его за полы во время чтенія, поставивъ его предварительно на столъ. Онъ оборачивался туда и сюда къ пристававшимъ, огрызался; но и успокоивался тотчасъ, когда дразнившіе выражали удивленіе необыкновеннымъ творческимъ способностямъ автора. Это было гадкое зрѣлище, и мы удалялись съ Николаемъ Алексѣевичемъ, жадья несчастнаго и негодуя на безсердечность издѣвавшихся. Но аттестатъ о полномъ окончаніи курса въ рукахъ субъекта съ такими „странностями въ характерѣ“ остается фактомъ, характеризующимъ семинарское

воспитаніе. Куда дѣлся Иванъ Михайловичъ? Какой несчастный приходъ получилъ его въ пастыри? И наплась невѣста, и народились конечно дѣти... Мы съ Николаемъ Алексѣевичемъ разсуждали, что единственная дорога ему была бы въ послушники.

Въ обоихъ младшихъ отдѣленіяхъ, низшемъ и среднемъ, скоро означался отстой. Онъ рано повадился ходить по полпивнымъ и билліарднымъ, уроковъ не училъ; когда спрашивали, пробивался подсказами; на экзаменахъ предлагалъ вмѣсто отвѣта молчаніе. Иногда олухъ не довольствовался этимъ, но возвращаясь отъ экзаменационнаго стола, дѣлалъ рожу въ направленіи къ экзаменаторамъ, хотя и невидимо для нихъ, какъ бы говоря: „что, много взяли?“ Ахъ, помню я сцену, глубоко потрясшую классъ! Экзаменовавшій ректоръ (Иосифъ) замѣтилъ это нахальное движеніе. Ученикъ былъ казеннокоштный. Ректоръ позвалъ его къ столу и произнесъ ему рѣчь, начинавшуюся словами: „чему ты смѣешься? надъ чѣмъ ты смѣешься?“ Напомнилъ ему о потрачиваемыхъ на него деньгахъ, о заботахъ на него простираемыхъ и о его неблагодарности, сопровождаемой притомъ такою оскорбительною непочтительностью къ присутствующимъ, и къ начальству, и къ товарищамъ. Олицетворилъ ему настроеніе товарищей, съ какимъ они должны смотрѣть на его кривлянье, только ему кажущееся забавнымъ и ничего ни отъ кого для него не влекущее кромѣ тѣмъ болѣе усиленнаго презрѣнія къ нему же самому ото всѣхъ. Ректоръ говорилъ долго, говорилъ мягко, говорилъ съ дрожаніемъ въ голосѣ. Еще немного, и классъ бы расплакался. А получавшій внушеніе стоялъ, нагнувъ голову нѣсколько на бокъ съ глупѣйшимъ видомъ, желавшимъ изобразить раскаяніе, но не выражавшимъ ничего кромѣ досады, что такъ долго держать у стола.

Эти подонки семинарскіе большею частію были изъ сельскихъ захребетниковъ, иногда же дѣти и московскихъ дьячковъ, не выдавшіе добраго примѣра и въ

семействъ, принимаемые къ собутыльничеству самими родителями. Семейная жизнь съ хозяйственными заботами можетъ-быть исправляла нѣкоторыхъ по поступленіи во дьячки; вырабатывался практическій человѣкъ; семинарская безпорядочность оказывалась временнымъ угаромъ молодости.

Не весь отстой однако шелъ во дьячки. Часть поступала на гражданскую службу, умножая собою крапивное сѣмя, именно дѣти священниковъ и дьяконовъ; не знаю даже случая, чтобы кто-нибудь изъ привилегированныхъ по рожденію, каковыми были священнослужительскія дѣти, добровольно обращался въ безправное состояніе причетниковъ. Сыновья даже причетниковъ только при безысходной нуждѣ и совершенной неспособности къ наукѣ рѣшались надѣть причетнический стихарь. Не говоря о философскомъ классѣ, откуда исключенному, хотя бы сыну дьячка, открывалась дорога въ сельскіе и уѣздные дьяконы, даже для уволенныхъ изъ риторики былъ выходъ помимо причетничества: ветеринарный институтъ. Экзаменъ былъ легкій, свѣдѣній особыхъ не требовалось. Я знаю нѣсколькихъ исключенныхъ изъ риторики дьячковскихъ дѣтей, которыя такимъ путемъ вышли изъ распутія, оставлявшаго имъ на выборъ идти или въ мѣщане, или по примѣру отца въ причетники.

Рѣзко выдѣлялась изъ безличной массы другая половина, состоявшая преимущественно изъ поповичей. Не всѣ могли похвалиться успѣхами и прилежаніемъ; были балбесы, но всѣ отличались одеждой и обращеніемъ; всѣ читали болѣе или менѣе, посѣщали театръ, ѣздили въ клубы на балы. Сравнительно немногіе готовятъ себя къ духовному званію; борода имъ претитъ, какъ и большинству ихъ сестрицъ. Если не въ университетъ, то въ гражданскую службу. У меня былъ товарищъ, который еще съ низшаго отдѣленія носилъ цилиндръ и перчатки; лѣтомъ являлся въ гарусномъ сюртучкѣ, а зимой въ норковой шубѣ, надѣтой на одно

плечо; онъ сбрасывалъ съ себя шубу съ видомъ господина, который увѣренъ, что за нимъ стоитъ лакей. Его батюшка вѣроятно любовался изящными манерами сына, ловко копировавшаго прикащиковъ Кузнецкаго Моста и даже отвѣчавшаго на вопросъ, гдѣ купилъ перчатки или помаду, безукоризненнымъ французскимъ выговоромъ: *au Pont des Magéchaux*. Щеголь скрылся изъ среднего отдѣленія, пріютившись въ какой-то изъ губернскихъ палатъ.

Въ университетъ начинали выбывать съ перваго года философіи предъ переходомъ на второй. Въ мое время вышли такъ рано, помнится, только двое, дѣти тоже московскихъ священниковъ, не замедлившіе осенью явиться къ намъ показать себя въ синемъ воротникѣ.

Неохота московскихъ поповичей идти въ духовное званіе шла послѣ меня все въ гору, начавшись еще ранѣе. Въ мое время не брезгали по крайней мѣрѣ семинаріей. Примѣръ С. М. Соловьева, котораго отецъ, законоучитель Коммерческаго Училища, отдалъ съ самаго начала въ гимназію, передаваемъ былъ какъ соблазнительная новость, какъ ересь. Но потомъ, особенно въ послѣднее время, дѣти-гимназисты отца-священника стали не рѣдкостью. Прибѣгаютъ къ заблаговременному изверженію дѣтей изъ духовнаго званія главнымъ, если не единственнымъ образомъ, священники столичные; а со введеніемъ гимназій по уѣзднымъ городамъ будутъ туда отливать и дѣти уѣзднаго духовенства, между прочимъ по тому расчету, что воспитаніе производится на родительскихъ глазахъ, притомъ не потребуетъ лишнихъ издержекъ на квартиру, неизбежныхъ при отдачѣ сына въ столичную семинарію.

Будущихъ студентовъ университета и медиковъ можно было узнать заранѣе; чаще другихъ видишь ихъ съ книгой въ рукахъ не учебнаго содержанія, преимущественно съ журналомъ. Они интересуются литературными новостями. Театральный раекъ видитъ ихъ въ числѣ частыхъ посѣтителей; они говорятъ о Мочаловѣ и Сан-

ковской. А иной сидитъ съ учебникомъ математики, этимъ наиболѣе опаснымъ подводнымъ камнемъ для семинариста.

Умолчу ли объ отпрыскахъ семинаріи въ артистическомъ и литературномъ мірѣ? Владиславлевъ, извѣстный оперный пѣвецъ, былъ сынъ московскаго священника, выскочившій изъ семинаріи до окончанія курса. Несчастный отецъ пострадалъ за него: Филаретъ поставилъ родителю въ вину, что сынъ поступилъ на сцену. Другаго помню тоже вышедшаго на сцену изъ средняго отдѣленія (Славина), но то былъ не пѣвецъ, а трагикъ (разумѣется, только воображалъ себя трагикомъ). Далѣе дебюта онъ, кажется, не пошелъ, но пописывалъ за то повѣстухи, узрѣвавшія свѣтъ на Толкучкѣ. Онъ былъ градусомъ выше повѣстей Александра Анфимовича Орлова, извѣстнаго тогда кропателя по заказу Никольскихъ издателей, но между семинаристами, товарищами автора по школѣ, производили эффектъ: писатель хрій, не далѣе какъ вчера сидѣвшій на этой скамьѣ, обратился въ сочинителя, котораго произведенія печатаются! Надобно отдать справедливость, лучшіе изъ семинаристовъ посмѣивались надъ этимъ бумагомараніемъ, не придавая ему цѣны.

Не будемъ слѣдить за дальнѣйшею судьбой выходцевъ изъ сословія, —какая окончательная судьба постигла скороспѣлаго литератора или на чемъ оканчивали нырнувшіе въ гражданскую службу. Доходили до столоначальника, экзекутора, а благословить Богъ, и до приходо-расходчика. Сколотить деньженокъ доходцами, болѣе грѣшными нежели безгрѣшными; иной женится, купитъ домокъ и будетъ коротать вѣкъ, досиживая геморрой послѣ канцелярскаго стола за карточнымъ столомъ. Отсѣдъ, поступавшій во дьячки, иногда vyhаживался, какъ я уже сказалъ; но замѣчательная черта: наружная цивилизація чрезъ семинарію и тутъ оказывала дѣйствіе. Если поповичъ, гнушаясь бородой, бѣжалъ изъ духовнаго званія, то причетнической сынъ, поступая въ при-

нихъ еще приставлены особые инспекторы, числящіеся при хорѣ, но болѣе состоящіе для мебели; назначали ихъ для очистки совѣсти. А на преподаваніе семинарскихъ наукъ даже никого не назначалось. Жалкая была судьба пѣвчихъ; не даромъ бѣгали и хоронились ребята въ училищѣ и въ риторическомъ классѣ, когда являлся регентъ за отысканіемъ голосовъ. Благо, если альтъ или дискантъ перейдутъ потомъ въ теноръ или басъ. Воспитавшій ихъ хоръ оставить ихъ при себѣ; пропитаніе обезпечено. Нѣкоторые получали потомъ и дьяконскія мѣста за свой голосъ. Но горе, когда съ прежняго голоса спалъ, а новаго не нараждается; негоднаго члена выбрасываютъ изъ хора. Куда онъ пойдетъ, и кто за него заступится? Вотъ въ виду этого-то и позволяли имъ числиться въ семинарскихъ спискахъ; ихъ переводили изъ класса въ классъ безъ испытанія; хотя они являлись на экзамены, ихъ не спрашивали; давали имъ кончить даже курсъ, выпуская въ третьемъ разрядѣ. Но льгота простиралась все-таки на дѣйствительныхъ членовъ хора, а къ выброшенному возвращались всѣ семинарскія обязанности, за чѣмъ слѣдовало, понятно, исключеніе, съ его послѣдствіями, тѣмъ болѣе безотрадными, что пребываніе въ хорѣ оторвало его не только отъ семинаріи, но и отъ семьи и отъ родныхъ; для пѣвчаго нѣтъ отпусковъ и нѣтъ вакаціи.

XLV.

Раздумье.

„Куда я пойду?“ Мысль объ этомъ начала меня тревожить еще съ низшаго отдѣленія. Куда я пойду? Въ благополучномъ окончаніи курса я былъ увѣренъ, но дотягивать ли семинарію? Само собою разумѣется, меня ни на минуту не увлекала мысль воспользоваться преж-

девременнымъ выходомъ изъ семинаріи для поступленія куда-нибудь „младшимъ помощникомъ столоначальника“, по просту—писцомъ, хотя я и находилъ основательными расчеты тѣхъ, кто, не имѣя склонности къ духовному званію, оставлялъ семинарію среди курса. Права для священнослужительскихъ дѣтей одинаковы, выйдетъ ли кто изъ философскаго, риторическаго класса, даже изъ училища, или же окончить курсъ во второмъ и третьемъ разрядѣ: каждому изъ нихъ до класснаго чина нужно служить то же число лѣтъ. Для кончившаго курсъ въ первомъ разрядѣ перспектива повидимому измѣнялась: онъ прямо переименовывался въ классный чинъ. Но риторъ, поступая на гражданскую службу, достигалъ того же ранѣ, да кромѣ того запасался приказною опытностью.

Приказная карьера не занимала меня сама по себѣ: неизбѣжное побиршество мелкаго чина, тѣмъ болѣе писца, въ моихъ глазахъ равнялось съ побиршествомъ дьячковъ. Какъ тѣ съ поклономъ подносятъ на тарелкѣ просфору богатому прихожанину, въ ожиданіи получить гривенникъ, или и безъ просфоры подходятъ послѣ службы и кланяются, поздравляя съ принятіемъ таинства или другимъ чѣмъ, въ ожиданіи того же гривенника, такъ и приказный собираетъ тѣ же гривенники такими же поздравленіями или прижимками, что не лучше. Помимо того, любознательность, духовное стремленіе вдаль были такъ сильны, что вдругъ запереть машину на всемъ ходу, объ этомъ и представленія не возникало. Но не перервать ли семинарію для университета? Вотъ что меня занимало. Окончу семинарскій курсъ, безъ сомнѣнія, въ первомъ разрядѣ. Куда же двинусь потомъ? Предстояли четыре дороги: та же гражданская служба, во первыхъ, и тѣ же противъ нея возраженія; во вторыхъ, дьяконское мѣсто въ Москвѣ или учительское мѣсто въ училищѣ, за чѣмъ слѣдовало опять то же дьяконское мѣсто; или же духовная академія со слѣдующимъ за нею учительствомъ въ семинаріи и да-

лѣе—священническимъ мѣстомъ въ Москвѣ; или наконецъ—университетъ. Духовное званіе меня не манило и болѣе всего по связанной съ нимъ необходимости жениться. Семейная жизнь казалась мнѣ скучнѣйшею прозой, среди которой должны погаснуть всѣ идеалы. Я приходилъ въ содраганіе, воображая себя женатымъ молодымъ человѣкомъ съ кучей мелкихъ обязанностей и заботъ, и сердечно сочувствовалъ своему старшему зятю, когда онъ сѣтовалъ на прозу своей жизни. Онъ былъ пламенная, восторженная душа; его мысль и духъ всегда парили; онъ всегда былъ лирикъ, всю жизнь былъ идеалистъ. Отлично учился и отлично кончилъ курсъ въ семинаріи (Рязанской); вмѣсто академіи, куда бы ему поступить было пристойнѣе, онъ попалъ на священническое мѣсто въ село. Отецъ умеръ, оставивъ жену съ тремя не пристроенными дѣтьми сверхъ самого Ѳедора Васильевича (такъ звали моего зятя). Мать съ сиротами осталась на его плечахъ, и онъ принялъ отцовское мѣсто для исполненія обязанностей къ сиротамъ. Но огонь горѣлъ въ немъ и продолжалъ горѣть. Село съ трудами хлѣбопашества и съ мужиками кругомъ, и забытыми барщиной, и пьяными, и невѣжественными, не смяли его. Онъ былъ вѣчно бодръ, юнъ, живъ. „Никогда не женись, братъ“, сказалъ онъ мнѣ, полусмѣясь, среди пировъ на свадьбѣ средней сестры (это было въ лѣтнюю вакацію 1839 года). „Ты читаешь что-нибудь; вотъ мѣсто, которое тебя восторгаетъ; ты возносишься, потокъ мыслей кипитъ, чувство тебя захватываетъ, ты хочешь излиться, чувствуешь въ себѣ Пиндара, хочешь пѣть. „Маша, скажешь, поди-ка, поди-ка, послушай. Читаешь съ жаромъ, она выслушаетъ и потомъ скажетъ: а знаешь ли, буренку нужно бы свести къ пастуху“. Пиндаръ и буренка! Нѣтъ, братъ, никогда не женись“. Безъ негодованія, даже безъ досады говорилъ это Ѳедоръ Васильевичъ; онъ очень любилъ и цѣнилъ жену, какъ и она его. Шутливымъ тономъ давалъ онъ мнѣ этотъ совѣтъ и вмѣстѣ ме-

ланхолическимъ. Разсказъ его былъ необыкновенно живъ; онъ читалъ наизусть тѣ самыя мѣста, которыя приводили его въ восторгъ, подробно воспроизводилъ мысли и фантазіи въ немъ возбуждавшіяся, декламировалъ стихи при этомъ поэта какого-нибудь, или свои собственные, внезапно въ немъ складывавшіеся. Онъ былъ всегда вдохновенъ и не говорилъ иначе какъ вдохновенно. И съ тою же живостію и подробностію изображалъ тотчасъ картину мелочныхъ заботъ и еще болѣе мелочныхъ дрызгъ, внезапно низводившихъ его съ высотъ, въ которыхъ онъ парилъ, въ грязный хлѣвъ, въ расчеты съ работникомъ, который крадетъ овесъ и относитъ въ кабакъ, въ расчеты съ торговцами, сбывающими божась полтину за рубль.

Заговоривъ о старшемъ зятѣ, не могу уже не кончить. Дойдутъ ли до васъ эти строки, дорогой, высокоуважаемый Ѳеодоръ Васильевичъ, теперь уже маститый старецъ, доживающій свои дни въ печальной болѣзни на рукахъ внучатъ? По моему разсказу читатель вообразитъ въ немъ пожалуй празднаго мечтателя, другой экземпляръ Манилова. Напротивъ, Ѳеодоръ Васильевичъ былъ величайшій практикъ и безпримѣрный хозяинъ; съ тѣмъ вмѣстѣ, тотъ идеальный пастырь, какихъ развѣ только десятки наберутся въ Россіи. Никогда празднаго слова, весь въ трудѣ, образцово воздержный, строгій къ себѣ, онъ переродилъ прихожанъ. Когда мнѣ говорили, что сельскому батюшкѣ невозможно не пить, потому что прихожане угощаютъ; что угождать невѣжеству неизбежно, потому что иначе безъ хлѣба сидишься; что нравственное дѣйствіе на грубую массу поселянъ, погрязшую въ суевѣріяхъ и порокахъ, невозможно: я воспроизвожу между прочимъ образъ Ѳедора Васильевича. Онъ не пилъ ничего, замѣстивъ однако родителя, придерживавшагося чарочки и панибратствовавшаго съ мужиками; а онъ напротивъ былъ строгъ. Онъ поступилъ на мѣсто запущенное, въ домъ раззоренный. Туго сначала пришлось. Онъ занялся хозяйствомъ.

Помимо хлѣбопашества завелъ при домѣ садъ и огородъ. Съ рѣдкою дальновидностью засадилъ границу своей усадьбы ветловыми кольями, сказавъ себѣ: чрезъ десятки лѣтъ это будетъ богатство. Колья были изъ породы ветель, такъ-называемыхъ „красныхъ“, изъ которыхъ гнуть дуги, и дѣйствительно, колья оказались потомъ богатствомъ, когда выросшія ветлы продавались на аршины не дешевле сосноваго балочнаго лѣса. На десятокъ верстъ у него одного былъ свой овощъ, и со своею обычною меланхоліей, шутливо жалобнымъ тономъ, а сестра съ негодованіемъ передавали, что лучшіе качаны капусты у нихъ срѣзывали, морковь и прочіе корнеплоды выдергивали. „И нѣтъ того, чтобы завести самимъ, прибавляла съ желчью сестра; Ѳеодоръ Васильевичъ долбитъ, долбитъ имъ: заведите, и примѣръ показываетъ, но, братецъ, ужъ такой мужикъ сипь; упоренъ, лѣнивъ, пьянъ“. А Ѳеодоръ Васильевичъ, слушая рѣчь жены, меланхолически прибавляетъ: „Мнѣ больше всего жаль моей елочки. Вышла изъ сѣмени, самъ посадилъ; здѣсь хвоя, какъ вы знаете, совсѣмъ не растетъ. Топчетъ глупый, идетъ не смотря подъ ноги. Я останавливаю. Подумай, вотъ я посвѣялъ, выходилъ, вотъ малютка выросла, и ты топчешь; за что? Ты мнѣ хочешь зло сдѣлать?—Нѣтъ, батюшка.—А зло дѣлаешь. Ты затопталъ елочку, ты загубилъ мой трудъ; ей было уже два года, и два года пропали, а твой сынъ выросъ, былъ бы благодаренъ за елочку, какъ вы благодарны за ветлу; а тоже вытаскивали ихъ, когда сажалъ я колышками“.

„Попъ“ было ругательное имя; при видѣ попа крестьянинъ сворачивалъ съ дороги, видя дурное предзнаменованіе. Сквернословіе было въ полномъ ходу и служило приправой въ разговорѣ. Таковъ былъ приходъ, когда Ѳеодоръ Васильевичъ вступилъ. А послѣ вотъ какой порядокъ завелся. Выѣзжаетъ съ требой батюшка въ какую-нибудь изъ пятнадцати своихъ деревень—все населеніе, которое не въ полѣ, высыпаетъ на улицу,

а дѣти становятся въ рядъ, чтобы батюшка всѣхъ ихъ благословилъ. Крестьянинъ, завидя батюшку, сталъ снимать шапку издалека, дальше нежели снималъ предъ управляющимъ.

— Какъ же это стало? спрашиваю у сестры.

— Да что, отвѣчаетъ она махнувъ рукой, припоминая докучливыя сцены, въ свое время досадныя ей, но отдавая теперь справедливость поведенію, которое казалось ей тяжелымъ. — Бывало ѣдемъ въ городъ; слышитъ, мужикъ выругался. Остановить лошадей, попросить мужика остановиться да и начнетъ пѣть, поетъ, поетъ. Тутъ, думаешь, опоздаемъ на базаръ, а онъ поетъ. Такъ и отучилъ, и всѣ стали почтительны.

Кончаково, куда отдана была сестра, посѣтилъ я въ первый разъ еще мальчикомъ, въ 1833 году. Шелъ только второй годъ ея замужества. Помню страхъ свой, когда проѣзжалъ боромъ; темъ, безконечная колоннада обнаженныхъ сосенъ, которыхъ только верхушки зеленѣли. На землѣ ни травинки, только грибы по мѣстамъ манили къ себѣ; красная стѣна деревъ облежала съ обѣихъ сторонъ; рассказъ о разбойникахъ, которые будто тутъ укрываются. Братъ Иванъ Васильевичъ, насъ сопровождавшій, осматриваетъ заряженное ружье. Извозчикъ идетъ поодаль отъ лошадей, держа конецъ вожжей на разстояніи аршинъ четырехъ отъ лошади. Мы съ сестрой Аннушкой вдругъ вскрикиваемъ: „грибъ, грибъ!“ или „брусника, брусника!“ Но ступить шагъ въ лѣсъ боимся, видя ружье, слыша рассказы. Развалины какого-то завода на Черной рѣчкѣ, и названіе такое страшное. Приѣхали въ Кончаково: убого и голо, хотя рига и полна снопами.

Приѣхалъ я туда же чрезъ тридцать лѣтъ, въ 1863 году. Нѣтъ бора; новая дорога, и притомъ шоссеиная, пролегаетъ по другому мѣсту. Бойко отхваталъ ямщикъ недалекое пространство тридцати верстъ. Вотъ Кончаково. Сопровождавшій меня другой зять говоритъ, ука-

Помимо хлѣбопашества завелъ при домѣ садъ и огородъ. Съ рѣдкою дальновидностью засадилъ границу своей усадьбы ветловыми кольями, сказавъ себѣ: чрезъ десятки лѣтъ это будетъ богатство. Колья были изъ породы ветель, такъ-называемыхъ „красныхъ“, изъ которыхъ гнуть дуги, и дѣйствительно, колья оказались потомъ богатствомъ, когда выросшія ветлы продавались на аршины не дешевле сосноваго балочнаго лѣса. На десятокъ верстъ у него одного былъ свой овощъ, и со своею обычною меланхоліей, шутливо жалобнымъ тономъ, а сестра съ негодованіемъ передавали, что лучшіе качаны капусты у нихъ срѣзывали, морковь и прочіе корнеплоды выдергивали. „И нѣтъ того, чтобы завести самимъ, прибавляла съ желчью сестра; Ѳеодоръ Васильевичъ долбитъ, долбитъ имъ: заведите, и примѣръ показываетъ, но, братецъ, ужъ такой мужикъ сипъ; упоренъ, лѣнивъ, пьянъ“. А Ѳеодоръ Васильевичъ, слушая рѣчь жены, меланхолически прибавляетъ: „Мнѣ больше всего жаль моей елочки. Вышла изъ сѣмени, самъ посадилъ; здѣсь хвоя, какъ вы знаете, совсѣмъ не растетъ. Топчетъ глупый, идетъ не смотря подъ ноги. Я останавливаю. Подумай, вотъ я посѣялъ, выходилъ, вотъ малютка выросла, и ты топчешь; за что? Ты мнѣ хочешь зло сдѣлать?—Нѣтъ, батюшка.—А зло дѣлаешь. Ты затопталъ елочку, ты загубилъ мой трудъ; ей было уже два года, и два года пропали, а твой сынъ вырастетъ, былъ бы благодаренъ за елочку, какъ вы благодарны за ветлу; а тоже вытаскивали ихъ, когда сажалъ я колышками“.

„Попъ“ было ругательное имя; при видѣ попа крестьянинъ сворачивалъ съ дороги, видя дурное предзнаменованіе. Сквернословіе было въ полномъ ходу и служило приправой въ разговорѣ. Таковъ былъ приходъ, когда Ѳеодоръ Васильевичъ вступилъ. А послѣ вотъ какой порядокъ завелся. Выѣзжаетъ съ требой батюшка въ какую-нибудь изъ пятнадцати своихъ деревень—все населеніе, которое не въ полѣ, высыпаетъ на улицу,

а дѣти становятся въ рядъ, чтобы батюшка всѣхъ ихъ благословилъ. Крестьянинъ, завидя батюшку, сталъ снимать шапку издалека, дальше нежели снималъ предъ управляющимъ.

— Какъ же это случилось? спрашиваю у сестры.

— Да что, отвѣчаетъ она махнувъ рукой, припоминая докучливыя сцены, въ свое время досадныя ей, но отдавая теперь справедливость поведенію, которое казалось ей тяжелымъ. — Бывало ѣдемъ въ городъ; слышитъ, мужикъ выругался. Остановить лошадь, попросить мужика остановиться да и начнетъ пѣть, поетъ, поетъ. Тутъ, думаешь, опоздаемъ на базаръ, а онъ поетъ. Такъ и отучилъ, и всѣ стали почтительны.

Кончаково, куда отдана была сестра, посѣтилъ я въ первый разъ еще мальчикомъ, въ 1833 году. Шелъ только второй годъ ея замужества. Помню страхъ свой, когда проѣзжалъ боромъ; темъ, безконечная колоннада обнаженныхъ сосенъ, которыхъ только верхушки зеленѣли. На землѣ ни травинки, только грибы по мѣстамъ манили къ себѣ; красная стѣна деревъ облежала съ обѣихъ сторонъ; разсказъ о разбойникахъ, которые будто тутъ укрываются. Братъ Иванъ Васильевичъ, насъ сопровождавшій, осматриваетъ заряженное ружье. Извозчикъ идетъ поодаль отъ лошадей, держа конецъ вожжей на разстояніи аршинъ четырехъ отъ лошади. Мы съ сестрой Аннушкой вдругъ вскрикиваемъ: „грибъ, грибъ!“ или „брусника, брусника!“ Но ступить шагъ въ лѣсъ боимся, видя ружье, слыша рассказы. Развалины какого-то завода на Черной рѣчкѣ, и названіе такое страшное. Приѣхали въ Кончаково: убого и голо, хотя рига и полна снопами.

Приѣхалъ я туда же чрезъ тридцать лѣтъ, въ 1863 году. Нѣтъ бора; новая дорога, и притомъ шоссейная, пролегаетъ по другому мѣсту. Бойко отхваталъ ямщикъ недалекое пространство тридцати верстъ. Вотъ Кончаково. Сопровождавшій меня другой зять говорить, ука-

зывая на видѣвшуюся телѣгу: „смотрите, это вѣдь Ѳеодоръ Васильевичъ ѣдетъ“.

Онъ. Давно я его не видалъ, лѣтъ пятнадцать. Думаю, постарѣлъ, живость прежняя прошла; ему уже подъ шестьдесятъ. Встрѣчаемся: тотъ же, ни сѣдинки, такіе же быстрые глаза. Сначала онъ меня не узналъ, а поздоровавшись тотчасъ же заговорилъ: „я васъ спрошу, ученый мужъ, вотъ о чемъ: почему у насъ нападаютъ на папу, когда“ и пр., и началъ сыпать, перебирая явленія въ іерархіи, гдѣ сказывается тоже папистское начало, хотя и въ неразвитомъ зародышѣ. Сестра до смерти рада, племянница предлагаетъ яблоки своего сада, поданъ чай, а хозяинъ сыплетъ свое. „Ну, вотъ, пошелъ! ворчить сестра. Ты не дашь брату осмотрѣться“. Но я осмотрѣлся. Какъ и тогда, тридцать лѣтъ назадъ, переночевалъ. На другой день утромъ колоколъ, звонившій къ обѣднѣ, разбудилъ меня. Всталъ я и вижу толпу, окружившую домъ, и около нея Ѳеодора Васильевича. „Это что?“ я спросилъ.—„Мужъ жену избилъ; да вѣдь это почти каждый праздникъ ходятъ къ Ѳеодору Васильевичу разбираться съ каждымъ дѣломъ“.—„Кто же это завелъ?“—„Да завелось само собою; мужики очень любятъ; ужъ какъ положить батюшка, такъ тому и быть; ужъ очень онъ, братецъ, справедливъ и внимателенъ“, поясняетъ сестра.

Выхожу на задворки. Гдѣ была голая луговина, спускавшаяся къ ручью, тамъ теперь густой садъ съ отборнѣйшими сортами яблонь; вѣтви ломились отъ плодовъ, подпертыя палками. Пили въ саду чай при оригинальной музыкѣ: то тамъ, то здѣсь шлепъ, шлепъ, падали яблоки на землю. Спускаюсь къ ручью: высокія ветлы на прежнемъ пустомъ пространствѣ, а въ серединѣ нижней луговинки высочайшій осокоръ, сажень въ 20 по крайней мѣрѣ, смотрѣть на верхъ надо залома голову, чистый, ровный, прямой какъ стрѣла. „Ѳеодоръ Васильевичъ выросилъ и всегда за нимъ ухаживалъ, обчищалъ“.

Когда преосвященный Алексій вступилъ въ управленіе Рязанскою епархіей въ концѣ шестидесятыхъ годовъ, и Ѳеодоръ Васильевичъ представлялся ему въ качествѣ благочиннаго, съ неудовольствіемъ преосвященный вскинулъ на него взоръ. „Что это, какого молодого сдѣлали у васъ благочиннымъ! За что это? Сколько тебѣ лѣтъ?“ И когда мнимый юноша объявилъ о своихъ шестидесятихъ годахъ, можно представить изумленіе архіерея. Моложавость шестидесятилѣтнему старцу придавали небольшой ростъ, худощавость, быстрыя движенія съ подпрыгивающею походкой, живые глаза и совершенное отсутствіе сѣдинъ.

Итакъ „не женись, братъ, никогда“, вспоминалось мнѣ, и я не могъ не убѣждаться всѣми видѣнными примѣрами въ прозѣ семейной жизни. Но проза не въ семейной только жизни, а въ духовенствѣ вообще. На кого ни посмотришь, всякій, поступая на священнослужительское мѣсто, опускается, начинаетъ растительную жизнь, наращиваетъ брюшко, засыпаетъ умственно. При довольномъ доходѣ лѣнится, при маломъ доходѣ приходитъ въ движеніе, но изощряясь въ одномъ—добыть матеріальныхъ средства. Я не давалъ себѣ отчета, но чутьемъ слышалъ, что изъ всѣхъ званій духовное есть самое ложное, хотя самое высокое по идеѣ, и именно потому ложное, что слишкомъ высоко. Солдатъ, крестьянинъ, купецъ, врачъ, профессоръ—каждый есть то что онъ есть, воюетъ, пашетъ, торгуетъ, лѣчитъ, учителствуетъ. А пастырь, о которомъ извѣствуется въ Пастырскомъ Богословіи, и батюшка въ дѣйствительности—двѣ разныя сущности; послѣдній есть футляръ, оболочка, скорлупа, видъ, механизмъ безъ души. Отсюда пустота жизни. Ѳеодоры Васильевичи—единицы изъ десятковъ тысячъ. То о чемъ зазубривалось въ Пастырскомъ Богословіи, умомъ принято и сердцемъ пожалуй, но въ практику не проходитъ и при данной обстановкѣ перейти не можетъ. На практикѣ онъ—обыкновенный, подобострастный всѣмъ человѣкъ, съ тѣмъ различіемъ

однако, что у другихъ профессиональная практика и профессиональная теорія не расходятся, и не расходятся потому что требованіе теоріи не поднимается выше механики дѣйствія; а отъ пастыря по богословію требуется не механика.

Ближайшимъ, но мало утѣшительнымъ примѣромъ былъ братъ. Онъ служилъ добросовѣстно, добросовѣстнѣ сотенъ; онъ проповѣдывалъ. Но его проповѣди были литературнымъ произведеніемъ. Написанное послѣ предварительнаго обдумыванія и потомъ прочтенное, или же вылившееся изъ души, сказанное и потомъ записанное, это два отдѣльные рода, и чутье мнѣ сказывало, что братъ занимается хотя почтеннымъ, но празднымъ и даже ложнымъ дѣломъ: онъ мнилъ себя проповѣдникомъ, когда былъ въ сущности сочинитель.

Если тогда и мелькало впереди духовное званіе для меня, то единственно въ видѣ монашества. Здѣсь по крайней мѣрѣ не будетъ затягивающей прозы: такъ мнѣ казалось, и если я найду въ себѣ достаточно силъ на подвигъ, думалъ я, то я его приму. Въ этомъ смыслѣ мечтали мы вдвоемъ даже съ братомъ. Никогда и онъ не манилъ меня во священство. Если заходила рѣчь о возможности мнѣ поступить въ академію, то въ общихъ размышленіяхъ о моемъ будущемъ конечною точкой мы оба единогласно полагали монашество, и слѣдовательно архіерейство, какъ естественное послѣдствіе, потому что монаха-магистра не останавливаютъ на полпути, если только не совершилъ онъ чего нибудь зазорнаго. Братъ высчитывалъ года, когда я долженъ получить архіерейскую митру, если даже и не выдвинушь ничѣмъ. Въ академію поступить съ тѣмъ, чтобы потомъ вернуться въ епархіальное вѣдомство и занять рядовое мѣсто приходскаго іерея послѣ профессорской должности, этого, у меня по крайней мѣрѣ, и въ головѣ не укладывалось. Къ чему же, думалъ я, вся наука послѣ того? И въ частности удивлялся я добровольному отреченію отъ гражданскихъ правъ, на которое шли

профессора, принимая священство. По порядкамъ гражданской службы, профессоръ семинаріи чрезъ шесть, а бакалавръ академіи чрезъ четыре года пріобрѣталъ право на переименованіе въ VIII классъ, и слѣдовательно право на потомственное дворянство, которое соединено было тогда съ VIII классомъ. Въ смыслъ карьеры уже и продолжать бы имъ дорогу, на которую вступили вычислившись изъ епархіальнаго вѣдомства при поступленіи въ академію. Отказаться отъ правъ, жертвовать независимостью, обращаться въ крѣпостное состояніе епархіальнаго вѣдомства, бросать книги и науку для того, чтобы гдѣ-нибудь въ Замоскворѣчьи или Заяузьѣ кланяться невѣжественнымъ купцамъ, а дома обзаводиться кучей ребятъ, да женой, которая сама кулебяка, ничѣмъ кромѣ кулебяки и утѣшить не можетъ: я этого не постигалъ. Затѣмъ вѣчное стѣсненіе, вѣчная обязанность держать себя, невозможность жить на распахку, сюда нельзя идти, при этомъ неприлично быть и т. д.

Итакъ, или академія, и притомъ безъ возвращенія въ епархіальное вѣдомство, или университетъ: вотъ представлявшіеся виды. А если рѣшиться на университетъ, то не будетъ ли потерей времени пребываніе въ семинаріи, начиная со втораго года философіи? Изъ опередившихъ меня на одинъ курсъ нѣкоторые перешли въ университетъ изъ средняго отдѣленія. Былъ бы и я теперь съ ними, размышлялъ я, когда бы не оставался въ училищѣ лишніе два года. Отсталость меня мучила, тѣмъ болѣе что въ семинаріи я не ожидалъ впереди узнать ничего кромѣ повтореній болѣе или менѣе извѣстнаго. Въ университетѣ наука свѣжѣе и обильнѣе. Безъ доступа къ ученой литературѣ всѣ мои приготовленія по языкознанію пропадутъ даромъ, а доступъ къ наукѣ видится только чрезъ университетъ.

Разъ заикнулся я о своемъ желаніи брату (это было еще въ низшемъ отдѣленіи); тотъ не отринулъ моего намѣренія рѣшительно, но возсталъ противъ намѣренія

бросить семинарію среди курса. „Сперва надобно кончить курсъ здѣсь, а затѣмъ вольная дорога, иди куда влечетъ. Положимъ, поступишь въ университетъ; а ну, тамъ тоже не кончишь курса? Мало ли какія могутъ случиться неожиданныя обстоятельства! Помимо всего можешь заболѣть, и болѣзнь вынудить бросить университетъ прежде времени. Что тогда? Останешься человѣкомъ на всю жизнь“. Совѣтъ брата подѣйствовалъ глубже, нежели онъ могъ ожидать. Я усомнился не только въ благополучномъ окончаніи университетскаго курса, но даже въ томъ, выдержу ли вступительный экзаменъ. Примѣры повидимому должны были меня успокоить; въ университетъ поступили же если не изъ посредственныхъ, то во всякомъ случаѣ не изъ отличнѣйшихъ, даже не изъ лучшихъ семинаристовъ. Но я приписывалъ ихъ успѣхъ случайности; себя цѣнилъ я очень низко. Свое первенство среди сверстниковъ я склонялся объяснять тоже случайностью или недоразумѣніемъ профессоровъ, тѣмъ болѣе что братъ меня не баловалъ отзывами. На „дурака“ онъ не скупился въ привѣтствіяхъ мнѣ; когда попадалось ему сочиненіе не читанное имъ и не правленное, онъ усиленно, по ниточкѣ разбиралъ его, клеймилъ сарказмами и мысли и выраженія. Иногда жеставлялъ въ такомъ высокомъ свѣтѣ университетскую науку и познанія университетскихъ и въ такомъ презрительномъ видѣ семинарію и даже академію, что я терялся и со страхомъ думалъ: куда жъ мнѣ до университета и его науки? То ли дѣло старыя времена, горевалъ я; бывало можно было держать экзаменъ, не представляя увольнительнаго изъ семинаріи свидѣтельства. Между прочимъ, братъ Иванъ Васильевичъ не только допущенъ былъ до экзамена, но нѣсколько недѣль даже посѣщалъ лекціи Медико-Хирургической Академіи, не бывъ уволенъ изъ духовнаго званія, и потомъ ушелъ. Можетъ-быть, не смотря на совѣты брата, я попытался бы по крайней мѣрѣ держать экзаменъ, когда бы старые порядки продолжа-

лись; но бросить все, оторваться отъ одного берега и пожалуй не пристать къ другому, нѣтъ, страшно!

Робость моя еще тѣмъ усиливалась, что ближайшихъ свѣдѣній объ университетѣ мнѣ не откуда было получить. У другихъ были, у кого родной братъ, у кого какой-нибудь родственникъ въ университетѣ; студенты знакомы, бываютъ въ домѣ; университетскія новости извѣстны въ тотъ же день; студенческіе интересы принимаются къ сердцу семинаристомъ-братомъ или родственникомъ; рассказы о профессорахъ и лекціяхъ слушаются съ участіемъ, какъ бы о своихъ семинарскихъ. А я объ этомъ университетѣ слышалъ хотя довольно, но изъ третьихъ рукъ, отъ В. М. Сперанскаго, у котораго два брата были студентами: на медицинскомъ факультетѣ одинъ, на словесномъ другой. Лично же ни съ однимъ студентомъ въ четыре года не пришлось сказать ни слова. Все знакомство ограничивалось лицезрѣніемъ посѣтителей Великобританіи (трактира) и лицезрѣніемъ еще студента-сосѣда, жившаго на урокъ въ домѣ протопопа, наискось отъ братниаго дома. Но кто такой этотъ студентъ? Чѣмъ онъ занимается? Чтѣ читаетъ, какъ судить? Напрасно было любопытство; я видѣлъ и слышалъ что возбуждавшій мое любопытство синій воротникъ игралъ иногда на гитарѣ, а это единственное свѣдѣніе не говорило конечно ничего.

Былъ и еще студентъ; раза два, три онъ даже пріѣзжалъ въ домъ брата, близкій его родственникъ, родной ему племянникъ по женѣ. Но я сидѣлъ въ своемъ углу при этихъ визитахъ; никто меня не вызывалъ, никто не представлялъ гостю, и гость едва ли вѣдалъ о моемъ существованіи, хотя я сильно имъ интересовался. Я зналъ, что онъ кончилъ курсъ съ отличіемъ въ гимназіи; слышалъ, что онъ въ гимназіи читалъ Софокла. Но чтѣ онъ теперь? Дѣвочка-племянница сказала мнѣ разъ, что гость-студентъ привезъ между прочимъ ноты и сидитъ теперь, ихъ читаетъ. Это извѣстіе

окончательно повергло меня въ ничтожество: читаетъ ноты какъ книгу!

Этотъ гость-студентъ, племянникъ моей невѣстки, былъ А. Н. Островскій, столь извѣстный теперь драматургъ. Чрезъ шестнадцать лѣтъ потомъ мнѣ пришлось съ нимъ встрѣтиться и познакомиться, но при другихъ обстоятельствахъ. Для *Русской Бесѣды* въ одну изъ начальныхъ ея книжекъ назначалась пьеса Александра Николаевича, и авторъ долженъ былъ прочесть ее въ кругу ближайшихъ къ редакціи лицъ, къ которымъ и я принадлежалъ. Кромѣ Кошелева и Филиппова, тутъ были Хомяковъ и Константинъ Аксаковъ. Кто былъ еще и гдѣ это происходило? У Кошелева и Хомякова? Нѣтъ. У Елагиныхъ, у Аксаковыхъ? Не помню. Но это было въ 1856 году, и событіе запечатлѣлось во мнѣ можетъ-быть именно по воспоминанію о студентѣ, читавшемъ про себя ноты въ томъ домѣ, гдѣ другой юноша, ему незнаемый, такъ сильно имъ интересовался между прочимъ изъ желанія знать поближе, какіе-такіе бываютъ студенты, кончившіе курсъ съ отличіемъ въ гимназій.

XLVI.

Ч у ж о й х л ѣ б ѣ.

Я послушалъ брата и бросилъ на время помышленіе объ университетѣ. Но я не могъ безъ горечи вспоминать объ этомъ до самаго богословскаго класса; я сидѣлъ на чужихъ рукахъ, когда могъ бы самъ добывать хлѣбъ. Горекъ чужой хлѣбъ, особенно когда и попрекнуть имъ подчасъ. Завидовалъ я Лаврову, достававшему непостижимымъ путемъ уроки; завидовалъ имѣвшимъ почеркъ, что могли добывать деньгу хотя перепиской. Единственный заработокъ, стряпанье сочиненій для неспособныхъ и лѣнивыхъ, доставлялъ мнѣ всего

по нѣскольку гривенъ. Кромѣ книжекъ, я въ силахъ оказался пріобрѣсти на свои трудовыя только шляпу, купивъ ее за 70 коп. у кухаркина мужа, служившаго гдѣ-то дворникомъ. Шляпа была изящная, французскаго плюша, но помятая, брошенная очевидно за негодностію. Я отдалъ ее поправить, и она смотрѣла какъ новая, лоснилась, блестѣла, и воображаю, какъ странно смотрѣло это парижское издѣліе при потертыхъ скрутокъ съ полупродранными локтями и порыжѣлыхъ брюкахъ.

Читатель знаетъ о моей казинетовой чуйкѣ и мухояровомъ ватномъ скрутокъ, въ которыхъ я выѣхалъ изъ Коломны. Скрутокъ служилъ мнѣ около двухъ лѣтъ, чуйка около трехъ. Обыкновенныхъ скрутковъ съ нижнимъ платьемъ я перемѣнилъ три въ теченіе четырехъ лѣтъ. Я росъ сильно и къ восемнадцатилѣтнему возрасту почти остановился; платье, даже недавно купленное, становилось коротко, а чуйка, считая на весь ростъ, чрезъ два года имѣла видъ теперешняго пальто, только съ укороченными рукавами. Братъ Сергѣй, пріѣхавъ зимой въ Москву, сжалился и купилъ мнѣ шинель; это было на первомъ году средняго отдѣленія. Шинель куплена была, какъ и все мнѣ покупалось, на такъ-называемой Площади близъ Толкучки, поношенная. Голубой ея цвѣтъ и короткій стоячій воротникъ внушалъ догадку, что когда-то она принадлежала жандармскому офицеру, а вата съ зеленымъ узорочнымъ подбоемъ изъ фланели показывала, что послѣ жандарма шинель была на плечахъ у какого-нибудь статскаго и уже отъ него перешла въ лавку. Въ шинели я казался себѣ почти уже щеголемъ. А дотога стыдился даже выходить днемъ въ своей чуйкѣ, которая кстати и поразодралась; меня въ ней видѣли только раннее утро на пути въ семинарію и темный вечеръ на обратномъ пути домой.

Скрутки покупались тоже изъ подержанныхъ, однако перешитые заново, и одинъ былъ даже изъ разныхъ суконъ, полы одного, а рукава другаго сукна; на первый взглядъ это впрочемъ было незамѣтно. Брюки до-

ставались всегда новые, но зато суконныхъ и не покупалось: отвѣчала нанка и разныя пеньковыя матеріи. Изъ числа сюртуковъ одинъ былъ однако новый, по заказу сшитый, казинетовый, голубаго цвѣта; я любилъ его болѣе всѣхъ, потому между прочимъ, что онъ былъ единственный сшитый по моей мѣркѣ и слѣдовательно сидѣвшій складно. Готовое не могло быть по мнѣ, тѣмъ болѣе при особенностяхъ моего стана: я, вытянувшись до $2\frac{1}{2}$ аршинъ, былъ тонокъ и узкоплечъ, высокая былинка; готовый сюртукъ оказывался либо широкъ, либо коротокъ, либо то и другое. Обыкновенно мы долго бродили по Площади съ двоюроднымъ братомъ, дьячкомъ отъ Николы Большаго Креста, прежде чѣмъ находили желаемое. Какъ мѣстному жителю, Василію Васильевичу лавочники были знакомы и пріятелями, и онъ сразу осаживалъ ихъ, когда они пускали въ ходъ привычный себѣ пріемъ надувательства. Онъ швырялъ иногда первую показываемую партію, требовалъ „настоящаго“, и дѣло улаживалось. Я отдавался волѣ и вкусу моего покровителя и только слушалъ диссертациі о сравнительныхъ достоинствахъ и недостаткахъ показываемаго сюртука или сюртучной пары. „Смотри, не завощено ли гдѣ, или не закрашено ли?“— „Нѣтъ, Василій Васильевичъ, предъ вами мы этого не смѣемъ; вотъ извольте посмотрѣть, этого мы вамъ и не подаемъ. Извольте видѣть, вотъ закрашено: сюртукъ до перваго дождя. А вотъ у этого рукавъ, видите, выворочень и начесанъ, я этого не подаю. Здѣсь рукава изъ другаго сукна, разные, за новое я и не продаю; но сюртукъ хорошій, видный“.

Было разъ, мы ходили съ Васильемъ Васильевичемъ въ Лоскутный Рядъ, бывшій на мѣстѣ теперешней Лоскутной гостинницы, очень темный, со множествомъ лавокъ. Мой патронъ по костюмерной части объявилъ мнѣ, что здѣсь торгуютъ всѣми возможными тканями и мѣхами, но только не цѣльными кусками... Откуда же берутъ? Откуда набирается такъ много? любопыт-

ствовалъ я.—Да изъ лавокъ продають остатки, но оттуда мало; для лавокъ есть другіе покупатели, портные и картузники, а сюда больше несутъ краденое. Портной, портниха, скорнякъ принесеть стащенное у хозяина или у закащика, а то и прямо жуликъ; попадаетъ и имъ иногда новое. Старого, ношенного здѣсь не берутъ; старье идетъ на Площадь. Цѣльную штуку если принесутъ сюда, ее рѣжутъ на куски, чтобъ обокраденные хозяева не признали ихъ въ случаѣ обыска. Зато здѣсь уже есть все; нѣтъ матеріи, какого бы сорта и цвѣта ни было, чтобы нельзя было подобрать. А бываетъ нужно, вотъ какъ намъ съ вами теперь, у фрака рукавъ чѣмъ-нибудь попорченъ, у дамскаго платья спинка; и фракъ и платье совсѣмъ новые; портной вставить другое полотнище на мѣсто испорченнаго; а здѣсь подгонять матерію и сортъ такъ, что не отличишь. Мы однако не нашли тогда, чего искали. А намъ нужно было, рукавъ ли или что другое, вставить въ приторгованный сюртукъ, во всѣхъ другихъ частяхъ выдержавшій испытаніе строгаго знатока, Василія Васильевича.

Невзрачность одежды меня угнетала. Зная, что по платью не только „встрѣчаютъ“, но часто и провожаютъ, кѣмъ, думалось мнѣ, долженъ я представляться постороннему? На какое обращеніе уполномочивается каждый встрѣчный моею наружностію? Да и помимо платья, что я такое — продолжалъ я размышлять — ученикъ послѣдняго класса семинаріи, такого заведенія, котораго не уважають, надъ которымъ смѣются, о которомъ не услышишь отзыва, не только почтительнаго, но даже снисходительнаго. Предъ незнакомымъ, кого встрѣчалъ въ первый разъ и о комъ имѣлъ основаніе предположить, что снова не встрѣчусь, я въ разговорѣ скрывалъ свое званіе и положеніе, даже лгалъ, когда спрашивали, повышалъ себя на классъ, если признавалъ себя ученикомъ семинаріи, или же придумывалъ другое званіе. Прилипалъ языкъ, я не смѣлъ принять участія въ разговорѣ, когда предполагалъ собесѣдника знающимъ, кто я.

Бѣхалъ я на побывку въ Коломну зимой, въ сопровожденіи брата Сергѣя. Ночевали на постояломъ дворѣ. Братъ прилежъ уснуть; мнѣ спать не хотѣлось; не спалъ и еще одинъ неизвѣстный, изъ „господъ“, расположившійся въ той же или сосѣдней комнатѣ. Не помню, какъ завязался у насъ разговоръ и съ чего начался, но онъ скоро перешелъ на умныя матеріи и на общественные вопросы. Собесѣдникъ, оказалось, былъ учитель уѣзднаго училища. Какъ относится Коломна и вообще купеческій классъ къ образованію, какое ложное положеніе испытываютъ учителя, какъ гибнуть, не разцвѣтая, дарованія! Есть необыкновенно даровитый мальчикъ, Тарусинъ (я даже фамилію запомнилъ); помимо всего у него талантъ къ рисованію, изъ ряда выходящій; но завтра возьмутъ его таскать кули, не дадутъ и курса кончить родители; курсъ оканчиваютъ лишь дѣти приказныхъ. Бесѣдовали мы долго, при чемъ и я вступалъ въ сужденія, сообщалъ свои замѣчанія и наблюденія. Я говорилъ смѣло; дѣло ночное; кто я, почему можетъ знать мой собесѣдникъ? Предубѣжденія у него не должно быть. Я говорилъ смѣло, судилъ свободно, оспаривалъ своего собесѣдника въ нѣкоторыхъ пунктахъ.

Но былъ свидѣтель нашего разговора. Братъ, котораго я предполагалъ спящимъ, не спалъ; можетъ-быть проснулся, нами разбуженный, но продолжалъ молчать. Онъ былъ пораженъ. Вѣчно молчащій, никогда своего сужденія никуда не вставляющій, а только выслушивающій и изрѣдка лишь обращающійся съ вопросами и просьбами о поясненіи, младшій братишка не только разсуждаетъ, вступая въ пренія со взрослыми, но разсуждаетъ о такихъ предметахъ и такъ, что приходится только соглашаться съ нимъ человѣку, не запасшемуся особенными свѣдѣніями! Я произвелъ очевидно впечатлѣніе Иванушки дурачка, преобразившагося предъ королевскимъ дворцомъ. Заключаю такъ изъ нѣсколькихъ словъ брата Александра, мнѣ ли брошенныхъ

потомъ въ видѣ упрека, или другимъ при мнѣ съ выраженіемъ удивленія. Черезъ нѣсколько недѣль, мѣсяцевъ даже можетъ-быть, не забылъ Сергѣй передать Александру о подслушанномъ разговорѣ: столь сильное произведено было на него впечатлѣніе!

Задумываюсь объ этой двойственности, даже тройственности, въ которой я держалъ себя тогда. Она не ограничилась тогдашнимъ временемъ; преслѣдовала она меня долго, до самаго выхода изъ духовнаго вѣдомства и даже далѣе. Я занималъ уже катедру; въ одинъ изъ каникулярныхъ періодовъ гостилъ въ Москвѣ; отправился разъ въ Кремль, былъ какой-то праздниѣ; въ Чудовѣ архіерейское, служеніе. Направляюсь въ церковь, пробираюсь сквозь ряды богомольцевъ, тѣснящихся на ступеняхъ высокаго крыльца. Наверху стоитъ стражъ благочинія, квартальный. „Долой, пошли! Назадъ, назадъ!“ кричитъ онъ столь извѣстнымъ Россіи полицейскимъ голосомъ, отпихивая тѣснящихся въ церковь. Попадаю подъ его властную длань и я; онъ толкаетъ меня съ такою силой, что я кувыркомъ лечу съ лѣстницы. Поднялся я и размышляю послѣ первой секунды негодованія. „Развѣ написано на мнѣ, кто я? Да положимъ, онъ и зналъ бы мое общественное положеніе. Правда, онъ оказалъ бы мнѣ вѣжливость, даже внимательность можетъ быть. Ну, а эта сотня желающихъ молиться? Я буду избавленъ отъ толчковъ ради своего соціального положенія, а ихъ будутъ бить такъ же какъ бьютъ сейчасъ, какъ бьютъ вездѣ. Правъ ли я буду, нравственно воспользовавшись привилегіей своего вѣшняго положенія, получа ради его доступъ въ соборъ, куда вступить изъ сотни этихъ богомольцевъ половина достойнѣе меня? Ихъ влечетъ желаніе молиться, а меня можетъ-быть болѣе любопытство нежели молитвенное расположеніе. Квартальный не исправится, если я пожалуюсь; да и винить его нельзя, его должность такая; даванье зуботычинъ входитъ въ его прерогативы, безъ которыхъ по об-

ичему мнѣнію, пусть ложному, нельзя обойтись. Да и кому я пойду жаловаться, чѣмъ докажу фактъ грубаго обращенія? Производить ли скандалъ здѣсь на паперти, требовать составленія акта? Это комично наконецъ, и что я выиграю? Выговоръ квартальному, по совѣсти имъ даже не заслуженный, извиненіе предо мною, которое для меня никакой цѣны не имѣетъ, когда степень культуры моего оскорбителя мнѣ извѣстна. Да, Игнатій Алексѣевичъ вотъ сердится, когда спотыкнется на камень, попадающійся подъ ногу. Не довольствуясь тѣмъ, что отпихнетъ неожиданное препятствіе, онъ сердится; онъ гонится за камнемъ, отбрасывая все далѣе и далѣе съ гнѣвнымъ восклицаніемъ: „а, негодный!“ То же дѣлаетъ и съ прутомъ, нечаянно хлестнувшимъ его въ лѣсу; съ гнѣвомъ ломаетъ его, бросаетъ и топчетъ. Не то же ли повторю и я, требуя извиненій отъ квартальнаго?“ Низверженіе мое и слѣдовавшія за нимъ размышленія столь сильно на меня подѣйствовали, что въ послѣдствіи я, собираясь на какую-нибудь церемонію... читатель ожидаетъ—надѣвалъ мундиръ?... Нѣтъ, наоборотъ, я накидывалъ самое невзрачное изъ своихъ одѣяній, и помню, въ овчинномъ тулупчикѣ слушалъ въ Успенскомъ соборѣ литургію и манифестъ объ освобожденіи крестьянъ. Стократъ счастливымъ счелъ я себя тогда, что и рубище не закрыло первопрестольнаго собора для меня въ этотъ знаменательный для Россіи день. Мысленно я пародировалъ себѣ въ подобныхъ случаяхъ слова Библейской Исторіи Филарета о Моисеѣ, что онъ „предпочелъ страдать съ народомъ Божиимъ, нежели раздѣлять временную грѣха сладость“; удержусь отъ пользованія случайными внѣшними преимуществами, когда дѣло идетъ о доступѣ къ такому благу, на которое всѣ имѣютъ равное право человѣка ли вообще, русскаго ли человѣка въ частности.

Сказанная сейчасъ черта выразилась во мнѣ можетъ-быть даже преувеличенно. Долгое, очень долгое время

я не рѣшался выступать съ личными сужденіями и въ печати, и въ разговорахъ. До самыхъ послѣднихъ временъ я не допускалъ своей полной подписи подъ статьями; въ разговорахъ, и притомъ когда занималъ уже положеніе въ обществѣ, я долго не рѣшался употреблять выраженія: „я полагаю“ или „мое мнѣніе таково“; высказывалъ свое мнѣніе не иначе какъ въ выраженіяхъ: „есть мнѣніе“ или „есть люди, которые полагаютъ, напротивъ“... Эта несмѣлость выраженія, это отвращеніе къ выставочности, эта вѣчная боязнь злоупотребить авторитетомъ, хотя бы иногда былъ онъ даже законный, или встрѣтить возраженіе, основанное не на существѣ мысли, а на личномъ противъ меня предубѣжденіи, эта сдержанность—коренилась съ тѣхъ молодыхъ лѣтъ, когда я былъ еще въ семинаріи, когда каждое поползновеніе выступить заграждалось встававшимъ тотчасъ же недоумѣніемъ: „а скажутъ тебѣ: что ты суешься? Кто ты такой? Знай сверчокъ свой шестокъ; ты семинаристъ, не больше“.

Рѣзкое обращеніе брата довершило эту пригнетенность духа. „Глупо! Совсѣмъ не такъ!“ Братъ не замѣтилъ моего внутренняго роста; безоглядность и опрометчивость были вообще въ его природѣ. Были пункты, въ которыхъ я переросъ даже его, а онъ продолжалъ обращаться ко мнѣ съ тою же авторитетностью, не допускавшею возраженій, какъ было два, три года назадъ. Я замолчалъ. Я только слушалъ и изрѣдка спрашивалъ. Въ классѣ же среди сверстниковъ рѣчь моя напротивъ лилась; я сыпалъ замѣчанія, веселые рассказы и отличался даромъ живаго изложенія, пересыпаннаго остротами. Это была тоже натяжка, я лицемерилъ; я не находилъ отрады въ пересмѣшничествѣ; я ему предавался за недостаткомъ болѣе развитыхъ собесѣдниковъ и болѣе серіозныхъ предметовъ для бесѣды. Своимъ балагурствомъ я примѣнялся къ окружающимъ, съ которыми, чувствовалъ я, другаго, болѣе питательнаго разговора нельзя вести. Я даже

иногда лгалъ на себя, изображая себя въ положеніяхъ, которыхъ на дѣлѣ не принималъ, но которыя, еслибы водились за мною, уравнивали бы меня съ товарищами.

Проходя ежедневно Дѣвичьимъ Полемъ, я вскидывалъ иногда взоръ на сторону, откуда высматривалъ задумчиво домъ съ большимъ садомъ, бывшій нѣкогда князя Щербатова, историка, недавно пріобрѣтенный Погодинымъ. Съ тоской думалъ я: вотъ какъ близко отъ извѣстнаго профессора и публициста, а не подойдешь! Еслибы братъ, познакомившійся послѣ съ Погодинымъ, сошелся съ нимъ еще когда я жилъ на Дѣвичьемъ Полѣ, дальнѣйшая судьба моя несомнѣнно пошла бы другимъ путемъ; мнѣ бы открылся кругъ, въ который я введенъ былъ уже тринадцать лѣтъ спустя; и развитіе и внѣшнее положеніе опредѣлились бы иначе. Университетъ не былъ бы мнѣ страшенъ, и въ семинаріи навѣрное бы я не остался. Мнѣ открылись бы уроки, и я былъ бы избавленъ отъ необходимости ѣсть чужой хлѣбъ. Прибавилось бы и бодрости; не приходило бы надобности въ превращеніяхъ Иванушки дурачка; все пошло бы ровнѣе и отъ сколькихъ дальнѣйшихъ противорѣчій въ жизни я былъ бы спасенъ!

Два раза однако навертывались было уроки. Зять Лаврова, дьяконъ, женатый на его сестрѣ, рекомендовалъ меня своему прихожанину, купцу въ Таганкѣ, искавшему преподавателя начать французскаго языка. Явился я. Встрѣчаетъ хозяинъ-бородачъ. Потолковали. „Такъ-то все такъ, заключилъ бесѣду хозяинъ, но видите, у меня дочка на возрастъ, вы человѣкъ молодой; что это дьяконъ-то вздумалъ васъ прислать?“ Выраженія едва ли не были даже грубѣе по направленію отца дьякона. Я ушелъ ни съ чѣмъ, оплеванный; между тѣмъ и учить-то приходилось совсѣмъ не дочку на возрастъ, а сына лѣтъ одиннадцати.

Другой урокъ былъ репетиторство со внукомъ священника Пятницы на Божедомкѣ, того самаго кото-

рый прїѣзжалъ къ родителю въ Коломну, спасаясь отъ Французовъ. Это было мнѣ по дорогѣ изъ семинаріи въ Дѣвичій, и я вечерами изъ класса заходилъ къ своему ученику. Увы! я нашелъ малаго не только плохо учившагося, но и не желавшаго учиться. Въ другихъ выраженіяхъ, но онъ повторялъ Митрофаново „не хочу учиться, хочу жениться“; заговаривалъ, вмѣсто сдачи урока, о бульварныхъ дѣвицахъ, о сравнительномъ достоинствѣ полпивныхъ. Походивъ недѣлю или двѣ, я бросилъ; было тошно заниматься, да и недоброе вѣстно брать деньги даромъ. И деньги-то впрочемъ ничтожныя, едвали не полтора рубля за мѣсяцъ.

Откуда-то Лавровъ досталъ мнѣ работу—переводить съ французскаго какое-то руководство къ земледѣлію ли вообще или къ огородничеству въ частности. Полнаго заглавія не знаю, мнѣ данъ былъ только отрывокъ „Объ устройствѣ и обдѣлкѣ грядъ“. Однако и этотъ способъ добытки средствъ только поманилъ меня: листъ или два переведены были мною за цѣну, почти не превышавшую цѣны переписки; болѣе у моего прїятеля не оказалось оригинала. Я не зналъ, кѣмъ этотъ трудъ былъ и заказанъ. Да зналъ ли и самъ Лавровъ? Къ нему перешелъ оригиналъ вѣроятно изъ третьихъ рукъ въ четвертыя.

XLVII.

Б Ъ Г С Т В О.

Приближалась лѣтняя вакація 1840 года. Я готовился къ переступленію въ Среднее Отдѣленіе. Прошлагодною вакацію провелъ я въ Коломнѣ, и эта побывка оставила во мнѣ восхитительнѣйшее впечатлѣніе. Снова въ теплое гнѣздышко, къ своимъ ближайшимъ, роднѣйшимъ, къ спутницамъ моего дѣтства, въ тотъ садикъ,

гдѣ, бывало, въ это время аккуратно я начиналъ каждый день тѣмъ, что проходилъ частоколъ сосѣдскаго сада и обиралъ малину на прутьяхъ, свѣсившихся черезъ частоколъ въ нашъ садъ. До малины въ нашемъ саду дойдетъ очередь, но обождать надобно первоначально эту, сосѣдскую. Ахъ, сосѣдскій садъ! Сколько онъ доставлялъ намъ радостей, а мнѣ однажды большое огорченіе. Садъ былъ полонъ яблонями, и какое всегда на нихъ обиліе яблокъ! Глаза у насъ разгорались на эти краснобокіе фрукты. Кто-то изъ двоюродныхъ братьевъ научилъ сестеръ хитрости, показавъ примѣръ. Онъ взялъ большой шестъ, на вершинѣ его вбилъ перпендикулярно гвоздь, острый конецъ котораго далеко выставлялся. Съ шестомъ въ рукѣ проходили по частоколу, поднимали шестъ и вонзали приготовленное орудіе въ облюбованный фруктъ; поворачивали шестъ и тащили назадъ, уже съ яблокомъ на немъ. У сестеръ всегда былъ запасъ Кузнецовскихъ яблокъ; меня къ участию въ своей охотѣ не допускали, хотя яблоками и угощали. Шестъ гдѣ-то хранился въ потаенномъ мѣстѣ. Взяла меня зависть и жадность. Я отправился на охоту безъ орудія. Чего стоило вскочить на частоколъ, перелѣзть, оборвать ближайшую яблоню и—назадъ! Я полѣзъ на частоколъ, но только что ступилъ на него, какъ нога завязла между кольями; а въ ту же минуту хлопнула калитка съ сосѣдскаго двора. Идутъ въ садъ! Стараюсь вытащить застрявшую ногу; тщетно! Между тѣмъ, вижу, приближается кто-то ближе и ближе, а ноги все въ частоколѣ. Подходитъ кухарка. „Ты зачѣмъ это здѣсь?“ Не помню, какую я выдумалъ причину, что-то я закинулъ нечаянно въ садъ и иду отыскать затерянную вещь. „Не ври, голубчикъ; ты за яблоками лѣзъ. То-то у насъ яблоки убавляются съ вашей стороны. Пойдемъ къ хозяину.“ „Матушка, голубушка“, взмолился я и началъ припоминать, какія ласкательныя выраженія употребляются въ обращеніи къ женщинамъ такого

возраста. Такъ былъ растерянъ и напуганъ, что никакъ не могъ найти искомаго слова. „Матушка, *старушка* (вмѣсто „тетушка“, слова котораго я искалъ), отпусти.“ „Какая я старушка! возразила гнѣвно кухарка. Ишь ты вздумалъ, въ старухи меня пожаловалъ! Пойдемъ, пойдемъ!“

И взяла она, какъ воробья изъ тенетъ, и привела къ хозяину.

— Это не дѣло, сказалъ старикъ купецъ.—Вотъ я батюшкѣ скажу, чтобъ онъ тебя наказалъ.

Я пролепеталъ то же нескладное оправданіе и былъ отпущенъ. Чрезъ полчаса явился посланный, чтобъ извѣстить моего отца. Горячо было бы мнѣ, еслибы довели дѣло до моего родителя. Но отецъ спалъ; посланнаго приняли сестры и общали передать порученіе. Но не передали, вѣроятно потому что ихъ собственная совѣсть была не чиста. Такъ кончилась моя попытка къ кражѣ.

Не для такихъ походовъ я пріѣхалъ на вакацію; но все мнѣ вспомнилось, каждый кустикъ, каждое деревцо о чемъ-нибудь мнѣ напоминали. Истинно я блаженствовалъ, а одно происшествіе оставило во мнѣ глубоко трогательное впечатлѣніе, силу котораго доселѣ живо воспроизвожу.

Жаркій день и жаркая ночь. Я сплю на балконѣ; тамъ же и сестры. Рано, рано, часа въ три утра я былъ разбуженъ, колокольный звонъ раздавался по городу, звонили на всѣхъ колокольныхъ и даже сельскихъ подгороднихъ.

— Что это такое? спросилъ я.

— Митрополитъ пріѣхалъ, на похороны должно-быть. Никита Михайловичъ умеръ.

Никита Михайловичъ, протоіерей сосѣдней Зачатіевской церкви, былъ родной братъ Филарета. У меня слезы выступили на глазахъ. Это чудное утро, легкій туманъ, едва поднимающееся солнце, полная повсюду тишина, и этотъ звонъ, возвѣщающій о пріѣздѣ архі-

ерея-брата на послѣднее цѣлованіе брата-протоіерея. Меня тронула эта родственная нѣжность высокаго іерарха къ своему невидному брату, притомъ и бѣдному внутренними достоинствами. Покойникъ родитель мой, бывшій на погребеніи, передавалъ мнѣ потомъ, что двѣ крупныя слезы скатились по щекамъ митрополита во время прощальнаго обряда.

Естественно было желаніе во мнѣ повторить сладкія впечатлѣнія свиданія съ родиной. Нужно было спросить брата.

Но съ братомъ уже разладилось у меня. О, какая мудреная наука найти черту, гдѣ должна окончиться нравственная опека, и отыскать правильную постепенность, съ какою должны быть ослабляемы возжи. Съ глубокой, безусловной вѣрою въ брата пріѣхалъ я въ Москву. Со внимательною любовью относился ко мнѣ братъ. Одинъ случай дастъ понятіе объ отношеніяхъ; какія сохранялись еще весной 1839 года, черезъ девять мѣсяцевъ послѣ моего переѣзда въ столицу. Братъ былъ охотникъ до наливокъ и мастеръ ихъ настаивать. Окна были заставлены бутылками. Разъ, въ отсутствіе и брата и невѣстки (они были гдѣ-то въ гостяхъ), племянникъ-мальчикъ предложилъ мнѣ попробовать изъ одной бутылки; я имѣлъ легкомысліе принять предложеніе. Попробовали изъ одной, попробовали изъ другой. Обойдя всѣ бутылки, мы оба опьянѣли. Много ли намъ нужно было, мнѣ четырнадцати-лѣтнему, а тѣмъ болѣе осмилѣтнему племяннику? У него закружилась голова и его стошнило. До свѣдѣнія брата доведено было происшествіе. Я уже спалъ, когда онъ и невѣстка возвратились изъ гостей; раннимъ утромъ я отправился по обыкновенію въ семинарію. По приходѣ домой нахожу брата пасмурнымъ.

— Чтѣ ты сдѣлалъ? Чтѣ вы сдѣлали? А я уже боялся, не случилось ли чего съ тобой, не бросился ли ты въ рѣку; ты такъ долго не возвращался.

Но мое промедленіе было случайно, о чемъ я и объ-

яснилъ брату. Затѣмъ послѣдовалъ упрекъ, мягкій, дружественный, раскрывавшій всю гадость поступка особенно по отношенію къ мальчику.

— Я Петра (сына) наказалъ. Что же мнѣ съ тобой сдѣлать?

— Накажите и меня, отвѣчалъ я тронутый, сознавъ вполнѣ всю непростительность своего легкомыслія.

— Я его высѣкъ.

Не отказался и я отъ такого внушенія, самъ сознавая себя болѣе виноватымъ нежели мальчикъ-племянникъ. Братъ приготовилъ розгу; я легъ.

— Нѣтъ, вставай, сказалъ онъ расплаканный; не могу.

Я плакалъ, понятно, тронутый не меньше его. Мы расцѣловались, и о происшествіи не было больше помина. Но взаимное довѣріе начало ослабляться по мѣрѣ того какъ я росъ. Я сталъ тяготиться постоянною указкой; у брата вырывались слова, что онъ тяготится моимъ содержаніемъ. Слова эти срывались не часто и притомъ въ гнѣвѣ, но достаточно было сказать разъ, чтобы утратилась прежняя моя безбоязненность. Братъ приходилъ въ негодованіе, пожалуй и справедливо, на то что я лѣнился чистить свои сапоги. Начиналъ онъ иногда указывать на меня своимъ дѣтямъ, чтобъ они не брали примѣръ съ меня. Доходило до того, что онъ говаривалъ: „смотрите, смотрите, какъ онъ ѣсть!“ То есть какъ будто я ѣлъ съ жадностью. Я отмалчивался, и это приводило его въ раздраженіе, свидѣтельствовало о моей глубокой испорченности, безчувственности. Надо мною читались дѣтямъ рацеи. Охлажденіе и взаимное нравственное удаленіе были неизбѣжны. Онъ требовалъ за непремѣнное, чтобы я показывалъ ему всѣ свои сочиненія; а я уже пересталъ вѣрить въ совершенство его поправокъ. Онъ высказывалъ замѣчанія и сужденія, но я съ нѣкоторыми уже не соглашался. Противорѣчіе выводило его изъ себя; легко воспламеняемый, онъ наговаривалъ много несправедливаго и оскорбительнаго.

Черезъ два года отношенія уже натянулись. Я жилъ въ себѣ больше, и братъ ко мнѣ не часто обращался. Помимо службы онъ былъ поглощенъ воспитаніемъ сына, занимаясь съ нимъ усердно.

Я стоялъ у печки въ пріемной комнатѣ, которую называли „залой“; она первая послѣ прихожей, угольная, два окна на одну сторону, два на другую. Зеркало; печка въ углу; старинное фортепіано налѣво у стѣны, отдѣляющей залу отъ спальни. Братъ ходилъ по комнатѣ.

— Братецъ, можно мнѣ ѣхать въ Коломну? спросилъ я просительнымъ тономъ.

Онъ отвѣчалъ отказомъ рѣзкимъ и грубымъ. Представилъ какія-то основанія и заключилъ, чтобъ я не смѣлъ и думать.

— А если я поѣду безъ позволенія? спросилъ я самымъ смиреннымъ, какъ мнѣ казалось, тономъ. Но должно-быть въ немъ слышалась досада, какъ сужу изъ послѣдующаго.

Неожиданное и небывалое противорѣчіе взорвало брата. Съ потоками брани, какъ я смѣлъ это сказать и думать, онъ бросился на меня и схватилъ за волосы. Я вырвался и произнесъ три слова:

— Это уже слишкомъ!

Два года я жилъ; рука его никогда на меня не поднималась, хотя язвительныхъ и грубыхъ словъ расточалось довольно.

Я выбѣжалъ на дворъ; братъ погнался было, но воротился. Какъ я досталъ картузъ, не помню. Только я вышелъ со двора и направился къ полю (Дѣвичьему) съ рѣшимостью не возвращаться.

Дѣло было вечеромъ. Куда я пойду? Но я объ этомъ не думалъ, душа во мнѣ кипѣла. Я припоминалъ всѣ грубые попреки, которые считалъ тѣмъ менѣе заслуженными, что сердечно жалѣлъ о тягости, которую наложила дороговизна хлѣба въ этотъ годъ, и отъ души желалъ облегчить брата. Но не я, а онъ же виноватъ,

что всѣ способы у меня отняты. Даже отдаленный намекъ о томъ, что я могъ бы достать какой-нибудь урочишка, встрѣчалъ съ его стороны рѣшительный отказъ. Я не могу отлучиться никуда, чтобы не вызвать выговоровъ и обидныхъ подозрѣній. Самыя невинныя дѣйствія мои истолковывались превратно, въ дурную сторону. Моя скромность истолковывалась какъ жестокость. И наконецъ, что преступнаго, что дурнаго, что я желаю ѣхать къ отцу и сестрамъ? Домъ на Дѣвичьемъ Полѣ развѣ тюрьма для меня и за что я заключенъ?

И я все шелъ. Пришелъ въ Москву, то-есть прошелъ поле, вступилъ на Пречистенку. По косности привели меня ноги и къ Александровскому саду. „Куда жъ теперь?“ подумалъ я и направился на Ильинку къ брату Василю Васильевичу. Никогда я до сихъ поръ не проводилъ ночи внѣ дома, и я стѣснялся попросить ночлега, хотя въ такой просьбѣ не было ничего чрезвычайнаго. Но мнѣ казалось, что на меня посмотрятъ какъ на бродягу, что на лицѣ моемъ прочтутъ преступленіе.

Опасенія мои, разумѣется, не оправдались. Меня приняли радушно. Разговорились, и незамѣтно, само собою вышло, что я долженъ ночевать; время позднее, подѣ Дѣвичей далеко. Разумѣется, я ни слова не сказалъ о причинѣ, приведшей меня въ столь необычный часъ на Ильинку.

Но до роспуска оставалось еще два дня. Слѣдующій день былъ канунъ публичнаго экзамена. Годъ былъ курсовой, переходный. На этотъ разъ семинарія была между прочимъ и ревизована. Ревизоромъ былъ назначенъ викарный архіерей Виталій. Экзамены частные всѣ были мною уже сданы, и отъ нихъ осталось между прочимъ неутѣшительное для меня воспоминаніе. Ревизоръ нашелъ, что отвѣчающій ученикъ плохо прочиталъ какой-то примѣръ, кажется отрывокъ изъ проповѣди Массильйона о Страшномъ Судѣ. Захотѣлось ему испытать искусство чтенія. Какъ перваго ученика, вызвали меня.

— Знаете оду *Богъ*?

— Знаю.

— Прочитайте-ка.

Я началъ. Прослушалъ архіерей нѣсколько и отпустилъ со словами:

— Э, батюшка, и вы читать не умѣете.

Прошатался я утро по Москвѣ; обѣдать зашелъ къ другому двоюродному брату, Ивану Васильевичу, въ Овчинникахъ. Тары да бары до вечера. Однако не ночевать же мнѣ здѣсь. Это будетъ даже подозрительно: у одного брата сегодня, у другаго завтра. Я отправился снова шататься и забрелъ въ Александровскій садъ. Здѣсь въ гротѣ нахожу господина, разговорясь съ которымъ узналъ, что это землемѣръ, командированный куда-то за тысячи верстъ. Очень долгая, занимательная для меня бесѣда; я вызналъ о землемѣрїи все, что только можно вызнать въ такое короткое время; между прочимъ узналъ, какимъ великимъ опасностямъ подвергались землемѣры во время генеральнаго межеванія и какимъ оригинальнымъ средствомъ спасались. Для крестьянъ это было дѣло невиданное и непонятное, а интересовъ касались кровныхъ. Когда всѣ попытки къ словесному убѣжденію истощались, а крестьяне свирѣпѣли и принимались за колья, наступая на межевщика, онъ раскидывалъ астролябію и садился подъ нее, окруживъ ее цѣпью въ добавокъ. Въ суевѣрномъ страхѣ крестьяне отступали.

Однако ночь, и собесѣдникъ мой со мной распростился. Куда же я? Раскинулись по небу звѣзды, все тише и тише на улицахъ. Не только экипажи, но и ваньки замерли. Развѣ тѣ съ громомъ промчатся, которыхъ такъ затѣйливо наименовала одна служанка своей барынѣ, воображая, что выражается высокимъ и приличнымъ матерїи слогомъ: „Настасья, Настасья, будить встревоженная барыня горничную. Встань, посмотри-ка, никакъ пожаръ! Гдѣ? Что? Куда это пожарные ѣдутъ?“

Встала горничная, посмотрѣла и лѣнливо отвѣчала:

„Э, матушка барыня! Успокойтесь, это не пожаръ; это съ духовенствомъ проѣхали“.

Да, за полночь уже. Прошелъ я на набережную. Вотъ Волчья Долина, знаменитый трактиръ-вертепъ, о которомъ я наслышался отъ Перервенца. Зашелъ бы туда; но у меня нѣтъ даже пяточка. Я предался размышленіямъ между прочимъ о знаменитомъ соловѣѣ, заслушиваться котораго приходили тысячи. За четверть версты было его слышно. Набережные были полны слушателями, а трактиръ выручалъ тысячи отъ слушателей-посѣтителей. Но другой трактирщикъ-соперникъ подучилъ злаго человѣка: подошелъ гость къ дорогому пѣвцу и окормилъ его. Опустѣлъ трактиръ, опустѣла набережная.

А вотъ Каменный мостъ. Не здѣсь ли, не въ сегодняшнюю ли зиму подшутилъ Александръ Антоновичъ протодьяконъ надъ жуликами, дерзнувшими было напасть на него, одиноко шествовавшего ночью? Схватилъ обоихъ за шиворотъ, одного одною рукой, другаго другою, перекинулъ чрезъ каменную ограду моста и трясъ надъ шипящею внизу водой запѣлъ своимъ знаменитымъ басомъ: „во Іорданѣ крещающуся...“ Однако здоровъ Александръ Антоновичъ! Ломаются ли и гнутся ли подъ нимъ реесоры? Знаменитаго „Тверскаго“ придворнаго протодьякона извощики, сказываютъ, перестали возить, не брали ни за какую цѣну.

Куда же идти? Повернулъ снова въ Александровскій садъ и направился къ любимому мѣсту, къ гроту. Тамъ уже есть кто-то, въ чуйкѣ, въ картузѣ, лежитъ на скамѣ, спитъ повидимому; сомнительный субъектъ! Однако послѣдую примѣру. Я сѣлъ, на винулъ картузъ немного на лобъ и скоро задремалъ. Долго ли я проспалъ, неизвѣстно; но когда проснулся, неизвѣстнаго въ чуйкѣ не было уже. Утро съ полнымъ солнцемъ, и та специальная вонь, которая отравляетъ самыя восхитительныя лѣтнія утра въ Москвѣ. Она, вонь, какъ будто тоже встаетъ утромъ и совершаетъ свой туалетъ.

Вечерняя и ночная вонь непріятны, а утренняя и того тошнѣе, можетъ быть по противоположности съ яркимъ солнцемъ и по воспоминанію, которое вызывается о благоуханіи луга и лѣса въ этотъ часъ.

Немного посидѣвъ, я прошелъ въ Охотный рядъ, чрезъ Театральную площадь, обогнулъ Китайскую стѣну и явился въ семинарію. Приготовленіе къ экзамену, какъ прошлымъ годомъ, какъ всегда. Вотъ богословы съ тетрадками ходятъ; вѣдь имъ экзаменъ главный. Вотъ младшая братія; ей нѣтъ экзамена сегодня; ее потянутъ завтра. Вотъ ректоръ и профессора на крыльцѣ въ ожиданіи владыки.

— Ну, чтó вы боитесь, чтó тревожитесь? Соберите все спокойствіе, будьте смѣлѣе. Чего бояться? Вѣдь кто? Вѣдь владыка, вѣдь онъ нашъ отецъ—чего бояться?

Такими словами успокаиваетъ своихъ птенцовъ отецъ-ректоръ, держа конспектъ въ рукѣ, которая ходитъ ходенемъ.

— Ну, чтó бояться, чего бояться? повторяетъ онъ, а рука продолжаетъ трястись, и листы конспекта гремятъ, какъ будто вѣтеръ по нимъ ходитъ.

Но вотъ зазвонили, владыка пріѣхалъ, его высаживаютъ изъ кареты и ведутъ, почти несутъ по лѣстницѣ. Лиловая ряса съ бѣлымъ клобукомъ выдѣляется среди черныхъ рясъ и черныхъ профессорскихъ фраковъ съ бѣлыми пуговицами.

Зала богословская тѣсна, она не можетъ вмѣстить всей семинаріи, тѣмъ болѣе что цѣлая треть отведена для экзаменуемыхъ. Скамьи вынесены. Ученики стоятъ, тѣ классы которымъ испытаніе предстоитъ ранѣе другихъ. Впередъ протиснуться нельзя, духота непомѣрная. Въ этотъ-то достопамятный день случилось происшествіе, повергшее всѣхъ въ ужасъ. При тѣснотѣ, вызываемые къ отвѣту продвигались, но почти не отдѣлялись отъ прочихъ, стоящихъ позади. Вызываютъ ученика. Онъ отвѣчаетъ частію по собственной памяти, частію по подсказу сзади стоящаго суфлера. Встаетъ митрополитъ

внезапно изъ-за стола, беретъ собственноручно суфлера и выводитъ вонъ съ гнѣвнымъ напоминаніемъ, что шепотникъ по-гречески называется διάβολος (діаволъ). Шепотникомъ оказался ученикъ перваго разряда, будущій студентъ. Пропалъ онъ! Нѣтъ, не напрасно же говорилъ ректоръ, дрожа всѣмъ тѣломъ и чуть не стуча зубами: „вѣдь онъ нашъ отецъ!“ Чего бояться?“ Шепотникъ только тѣмъ и отдѣлался, что его вывела высокопреосвященная рука.

Отошелъ экзамень, и я направился на Ильинку, гдѣ ночевалъ третьяго дня. Пообѣдалъ. Послѣ обѣда является третій братъ, Смирновъ младшій, Дмитрій Васильевичъ, дядечекъ изъ Покровскаго-Глѣбова. Человѣкъ веселый и любилъ выпить. Поздоровался со мной.

— Какъ поживаешь?

Я отвѣчалъ съ грустью, что очень дурно.

— Exclusus (исключень)? спросилъ онъ съ участіемъ.

Онъ вспомнилъ должно-быть свою участь въ свое время. Какая иронія судьбы! подумалъ я про себя. Мнѣ, первому ученику, выражаютъ участливую боязнь, не исключень ли я за малоуспѣшность!

— Нѣтъ, отвѣчалъ я въ слухъ и передалъ вкратцѣ свое бѣгство или изгнаніе. Съ Дмитріемъ Васильевичемъ я могъ говорить откровеннѣе; онъ ближе тѣхъ братьевъ мнѣ по лѣтамъ.

— Ну, что это, пустое! сказалъ онъ успокоившись. А пойдемъ-ка съ нами. Братъ, пойдемъ, обратился онъ и къ Василю Васильевичу.

Мы отправились въ полпивную. Я хотя вообще и не пилъ, но на этотъ разъ не смѣлъ отказаться, боясь огорчить гостепріимца. Я пилъ осторожно, но два брата—очень изрядно. Василій Васильевичъ былъ особенно охотникъ до пива. Онъ нажилъ даже неестественную полноту отъ пива и пальцы у него были какъ огурцы. Эти пальцы переживаютъ теперь второй періодъ. Прежде Василій Васильевичъ былъ дядькомъ въ Черкизовѣ. Въ тѣ времена онъ былъ не только худощавъ, но руки

его были тѣмъ замѣчательны, что вполне не разжимались. Онѣ имѣли видъ граблей, пальцы не выпрямлялись. Онъ былъ необыкновенно работающъ: соха, топоръ, возжи не выходили изъ его рукъ и произвели эту постоянную скрюченность. Но по поступленіи въ Москву на богатое мѣсто, доходъ котораго равнялся священническому и даже превосходилъ умѣренное содержаніе, добываемое священникомъ средняго прихода, Василій Васильевичъ пополнѣлъ, разбогѣлъ, расцвѣлъ, лицо его закруглилось и залоснилось, а пальцы не только выпрямились, но раздулись: прежде онъ не могъ рукъ разжать вполне; теперь наоборотъ трудно прижать пальцы къ ладони.

— А что, братъ, пойдѣмъ-ка ко мнѣ ночевать, въ Покровское! пригласилъ меня Дмитрій Васильевичъ.

Я радъ былъ идти и дальше, лишь бы ночевать подъ кровлей. И мы отправились. Но прежде чѣмъ выйти за заставу, мы еще порядочно поколесили. Куда-то все нужно было ему зайти. Первоначально зашли въ Пѣвчую (переулокъ, бывший на мѣстѣ теперешнихъ Теплыхъ рядовъ). Здѣсь Дмитрій Васильевичъ предполагалъ купить картузъ. Долго торговался съ картузникомъ, долго выбиралъ, наконецъ купилъ. Спрыснуть надо; зашли снова въ полпивную, оттуда въ Охотный рядъ, за провизіей. Изъ лавки въ лавку. Опять пересмотръ товара, опять торговаться четверть часа; наконецъ и здѣсь кончили. Отправились куда-то еще, не помню куда, но мы очутились къ ночи на Знаменкѣ, совсѣмъ не по дорогѣ въ Покровское. Въ большомъ трехэтажномъ домѣ, противъ Пашкова дома, огни. Это пансіонъ, пояснилъ мнѣ Дмитрій Васильевичъ, и здѣсь балъ. Вышли наконецъ за заставу; здѣсь заходить уже некуда было. Сильно нагруженный пришелъ младшій Смирновъ домой и началъ бурлить. Жена качала ребенка въ люлькѣ. Приглашая меня къ себѣ, онъ расписывалъ Покровское какъ рай небесный и что я чудеснѣйшимъ образомъ отдохну и освѣжусь предъ экза-

меномъ послѣ двухсуточного мытарства; но оказалось, что онъ живетъ въ крошечномъ чуланчикѣ, и мнѣ почти лечь негдѣ. Домъ отданъ былъ въ наемъ дачнику.

Какое ужъ тутъ было спанье? Хозяинъ бурлилъ, придирался къ женѣ; ребенокъ нѣтъ, нѣтъ, да начиналъ неистово кричать. Со скрипомъ качалась люлька, въ полголоса идетъ баюканье. Одинъ глазъ у меня спитъ, другой бодрствуетъ; я былъ въ полуснѣ. Не взяла и усталость послѣ вчерашняго и сегодняшняго путешествія. Чѣмъ свѣтъ я всталъ и направился въ Москву, не простясь съ хозяевами. Они спали, а мнѣ нужно поспѣвать къ экзамену. Я пришелъ на Никольскую рано, хотя шелъ не торопясь. Покровскую рощу и всю дорогу до Всѣхсвятскаго шелъ почти шагомъ, упиваясь свѣжимъ воздухомъ; прибавилъ шагу только на пыльномъ шоссе, рядомъ съ недавно разведеннымъ паркомъ. А отъ Тверской заставы до Никольской, это по тогдашнимъ моимъ ногамъ было ровно ничего.

На экзаменѣ я былъ спрошенъ, но отвѣчалъ всего словъ пять. Почти при самомъ началѣ отвѣта, мнѣ сказано: „довольно!“ и я, самъ очень довольный, не замедлилъ укрыться въ задніе ряды.

Скоро и кончился экзаменъ. Радостный я поспѣшилъ съ Никольской въ Рогожскую. Ямщики окружили.

— Куда баринъ?

— Въ Коломну.

— Лѣшій! Спрашиваешь! Развѣ не видишь? Это батышки Никитскаго сынъ.

— И то!

Ряда была не долга. Задатка обыкновенно требуемая я не далъ. У меня ничего не было. Да и зачѣмъ задатокъ? Я самъ задатокъ, лично. Кто повезетъ? Гдѣ кибитка? Жеребій кинуть; вотъ кто повезетъ. Но прежде онъ пойдетъ чаю напиться. Накидывается халатъ синяго сукна поверхъ сѣраго армяка. Пошелъ мой ямщикъ въ трактиръ. Но халатъ немедленно выносится изъ трактира обратно и накидывается на другаго, по-

томъ на третьяго, все тотъ же халатъ. Вышло строгое запрещеніе: пускать въ трактиръ только чистую публику, сѣраго мужика не смѣй. Суконный халатъ есть признакъ купца или мѣщанина — чистая публика, и единственный на постояломъ дворѣ халатъ переходить съ плечъ на плечи, поочередно обращая сѣраго мужика въ чистую публику.

Черезъ два часа бубенчики зазвенѣли, и я катилъ въ Коломну.

XLVIII.

И з г н а н і е.

Переходные годы были для меня какъ бы роковыми. Я съѣздилъ въ Коломну, по возвратѣ явился подъ Дѣвичье, какъ бы ничего не случилось. Братъ былъ отходчивый человекъ. Онъ не поминалъ ни слова о моемъ бѣгствѣ, я тѣмъ менѣе. Потянулась жизнь по прежнему. Прошелъ годъ, наступилъ 1842, второй пребыванія моего въ Среднемъ Отдѣленіи. Въ виду были экзамены, былъ іюнь въ началѣ. Послѣдовала вторая разлука съ братомъ. Уже не намѣреніе мое ѣхать въ Коломну вызвало гнѣвъ и не мое скромное возраженіе. Едва ли не сапоги несчастные были причиной. Словомъ, братъ вспылилъ, замѣтивъ сапоги ли не чищенные или другое что, свидѣтельствовавшее о моей неряшливости и невнимательности. На мое обычное молчаніе онъ расходился еще болѣе, и разгораясь окончательно, закричалъ мнѣ: „Вонъ ступай! Убирайся куда знаешь!“ Кухарка, по его приказанію, выбросила мои вещи. Это было среди дня, въ воскресный день. По обыкновенію, не сказавъ ни слова, я удалился, надѣвъ свою голубую шинель и свой парижскій цилиндръ. Не какъ два года назадъ, теперь я зналъ куда идти. Перервенецъ давно описывалъ мнѣ въ самыхъ привлекательныхъ чертахъ

свое новое житіе. Вмѣстѣ съ двумя старшими братьями своими и двумя пѣвчими онѣ нанимаетъ квартиру. Совершенно независимая жизнь. Они нанимаютъ кухарку, сами покупаютъ провизію; заниматься никто не мѣшаетъ; обходится дешево—по разверсткѣ рублей по десяти (ассигнаціями) въ мѣсяцъ. Я рѣшился отправиться туда, да и некуда было больше. Это не два года назадъ, когда скитался безъ ноши. Теперь весь скарбъ при мнѣ: мой войлокъ, подушка, бѣлье. На дворѣ завязалъ я все это какъ-то; никто мнѣ не помогать. Взвалилъ на себя ношу и побрелъ. Дорогой размышлялъ о томъ, каково бываетъ идти солдатамъ въ походной формѣ: оружіе, ранецъ, шинель, киверъ на головѣ чуть не въ полтора аршина, а въ немъ наложено чуть не полтора пуда. Мнѣ было не лучше. Палящій жаръ; я въ ватной шинели и съ невообразимо громаднымъ узломъ на плечахъ. Понесу на одномъ плечѣ, устану, переключиваю на другое. Вытянулъ поле; а идти Москвой далеко, почти на другой конецъ, въ Сыромятники. Добрелъ я какъ-то; малосиленъ я былъ, но молодъ, только что минуло восемнадцать лѣтъ; къ ходьбѣ привыкъ. Не помню даже, чтобы присѣдалъ гдѣ-нибудь. Чрезъ Кремль, на Варварку, оттуда на Солянку и мимо Рождества-на-Стрѣлкѣ, чрезъ Воробино на Воронцово Поле, затѣмъ минуя Садовую—въ Сыромятники. Я помнилъ домъ—Кокушкина; я зналъ, что не только квартира отдѣльная, но домъ нанимается отдѣльный.

Вотъ этотъ домъ, то-есть домикъ въ три окна. Переулокъ немощеный, но грязи не будетъ, мѣсто песчаное. Направо и налево тянется заборъ. Дворъ на лѣвой сторонѣ длинный и широкій, заросшій травой. Длинные сараи послѣ нѣкотораго перерыва составляютъ продолженіе линіи, на которой стоитъ домикъ, а по другую сторону двора, лѣвую, тянется фабричный двухэтажный корпусъ, въ который входъ однако не съ нашего двора. Такимъ образомъ пустынно, и въ этомъ отношеніи рекомендація Перервенца справедлива.

Было уже къ вечеру дѣло, когда я подошелъ къ будущему жилищу. Перервенецъ былъ дома и сидѣлъ за урокомъ; его сожители — тоже дома. Часть ихъ была мнѣ знакома; самый старшій братъ Перервенца, неизвѣстной профессіи человѣкъ; другой братъ, помоложе, исключенный изъ Низшаго Отдѣленія семинаріи и теперь состоящій въ вольномъ хорѣ пѣвчимъ; Егоръ Павловичъ — тоже пѣвчій изъ исключенныхъ. Былъ еще сожитель, Рыжій, его всѣ такъ и звали; онъ изъ Виѣанской семинаріи, состоялъ пѣвчимъ также; но я его не засталъ, да и вообще потомъ видалъ мало.

Взошелъ я. Перервенецъ мнѣ искренно обрадовался, съ участіемъ выслушалъ мою исторію и съ увѣренностью успокоилъ меня за будущее, какъ мы будемъ здѣсь вмѣстѣ жить и заниматься. На первый разъ онъ принялъ на себя обязанности моей няньки или экономки и сложилъ куда-то мой узелъ. Мнѣ не дали путемъ осмотрѣться, какъ позвали въ трактиръ; надобно спрыснуть новоселье. Отказываться отъ угощенія было даже невѣжливо, тѣмъ болѣе что я не могъ предвидѣть дальнѣйшаго. Угощеніе предлагалъ братъ Перервенца, пѣвчій (Александръ), и мы отправились вчетверомъ, Перервенецъ съ братьями и я. Трактиръ принадлежалъ содержателю пѣвчихъ, и Александру открытъ былъ тамъ кредитъ. Мы пошли къ Яузѣ, перешли ее по двумъ дощечкамъ, перекинутымъ на другой берегъ, поднялись въ гору и здѣсь, недалеко отъ Андроньева монастыря, вошли въ гостепріимное заведеніе. Потребованы были чай и водка. Я водки не пилъ, а остальные трое не только были пьющіе, но впившіеся. Меня даже не спросили, пью я или нѣтъ; въ обществѣ, куда я попалъ, вопроса объ этомъ не допускалось; съ представленіемъ о взросломъ человѣкѣ не укладывалось предположеніе, чтобъ онъ не пилъ. Налили всѣмъ и мнѣ въ томъ числѣ. Отказываться было невѣжливо, неприлично. Я оскорбилъ бы радушное гостепріимство, мнѣ оказанное, и въ частности Александра, угощавшаго насъ. А это

былъ добросердечный, благороднаго характера малый. Богъ обдѣлилъ его умственными дарованіями, но у него были открытое сердце, прямота, честный взглядъ, великодушіе. Я сталъ пить на ряду съ другими и вскорѣ опьянѣлъ, опьянѣлъ такъ, какъ не былъ никогда потомъ пьянъ во всю жизнь свою. Я едва могъ встать съ мѣста и идти не могъ безъ посторонней помощи. Я всталъ было и плюхнулъ снова, раздавивъ при этомъ свой парижскій цилиндръ. Много ли угощались мои товарищи, не знаю; но они были, какъ выражаются, „ни въ одномъ глазѣ“; еслибъ они и вдесятеро болѣе противъ моего выпили, они были бы только навеселѣ.

Надобно было возвращаться назадъ. О переходѣ чрезъ дощечки нечего было и думать; я не могъ ступить прямо по мостовой. Мы направились въ обходъ къ мосту: я въ серединѣ и двое около меня по бокамъ, ведшіе меня подъ руки; третій изъ братьевъ шелъ сзади.

Сознаніе меня однако не оставляло; напротивъ, мозгъ работалъ сильнѣе обыкновеннаго. Я представлялъ ясно все безобразіе картины пьянаго, едва передвигающаго ноги, двумя ведомаго и третьимъ сопровождаемаго. Я видѣлъ глубину своего паденія, и раскаяніе мучило меня. Съ глубокимъ отвращеніемъ я размышлялъ о себѣ, проклиналъ свое малодушіе, уступчивость, съ которою не колеблясь принялъ угощеніе. Чтò я такое послѣ того? Куда я гожусь? Не было для меня ничего отвратительнѣе, какъ видъ пьянаго. Удивлялся я на людей, находящихъ удовольствіе въ питьѣ, съ презрѣніемъ смотрѣлъ на людей, отдавшихъ низкой склонности; ниспаденіемъ съ человѣческаго достоинства и добровольнымъ скотоподобіемъ признавалъ я всегда пьяное состояніе, и самъ..... Я былъ гадокъ себѣ, и жизнь мнѣ стала постыла. Изъ меня ничего и не выйдетъ путнаго, бросьте меня въ воду! „Бросьте меня въ воду!“ настаивалъ я, когда мы переходили мостъ. Я старался высвободиться отъ своихъ драбантовъ и порывался, но оба они были замѣчательной силы; они почти унесли меня

на берегъ. „Бросьте меня, я не стою жить!“ повторялъ я.

Отчаяніе, столь открыто выраженное мною, чрезвычайное опьянѣніе, въ которое я впалъ, принесло мнѣ однако пользу въ томъ отношеніи, что новые друзья мои въ слѣдующіе разы уже не настаивали на угощеніи и снисходительно увольняли меня отъ выпивки, уважая мою отговорку, что я слишкомъ слабъ.

Привели меня домой и уложили спать. Ночлегомъ нашимъ былъ сарай, огромный и пустой, съ сѣноваломъ на верху, который однако тоже былъ пустъ. Спали на войлокахъ, обшитыхъ тикомъ и лоснившихся отъ грязи, напомнившихъ мнѣ коломенскую бурсу. Крысы бѣгали, производя возню до самаго свѣта; нѣкоторые перебѣгали черезъ насъ, ни мало не тревожась нашимъ присутствіемъ и не заботясь о нашемъ покоѣ. Все это усмотрѣлъ я, разумѣется, послѣ; въ настоящій же вечеръ, когда меня уложили, я послѣ нѣкотораго головокруженія вскорѣ заснулъ и проснулся рано. Всталъ, и первымъ моимъ чувствомъ было удивленіе: отчего же у меня голова не болитъ? Даже у менѣе напивающихся голова трещитъ утромъ, по ихъ выраженію, и душа требуетъ похмѣлья. А я былъ совершенно свѣжъ, никакой боли въ головѣ и никакой потребности въ винѣ. Вчерашняго какъ бы не было; оно осталось только воспоминаніемъ.

Скоро, въ тотъ же день, сбѣжали всѣ радужные цвѣта, въ которыхъ изображалъ Перервенецъ свое общеніе. Трехоконный домикъ раздѣлялся на двѣ половины, изъ которыхъ одну занимала кухня съ сѣнями, другая была раздѣлена на двѣ клѣтушки. Небольшой столикъ, едва достаточный чтобъ установить шашечницу, два стула, изъ которыхъ одинъ трехногій, скамейка и деревянная кровать — такова была вся утварь. Писать было не на чемъ, хотя была чернильница. Засаленный столъ былъ невозможенъ; оставалось писать только на подоконникѣ. Читать нужно было или на

крыльцѣ, помѣстившись на ступеняхъ, или на дворѣ гдѣ-нибудь, сидя на чурбанѣ, а то и просто на травѣ. Таково удобство для занятій. Квартира не представляла даже ночлега; если бы дожить до осени, не говоря уже до зимы, размѣститься четверымъ для сна было бы физически невозможно. Въ каждой каморкѣ не было ширины и трехъ аршинъ; поперекъ улечься невозможно, вдоль тоже: мѣшала мебель, какъ ни была она малочисленна.

Сожители утромъ, а иногда и вечеромъ отсутствовали, трое по пѣвческому ремеслу, старшій братъ Перервенца по неизвѣстной причинѣ. Повидимому онъ занимался перепиской гдѣ-то; но онъ рассказывалъ съ услажденіемъ о подвигахъ карманниковъ и валетовъ мелкаго разбора, гдѣ у кого что вытащили ловко или у кого выманили что-нибудь; о прежнихъ временахъ было извѣстно, что Николай былъ даже въ шайкѣ; о настоящемъ оставалось подъ сомнѣніемъ, состоялъ ли онъ дѣйствующимъ лицомъ или только причисленнымъ къ штабу.

Всѣ трое пѣвчихъ состояли въ хорѣ Прокофьева или Прокофія (его называли послѣднимъ именемъ), любителя-купца. Вольное пѣвчество тогда далеко еще не было развито какъ теперь, когда можно насчитать болѣе десятка частныхъ хоровъ, изъ которыхъ каждый считаетъ пѣвчихъ десятками, почти до сотни. Большихъ частныхъ хоровъ было только два: Табачниковскій человекъ въ 60 и Прокофьевскій—въ 80. Трое изъ сожителей моихъ были пѣвчими, и всѣ были въ силу того если не пьяницы, то любившіе выпить и не понимавшіе другаго житейскаго наслажденія кромѣ выпивки, если не считать билліарда, отчасти и веселаго дома: то и другое было впрочемъ болѣе рѣдкимъ удовольствіемъ. Питье доходило до маніи, гдѣ цѣль уже отставлялась въ сторону, а пили для того чтобы пить. Принесена бутылъ. Кто-то гдѣ-то раздобылся деньгами, которыхъ у сожителей вообще не бывало; имѣя кредитъ въ трак-

тирѣ, они не выходили изъ долга у хозяина. Въ видѣ закуски припасены свѣжіе огурцы. Пьютъ по очереди. Всѣ безъ верхняго платья въ однихъ рубашкахъ. Пили до того, что нейдетъ въ душу; тогда искусственно вызывали у себя рвоту и снова пили до пресыщенія; снова потомъ вызывали рвоту и опять пили.

Таковы были люди, съ которыми доводилось мнѣ жить. Мнѣ они оказывали родъ сострадательнаго почтенія; сдерживало ихъ вѣроятно положеніе мое по семинаріи, къ которому они, по ученической памяти, не могли не питать уваженія. Моя воздержность, безучастіе при вакханаліяхъ, задумчивое молчаніе при грязныхъ разсказахъ оказывали свою долю дѣйствія. Ко мнѣ были даже предупредительны, меня старались поконить, хотя я въ сущности жилъ на ихъ счетъ, пришелъ безъ гроша и ни гроша не добылъ. Я занималъ положеніе дамы среди общества мужчинъ, и мнѣ оказывали деликатность какъ дамѣ: уступали лучшій кусокъ въ небольшой трапезѣ, давали удобнѣе мѣсто и сидѣть и спать.

Наступилъ какой-то праздникъ и свободный вечеръ; открылось новое удовольствіе. Противъ нашего дома была фабрика (помѣщавшаяся на нашемъ дворѣ, стояла, кажется, безъ работы). Фабричные высыпали съ пѣснями и гармониками. Женскій полъ былъ въ ихъ числѣ, и Перервенецъ не упустилъ свести съ нѣкоторыми знакомства; онъ считался ходокомъ по женской части и мастеромъ на любезности, предъ которыми склоняется кухарка или фабричная работница. Сожителямъ онъ предложилъ ввести ихъ въ открытое имъ общество. Повлекли и меня. Обширный дворъ; на немъ водятъ хороводы; въ другихъ мѣстахъ ходятъ парами или маленькими кучками; нѣкоторые веселятся въ одиночку. Есть и совсѣмъ не принимающіе участія въ весельѣ: задумчиво ходитъ или сидитъ; забота должна быть какая на душѣ. Рядомъ съ воротами у забора длинная лавка, образованная изъ досокъ, положенныхъ

на камни. Здѣсь сидятъ нѣсколько фабричныхъ дѣвицъ, и среди нихъ Перервенецъ, потѣшающій ихъ разсказами. Онъ покатываются со смѣху. Онъ беретъ гармоникку, играетъ, поетъ и пляшетъ, передразнивая поющихъ и пляшущихъ среди двора, измѣняя голосъ, карикатура лицомъ, преувеличенно кривляясь станомъ. Другіе изъ нашихъ подсѣли и завели отдѣльный разговоръ, каждый съ одною или двумя. Съѣлъ и я, но не зналъ что предпринять. Мнѣ оставлена дѣвица съ глупымъ лицомъ и непривлекательною наружностью. И всѣ-то онѣ, правду сказать, были некрасивы; а эта, сидѣвшая съ краю, показалась мнѣ даже совсѣмъ безобразною. Но она пришлась мнѣ сосѣдкою. Я чувствовалъ себя въ глупомъ положеніи. На паясничество, которымъ потѣшалъ Перервенецъ, я былъ неспособенъ; еще менѣе имѣлъ способности и склонности начинать романъ прямо прозаическимъ концомъ, какъ повидимому рѣшили прочіе изъ пришедшихъ сюда сожителей. Молчать находилъ неловкимъ, выжидать вопроса тоже. Не думаю, чтобы моя сосѣдка была довольна вопросами любознательности, на которые одинъ я и оказывался способнымъ: Откуда? Какъ зовутъ? Давно ли на фабрикѣ? Много ли васъ изъ одной деревни? Сколько народа всегда на фабрикѣ? Какая работа? Тяжело или легко?

Смерклось, кончился хороводъ, разбредаются отдѣльныя кучки и пары. „Ну, дѣвки, пора!“ восклицаетъ и на нашей лавкѣ одна, болѣе другихъ бойкая. „Пора!“ вторятъ другія и поднимаются съ лавки. Я отправился домой, пришли и другіе, за исключеніемъ Перервенца. Онъ увлекъ какую-то далѣе предѣловъ, допускаемыхъ дѣвичьимъ цѣломудріемъ, и хвалился потомъ своею побѣдой.

Тяжело мнѣ было провести полтора мѣсяца въ такой обстановкѣ. Заниматься не было возможности. Въ добавокъ у меня не было даже поллиста бумаги. А приближались экзамены; требовалось усиленное приготовленіе. Пусть оно меня и не тяготило: я пробѣгалъ

приходя въ классъ, что мнѣ было нужно. Но не было угла, гдѣ бы уединиться и спокойно заняться. Я сталъ бѣгать. Выручалъ отчасти Лавровъ, неизмѣнно приглашавшій въ трактиръ. Я перебиралъ въ умѣ всѣхъ родныхъ и знакомыхъ, къ которымъ бы могъ зайти. У Смирновыхъ былъ чаще обыкновеннаго. Отыскалъ и еще двоюродныхъ сестеръ, дочерей дьячка отъ Іакова Апостола въ Казенной, того батюшкина свояка, который навезъ въ Коломну гостей въ 1812 году. Обѣ его дочери оказались при томъ же приходѣ, одна за дьячкомъ, другая за пономаремъ; у одной сынъ сверстникъ мнѣ по семинаріи, хотя въ другомъ отдѣленіи. Хаживалъ я и сюда и даже ночевалъ разъ; хаживалъ я и къ зятю Лаврова, дьякону, тому самому который рекомендовалъ мнѣ урокъ у купца. Но ограниченъ былъ кругъ моего знакомства, времени оставалось пропасть, и я не зналъ, куда съ нимъ дѣваться. Входилъ по неволѣ и въ нѣкоторые интересы моихъ сожителей, тѣ по крайней мѣрѣ, которые были почище. Не смотря на всю грязь, въ которую были они погружены, у нихъ сохранялась артистическая жилка; они цѣнили пѣніе не только какъ ремесло, но и какъ искусство. Три или четыре службы выслушалъ я по ихъ рекомендаціи, нѣсколько—исполненныхъ Прокофьевскимъ хоромъ, въ которомъ они состояли. Какое-то *Тебе Бога хвалимъ* они считали своимъ совершенствомъ и приглашали послушать. Я былъ, видѣлъ въ полномъ сборѣ весь хоръ, смотрѣлъ какъ самъ Прокофій, сѣдой старикъ съ черною повязкой на лбу, постоянно имъ носимою, одушевленно дирижировалъ, размахивая руками; слышалъ хваленыхъ солистовъ, но живаго впечатлѣнія во мнѣ не осталось.

Другой разъ мы цѣлою гурьбой ходили слушать Чудовской хоръ въ полномъ сборѣ. Онъ уже былъ подъ управленіемъ Багрецова, и тогда только что явилось его извѣстное *Нынѣ отпущаеши* съ диссонансами. Мои пѣвчіе были въ восторгѣ и признавали, что такая пѣса по силамъ только Багрецову и только Чудовскому хору.

Случай выслушать знаменитое произведеніе, достойнымъ образомъ исполненное, представился скоро: Чудовскіе должны были полнымъ хоромъ пѣть всенощную у Алексѣя митрополита въ Рогожской. Церковь была набита биткомъ, когда мы прибыли. Надобно было протискиваться, чтобы стать ближе къ клиросу. Пѣніе было дѣйствительно мастерское, самая же пьеса извѣстна; она, кажется, исполняется и доселѣ. О впечатлѣніи, произведенномъ на предстоящихъ, можно судить изъ того, что немедленно послѣ того какъ замерли послѣдніе звуки, кто-то чисто одѣтый, но изъ купцовъ повидимому, потянулся къ клиросу, поманилъ пѣвчаго ли, самого ли регента и сунулъ ему въ руку десятирублевую кредитку. Это было своего рода рукоплесканіемъ. Еслибы не храмъ, и раздались бы рукоплесканія. Да *Нынѣ отпущаеши* Багрецова и по духу таково, что ему приличнѣе быть исполняемымъ въ концертной залѣ, а не въ храмѣ.

XLIX.

Послѣдняя вакація.

Я не зналъ, какъ вырваться изъ оута, въ который попалъ. Подобно тому какъ два года назадъ, немедленно послѣ отвѣта на публичномъ экзаменѣ, не дождавшись и конца экзаменной церемоніи, я направился въ Рогожскую; забѣжалъ лишь на минуту въ свою конуру, чтобъ накинуть на себя свою жандармскую шинель. Весь прочій скарбъ я тамъ оставилъ въ предположеніи, что вернусь послѣ вакаціи. Однако я не вернулся, да и квартира была брошена; общежитіе въ мое отсутствіе разрушилось, и сожители разсѣялись; старшій изъ нихъ, Егоръ Павловичъ, поступилъ куда-то на дьяконское мѣсто.

Вакацію, проведенную затѣмъ на родинѣ, я называлъ въ заголовкѣ „послѣднею;“ столь же основательно назвать ее и первою. Это была первая и послѣдняя вакація въ тѣсномъ смыслѣ слова,—единственный въполнѣ гулевыя шесть недѣль, проведенныя въ теченіе четырехъ, пожалуй и шести прошлыхъ лѣтъ. Ни одни каникулы доселѣ не разлучали меня съ дѣломъ; я или читалъ или писалъ, учился не смотря на прекращеніе учебныхъ часовъ; жилъ постоянно въ себѣ, спускаясь и выходя во внѣшній міръ по неизбѣжности ѣсть, пить, вести разговоръ со встрѣченнымъ лицомъ, или по собственному побужденію отдохнуть на прогулкѣ, при чемъ однако умъ не оставался празднымъ. Но эти шесть недѣль вышли полными *недѣлями*, то-есть бездѣльными. Три года уже какъ выдана средняя сестра замужъ за дьякона въ той же Коломнѣ. Зять Петръ Григорьевичъ былъ прекрасной души человѣкъ, заботливый, внимательный и необыкновенно ровнаго характера. Чета жила душа въ душу, и гармонія тѣмъ была полнѣе, что зять хотя и кончилъ курсъ семинаріи, но въ третьемъ разрядѣ и былъ сынъ сельскаго дьячка, притомъ Вишневецъ; сестра же была городская поповна, и притомъ окунавшаяся въ книги: въ дѣвицахъ она почитывала; умственное развитіе одного не превосходило надъ развитіемъ другаго, хотя пройденные пути были различны, и духовный запасъ у cadaго былъ въ своемъ родѣ. На меня пахло тѣмъ семейнымъ счастьемъ, котораго я не признавалъ доселѣ. Тогда я не созналъ этого, но душѣ было тепло, уютно, когда я бывалъ у Богословскихъ; такъ называли мы зятнинъ домъ по церкви Іоанна Богослова, гдѣ зять былъ дьякономъ.

Я поморщился три года назадъ, когда узналъ, что сестра выдана за „третьеразряднаго“; съ понятіемъ о третьемъ разрядѣ связывалось понятіе о буйствѣ и пьянствѣ. Традиціонное сердоболіе семинарскихъ начальниковъ никого не спускало ниже втораго разряда за простую малоуспѣшность, развѣ проходилъ случайно до Бо-

гословія совершенный уже идіотъ или протаскивался пѣвчій, не стоившій перевода даже въ Риторику. Къ утѣшенію узналъ я потомъ, что зять, шедшій во второмъ разрядѣ, сведенъ въ третій къ самому окончанію курса, по недоразумѣнію, въ слѣдствіе какой-то дѣйствительно буйной исторіи, но въ которой онъ былъ побочнымъ, невиннымъ соучастникомъ. Меня коробило сначала и то, что зять, по окончаніи курса, зарабатывалъ себѣ хлѣбъ въ частномъ хорѣ (Табачникова). Возбуждалось также подозрѣніе о поведеніи. Однако, не смотря на свой басъ, не смотря на пребываніе въ частномъ хорѣ, Петръ Григорьевичъ не опустился, и женитьба на моей сестрѣ была вѣроятно изъ числа причинъ, предохранявшихъ его отъ наклонной плоскости, по которой катятся другіе въ подобныхъ обстоятельствахъ. Сестра носила въ себѣ идеалъ благовоспитанности: это была ея даже болѣзнь, какъ и общая наша—молодаго поколѣнія Никитскихъ, о чемъ я пояснялъ въ одной изъ прежнихъ главъ. Она поставила домъ свой на другую ногу, нежели у консервативнаго отца. Здѣсь былъ урочный чай утромъ и вечеромъ. Пивали даже кофе, не настоящій правда, а цикорный; настоящаго кофе я лично вкусилъ уже на 19 году жизни. Но все же и то былъ кофе. Заведены знакомства. Домъ не былъ монастыремъ, какъ у Никиты мученика, куда никто не заглядывалъ и откуда въ гости никому не ходять. Товарищъ по семинаріи, а вмѣстѣ и односелецъ—столоничальникъ уѣзднаго суда, и молодой дьяконъ изъ другаго прихода, доводившійся товарищемъ зятю по званію и должности, а мнѣ товарищемъ по семинаріи: таково между прочимъ было знакомство. Кромѣ того, домъ зятя стоялъ на большой проѣздной улицѣ, и мѣстоположеніе обращало его въ гостинницу своего рода. Родственники и знакомые изъ сель, въ томъ числѣ и братъ Сергѣй, не миновали Богословскихъ при пріѣздахъ въ городъ; происходилъ обмѣнъ новостей. Словомъ, проводилось время въ мирной живости, хотя не безъ нужды. Но и докучливую нужду

отгоняло одно счастливое обстоятельство. Бойкое мѣсто, на которомъ стоялъ домъ, обращало его въ доходную статью. Онъ былъ небольшой, ветхій, но каменный и притомъ двухэтажный; о бокъ съ нимъ еще табачная лавочка, принадлежавшая зятю. Половина верхняго этажа отдавалась жильцамъ, табачная лавочка приносила доходъ сама собою; но главнымъ источникомъ дохода былъ нижній этажъ, гдѣ помѣщалась овощная лавка и въ ней лавочникъ Климъ или „Климанъ“, какъ его называли, тутъ же квартировавшій. Лавка Климана только называлась лавкой; это былъ цѣлый магазинъ, почти складъ. Климанъ жилъ сѣро, происходилъ изъ мужиковъ, но торговалъ шибко и былъ богатъ; считали, что у него побольше ста тысячъ. Богатство доставила ему, при скромной жизни, лавка, а лавкѣ—ея выгодное, ни съ чѣмъ не сравнимое мѣстоположеніе на главной проѣздной улицѣ, притомъ же рядомъ съ площадью. Климанъ дорожилъ поэтому своею квартирой, а зять находилъ въ лавкѣ Климана, а иногда и въ кошелькѣ, не оскудѣвавшій запасъ для удовлетворенія хозяйственныхъ нуждъ. Съ пособіемъ Климана Петръ Григорьевичъ выстроилъ потомъ на мѣстѣ стараго каменнаго новый обширный домъ съ каменнымъ низомъ, по Коломнѣ даже роскошный.

Два года назадъ, по пріѣздѣ изъ своего бѣгства, я считался еще на линіи полу-мальчика, и жизнь „Богословскихъ“ еще не развернулась вполнѣ. Хаживалъ я къ нимъ тогда часто, но сидѣлъ и у Никиты Мученика за книгами, сочиненіемъ исторической повѣсти и веденіемъ дневника. Теперь же пріѣхалъ завтрашнимъ „богословомъ“; другой въ моемъ положеніи считался бы уже женихомъ. Сидѣвшій со мной годъ назадъ на ученической скамьѣ, теперь дьяконъ здѣшней Спасской церкви—отецъ семейства, „самъ“. Въ глазахъ другихъ я оказывался тоже „самъ“; признаніе моей самости сказывалось и въ обращеніи со мной, а мое первенство по семинаріи накидывало на меня еще особое сіяніе. Какая

противоположность со сценою изгнанія, послѣдовавшею мѣсяцъ назадъ! Какая противоположность со вчерашнимъ днемъ, когда я былъ „за даму“ среди своихъ сожителей по конурѣ въ Сыромятникахъ! Ко мнѣ были теперь внимательны, предупредительны; но то было не сострадательнымъ уже снисхожденіемъ къ моей женственной слабости, а почтеніемъ къ моему положенію. Спасскій дьяконъ явился къ Петру Григорьевичу со спеціальною просьбой, чтобъ я оказалъ честь и пожаловалъ навѣстить стараго товарища. Одновременно со мной гостилъ у Петра Григорьевича его родной братъ, только что кончившій Виѣанскую семинарію, а Спасскаго дьякона навѣщалъ пріѣхавшій, одного со мною класса, родственникъ его, гостившій въ Коломнѣ у другаго родственника. Протопоповъ былъ тоже Виѣанецъ, хотя къ удивленію былъ сынъ московскаго священника; почему онъ попалъ въ Виѣанскую, а не въ Московскую семинарію, осталось мнѣ неизвѣстнымъ. Протопоповъ считалъ знакомство со мной также за честь себѣ, изъ уваженія къ моему семинарскому положенію. Онъ учился не ахти и должно быть сгинулъ въ послѣдствіи; а Иванъ Григорьевичъ, братъ зятя, и совсѣмъ погибъ. Женился, получилъ священническое мѣсто, взялъ за себя сельскую кувалду и запилъ; его послали во дьячки, и умеръ онъ потомъ отъ невольности. Товарищъ-дьяконъ тоже, какъ я слышалъ, запилъ потомъ, а задатковъ къ тому повидимому не было въ первые года дьяконства. Такова-то сила обстановки, и отсюда-то вывожу заключеніе, что Петръ Григорьевичъ сохранился благодаря женѣ между прочимъ. Условія происхожденія и учебнаго курса намѣчали судьбу брата Ивана; условія служебнаго положенія влекли по дорогѣ Спасскаго дьякона.

Мы совершали прогулки, малыя и большія, отправлялись на рыбную ловлю, ходили по гостямъ, принимали гостей и по свободнымъ вечерамъ играли въ вистъ, разумѣется, безъ денегъ, изъ одного удовольствія; выучили и меня тогда этой игрѣ. Не могу безъ улыбки

вспомнить, что разъ отправлялся я даже на охоту съ ружьемъ. У батюшки было ружье, откуда-то доставшееся въ древнія времена, съ суконною подушечкой на прикладѣ. Оно бывало въ рукахъ моихъ, и я частенько стрѣливалъ еще въ дѣтствѣ, упражняясь впрочемъ больше надъ воробьями, галками, а главное надъ вороньимъ, постоянно каркавшимъ съ креста колокольни. Охота по галкамъ и воробьямъ бывала удачна, но досадный воронъ такъ и не далъ себя застрѣлить, не смотря на все пламенное мое желаніе заткнуть ему глотку и сшибить. И ружье-то было плохое, да и зарядъ должно быть бывалъ слабъ; въ наилучшемъ случаѣ посыплются перышки, взлетитъ на короткое время, а потомъ снова сядетъ каркать свое однообразное призываніе. На этотъ разъ мы отправились вчетверомъ: я, братъ Петра Григорьевича, Протопоповъ и Егоръ дьячекъ отъ Никиты Мученика, молодой парень, лѣтъ на шесть старше меня. Добро бы идти засвѣтло на рѣку по куликамъ, а то ночью, въ лѣсъ, съ единственнымъ ружьемъ и притомъ безъ собаки. Но мы надѣялись пристрѣлить какого-нибудь звѣря. Разумѣется, возвратились ни съ чѣмъ изъ своего Донкихотскаго путешествія, разрядивъ ружье на воздухъ. Но прогулка все-таки была веселая.

Младшая сестра моя была красавица; на нее засматривались, и это обстоятельство послужило поводомъ къ особенному, впрочемъ скоротечному знакомству. Одинъ изъ преслѣдователей, письмоводитель городническаго правленія, лишенный всякихъ вѣроятностей успѣха уже потому, что былъ женатъ, искалъ случая хотя познакомиться съ Богословскими, войти въ домъ, гдѣ сестра часто бывала. Поползновеніе къ этому было отклонено; онъ попросилъ тогда Протопопова, съ которымъ свелъ трактирную дружбу, познакомить его со мною. Зазвалъ меня Протопоповъ въ трактиръ; здѣсь сильно они кутили, упросили и меня выпить рюмки двѣ какого-то вина. Въ довершеніе Петръ Петровичъ (такъ звали моего нечаяннаго знакомаго) затащилъ къ себѣ въ домъ.

Была уже глубокая ночь. Квартира очень приличная; просторная гостиная съ хорошею мебелью. Но поведение хозяина напомнило мнѣ ночи въ Покровскомъ, въ усиленномъ видѣ. Петръ Петровичъ не бурлилъ, а буживалъ, билъ бутылки, бросалъ стулья, съ аккомпаниментомъ гитары оралъ во все горло: „Ты не повѣришь“, пошлый романсъ, бывшій тогда въ ходу. Въ своихъ выкрикиваніяхъ, въ импровизаціяхъ, которыя вставлялъ въ текстъ пѣсни, онъ посылалъ намеки по направленію ко мнѣ и къ моей сестрѣ. Съ негодованіемъ выслушивалъ я пьяныя полупризнанія и особенно отвратительно мнѣ стало, когда на просьбу прислуги „успокоиться и не тревожить барыню и дѣтей“, послѣдовало ругательство въ такомъ смыслѣ, что де пускай хоть издохнуть, поскорѣй дадутъ мнѣ свободу.

Удостоился и я нѣжнаго вниманія. У зятя квартировалъ калмыкъ - купецъ; онъ впрочемъ не торговалъ; жилъ вѣроятно доходами. Говорили, что онъ сосланъ въ Коломну за смертоубійство, учиненное въ кулачномъ бою, не только безъ умысла, но и не по собственному почину. Графъ Алексѣй Григорьевичъ Орловъ вызывалъ къ себѣ бойцовъ и борцовъ драться и бороться съ собою и при себѣ; къ числу ихъ принадлежалъ калмыкъ и слишкомъ неосторожно показалъ свое искусство, убивъ какого-то соперника наповалъ кулакомъ. Кулачный бой остался навсегда его страстію; онъ дрожалъ отъ вожделѣнія принять участіе, когда видѣлъ разгаръ боя; нужно было уводить его, чтобы не подвергать его несчастію вторичнаго смертоубійства.

Самъ калмыкъ былъ нелюдимъ, но наши познакомились съ его семействомъ, состоявшимъ изъ жены и трехъ дочерей дѣвицъ. Старшей было за двадцать; было ли средней двадцать, не умѣю опредѣлить, а младшей лѣтъ шестнадцать. Старшая и младшая носили калмыцкій отпечатокъ, что не мѣшало младшей быть очень красивою. Не менѣе красива была и средняя, но калмыцкаго въ ней не было тѣни. Иванъ Григорьевичъ,

братъ зятя, ухаживалъ за красавицами, за которою и какими способами, не вспомню, да и не интересовало тогда; я выслушивалъ отъ него только отзывъ о привлекательности калмычекъ, замѣчанія о подмѣченныхъ знакахъ вниманія и шутки надъ нимъ зятя, объяснявшаго, что еще когда онъ былъ въ училищѣ, восемь лѣтъ тому назадъ, на старшую сестру зарились; она была и тогда невѣстой, а стало-быть теперь уже совсѣмъ перерѣлая дѣва.

Я съ дѣвками встрѣчался ежедневно и не по одному разу въ день. Входъ въ оба жилья верхняго этажа былъ общій. Неоднократно пивали чай вмѣстѣ; я присутствовалъ при варкѣ варенья, которая производима была поочередно то сестрой, то жилицами. Случались долгія прогулки по вечерамъ, общія обѣихъ семей. Самъ я никогда не заговаривалъ ни съ одной; но меня вызывали на разговоръ, спрашивали и сами съ разсказами обращались ко мнѣ. Иванъ Григорьевичъ объяснилъ мнѣ, что я имѣю большой успѣхъ у сестеръ, у средней преимущественно. Со смѣхомъ принялъ я это извѣстіе; отвѣтилъ, что это ему показалось, и дѣйствительно былъ въ томъ увѣренъ. Но не далѣе какъ на другой день произошелъ случай, поставившій меня въ тупикъ, а на канунъ отъѣзда моего другой, совсѣмъ меня поразившій. Вхожу я по лѣстницѣ; на встрѣчу спускается средняя изъ сестеръ. Она идетъ своею лѣвою стороною, я своею, стараясь по чувству приличія держаться ближе къ стѣнѣ. Только что мы поравнялись, вдругъ, не знаю какимъ образомъ, оказывается моя рука въ ея рукѣ, совершенно мерзлой, такъ она холодна была, и я слышу дрожащій голосъ: „ахъ, пустите меня“. Я не могъ опомниться, не находилъ ни слова, прошелъ далѣе, и она спустилась далѣе. Происшествіе было такъ странно, такъ самому мнѣ невѣроятно, что я не рѣшался о томъ сказать даже Ивану Григорьевичу, не смотря на его продолжавшійся бредъ о калмычкахъ. Я готовъ былъ спросить себя, не приснилось ли мнѣ на яву, тѣмъ болѣе

что дальнѣйшая встрѣча, разговоръ, прогулки не напоминали ничѣмъ о сценѣ на лѣстницѣ.

Наступилъ день отъѣзда. Канунъ я весь провелъ у Богословскихъ. Среди дня прохожу сѣнями, собираясь въ садъ ли выйти, на улицу ли. Дверь въ перегородкѣ, отдѣляющей нашу половину отъ жильцовской, пріотворяется. Проглядываетъ головка; меня окликаютъ, я подхожу. „Вы ѣдете?“—„Да, ѣду, завтра.“ „Что же такъ скоро? Объ васъ здѣсь будутъ скучать. Оставайтесь“.—„Нельзя; что же дѣлать, надо.“—„Ну прощайте“, и въ ту же минуту ринулась она ко мнѣ и поцѣловала меня въ губы. Какъ холодны были руки ея во время известной остановки на лѣстницѣ, такъ горячи теперь были ея губы; это былъ огонь.

Тѣмъ кончились наши встрѣчи и разговоры. Чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ, когда я пріѣхалъ въ Коломну на болѣе краткую побывку, я видѣлъ увлекшуюся дѣвушку. Съ сестрами приходила она къ Богословскимъ на другой же день послѣ моего пріѣзда, хотя калмыкъ жилъ даже на другой квартирѣ. Очевидно она меня не забыла.

Съ этой стороны я вообще былъ неуязвимъ, и ничто меня такъ не возмущало, ничто не возбуждало столь сильнаго негодованія какъ подозрѣнія брата: иногда отъ него слышалось, что я будто ухаживаю за крылошанками. Никогда ни малѣйшій помыселъ не увлекалъ меня противъ цѣломудрія; никогда въ отдаленнѣйшихъ мечтахъ не грезились мнѣ любовныя похождения. Читая объ нихъ въ романахъ, я вѣрилъ имъ только на половину, признавая въ нихъ отчасти украшенное скотоподобіе или напыщенное описаніе чувства человѣческаго, но по моему представленію—непремѣнно болѣе тихаго, нежели описывается. Опьянѣть отъ любовной страсти казалось мнѣ прямо невѣроятностію. Муція Сцеволу, Стефана Первомученика, Галилея я понималъ, но Вертера отказывался признать, а тѣмъ болѣе уважать его или сочувствовать ему.

Не умолчу о поступкѣ, навлекшемъ на меня гнѣвъ брата и дѣйствительно, какъ подумаю теперь, непростительномъ. Въ меня *влюбилась* кухарка. Слово это пошло и пожалуй не соотвѣтствуетъ дѣлу, но другаго не приберу. Она осыпала меня въ глаза восторженными похвалами, настолько прозрачными, что я при всемъ тогдашнемъ углубленіи въ себя и далекости отъ игривыхъ помысловъ не могъ не понять состоянія жалкой женщины. Во мнѣ возбудилось любопытство; вмѣсто того чтобы осадить сразу, я молчалъ и сохранялъ выжидательное положеніе. Дошло до того, что разъ я слышу: „вы должны быть такъ крѣпко спите, что около васъ что ни дѣлай, вы не услышите?“—„Не знаю, отвѣчалъ я, а кажется, дѣйствительно я крѣпко сплю“.—„А вотъ я попробую“.—„Попробуй“. Какъ сообразилъ я потомъ, это было ни болѣе ни менѣе какъ предложеніемъ ночнаго свиданія, и дѣйствительно, чуть ли не въ ту же ночь среди сна слышу я прикосновеніе чьей-то руки къ моей рукѣ. Я мгновенно проснулся какъ ужаленный; негодование, омерзѣніе, я не знаю какъ и назвать это чувство, закипѣло въ мнѣ. „Прочь! прочь! пошла вонъ!“ закричалъ я, насколько позволяла ночная тишина.

Я тогда велъ дневникъ. По очень дурной привычкѣ, которую братъ къ удивленію не останавливалъ, дѣти безпрепятственно рылись въ моихъ бумагахъ, нашли дневникъ и поднесли родителю. Братъ не воспиталъ въ себѣ той деликатности, чтобы воздержаться отъ чтенія чужихъ бумагъ; вмѣсто того чтобы прикрикнуть на ребятъ и запретить впредь низкое подглядываніе и подслушиваніе, онъ взялъ дневникъ, прочелъ и даже, сколько я могъ замѣтить потомъ, читалъ другимъ. Очень возможно даже, что чтеніе производилось постоянно, и мнѣ потомъ снова подкладывали тетрадь. Но роль тайнаго соглядатая не была додержана. Когда занесена была въ дневникъ исторія съ кухаркой, братъ призвалъ меня, объяснилъ гадость моего пассивнаго, какъ бы изволяшаго отношенія, всю безразличность моихъ выра-

женій, неоднократно повторявшихся въ дневникѣ: „ожидаю, что будетъ дальше“ или: „посмотрю, что дальше“.

Удивительна мнѣ теперь эта нравственная неразвитость брата, возмущившагося тѣмъ, что молодой человѣкъ любопытствуетъ касательно развитія страсти, имъ (невольно) внушенной, и не считавшаго въ то же время предосудительнымъ шпионить за исповѣдью, которую излагаетъ другой о самомъ себѣ самому себѣ. Ему не въ догадъ было, что наушничество, до котораго унизился онъ самъ и къ которому поощрялъ дѣтей, гаже психологическаго наблюденія, которое дозволилъ я себѣ. Я вознегодовалъ на нескромное обслѣдованіе моихъ душевныхъ тайнъ; я пылалъ гнѣвомъ, и нравовѣченіе пропало тогда для меня, заслоненныя возмутительностію инквизиторства, котораго я былъ жертвой. Но я вспомнилъ объ этомъ эпизодѣ своей жизни послѣ, лѣтъ семь спустя, когда читалъ мемуары Фесслера, перваго профессора философіи, выписаннаго въ Петербургскую Духовную Академію. Поступокъ Фесслера былъ и совсѣмъ мерзокъ: онъ производилъ эксперименты надъ женой, возбуждая намѣренно въ ней страсть, которую оставлялъ безъ успокоенія. Эта отвратительная пытка, достойная воспитанника іезуитовъ, какимъ былъ Фесслеръ, напомнила мнѣ и о моемъ: „посмотрю, что будетъ дальше“. Мои наблюденія были безъ сравненія невинныѣ. Однако, сказалъ я самъ себѣ, и ты семь лѣтъ назадъ поступалъ не хорошо, и нравовѣченіе брата было справедливо. Твой поступокъ и поступокъ Фесслера различаются только въ степени, а качества они того же. Играть чувствами и слабостями другаго, а тѣмъ болѣе увлекающаго лично тобою—подло, если судить по кодексу даже языческой нравственности, не говоря уже о христіанской.

L.

Богословскій класъ.

Пока я находился въ изгнаніи и праздновалъ послѣднюю вакацію, исполнилось предсказаніе Татьяны Ѳедоровны: братъ получилъ священническое мѣсто въ Ново-Дѣвичьемъ монастырѣ. Извѣщая родителя о своей радости, онъ приглашалъ между прочимъ и меня вернуться. Я послѣдовалъ зову. Опять ни слова о прошедшемъ. Я встрѣченъ дружескимъ разговоромъ объ исторіи посвященія. „Не помяни, владыко, грѣховъ моей юности и невѣдѣнія“, произнесъ новопосвященный, благодаря митрополита за свое возвышеніе. Грѣхами или, точнѣе сказать, единственнымъ „грѣхомъ юности“ брата былъ необузданный языкъ, при независимомъ характерѣ. До митрополита доходили слухи, и вотъ почему Гиляровъ Дѣвичьяго монастыря не получалъ повышенія, хотя въ порядкѣ священноначалія и заслуживалъ бы. Три года назадъ на подобную же священническую вакансію въ Дѣвичьемъ монастырѣ опредѣленъ былъ сверстникъ и сослуживецъ брата, другой діаконъ, изъ второразрядныхъ учениковъ и не безукоризненной жизни. Но за нимъ не было грѣха излишней прямоты. Безсильны были ходатайства и шурина братнина, Геннадія Ѳедоровича Островскаго, доводившагося въ близкомъ свойствѣ митрополиту и пользовавшагося его благоволеніемъ. „Онъ дерзокъ, въ немъ нѣтъ смиренія, самомнителенъ:“ таковъ былъ отвѣтъ митрополита. Съ этими недостатками однако такъ и въ могилу сошелъ братъ, и доля его мало украсилась даже съ возвышеніемъ во священники. Жизнь незазорная во всѣхъ отношеніяхъ, исправное священнослуженіе, неутомимое проповѣданіе Слова Божія, не снискало ему отличій. Напротивъ, за рѣзкое слово, сказанное кому-то изъ князей Гагариныхъ

по случаю какой-то излишней требовательности отъ дѣвичьескаго духовенства, братъ спустя немного лѣтъ выведенъ былъ изъ Дѣвичьяго монастыря къ бѣдной церкви Воздвиженья-на-Овражкахъ, а оттуда, не имѣя средствъ купить священническій домъ, самъ перепро-сился въ приходъ Св. Владиміра, еще болѣе убогій, но гдѣ по крайней мѣрѣ квартира была церковная. Тамъ и скончался онъ среди нужды, въ числѣ самыхъ зауряд-ныхъ священниковъ, обогнанный по службѣ посред-ственностями и ничтожествами, часто полуграмотными, въ жизнь не написавшими проповѣди, иногда пристра-стными и къ рюмкѣ, и къ картамъ, но умѣвшими блю-сти свой языкъ.

На этотъ разъ я замѣтилъ въ домѣ брата относитель-ное довольство, между прочимъ въ видѣ третьяго блю-да, являвшагося иногда даже по буднямъ. Но въ общемъ образъ жизни не измѣнился и обращеніе со мной оста-лось такимъ же равнодушнымъ, хотя я перешелъ въ богословскій классъ, гдѣ ходъ занятій повидимому дол-женъ бы возбуждать въ братѣ болѣе любопытства по крайней мѣрѣ.

А въ семинарскомъ положеніи моемъ произошла су-щественная перемѣна: я перешелъ грань самую рѣзкую; выражаясь по нынѣшнему, кончилъ общее образованіе и поступалъ на курсъ спеціальный, факультетскій. Такъ смотрѣли въ старину на „богослововъ“, хотя новая се-минарская программа продольнымъ разрѣзомъ курса и перестала соответствовать укоренившемуся воззрѣнію. Но программа программой, а преданіе преданіемъ. Ну-жды нѣтъ, что богословскія науки были введены въ низ-шіе классы, а классъ, числившійся прежде богословскимъ, былъ обремененъ такими науками какъ сельское хозяй-ство и медицина: и профессора и ученики въ мысляхъ отдѣляли богословскій классъ отъ остальныхъ, какъ от-личный не степенью, а качествомъ знаній. Мѣшать на-уку съ откровеніемъ, по ихъ мнѣнію, не слѣдовало.

Отдамъ должное старой школѣ: ея христіанскія вѣро-

ванія были глубоко искренни, и отсюда истекало мнѣніе, что все общее образованіе должно служить только подготовкой къ принятію откровеннаго ученія и такою притомъ подготовкой, которая, на основаніи собственныхъ данныхъ естественнаго знанія, приведетъ къ исканію высшаго просвѣщенія въ откровеніи. На этомъ-то основаніи въ низшихъ классахъ о богословскихъ знаніяхъ не заботились: изученію Слова Божія и богопреданнаго культа мѣста не давалось. Если бы риторъ или философъ стараго времени въ своемъ ученическомъ упражненіи вздумалъ подтвердить какое-нибудь положеніе изреченіемъ Священнаго Писанія, онъ получилъ бы дурную отмѣтку. „Твое дѣло доказать отъ разума и опыта“: такъ разсуждали тогда, въ твердой вѣрѣ что самостоятельныя изслѣдованія разума и не предубѣжденный опытъ не могутъ не привести къ убѣжденію въ необходимости Откровенія. Богословіе въ свою очередь предполагалось ученіемъ цѣльнымъ, не раздробленнымъ, и оттого хотя „Гомилетика“ или ученіе о проповѣданіи Слова Божія значилась въ курсѣ особою наукой и, кажется, преподавалась, профессоръ богословія, онъ же и ректоръ, первымъ дѣломъ училъ насъ, среди уроковъ богословія, искусству проповѣданія.

Я сказалъ: кажется, преподавалась. Да, „кажется“; ее преподавалъ тотъ Алкита или Вахлюхтеръ, который два года назадъ поступилъ было на преподаваніе философскихъ наукъ. Но дѣйствительно ли слушали мы уроки Гомилетики или Каноническаго Права и Церковной Археологіи, этого память мнѣ не сохранила; только о „Патристикѣ“ я твердо убѣжденъ, что изъ нея уроки были задаваемы. Это означало, что если и преподавались „разныя“ побочныя богословскія науки, то ими никто не занимался, и молчаливымъ единогласіемъ онѣ признавались за дѣтища, самовольно отлучившіяся отъ родителя. Значилось въ программѣ; пускай значитъ, но курсъ шелъ по старому, лишь нѣсколько ослабленный. Богословіе посократилось, ограничившись догматиче-

скимъ и нравственнымъ съ пастырскимъ, тогда какъ не только Гомилетика и Герменевтика, но и Каноника съ Литургикой должны бы войти въ него, по старымъ понятіямъ. Изъ богословія выдѣлялась только церковная исторія въ тѣсномъ смыслѣ; самостоятельность ея содержанія признавалась.

Въ мое время, сверхъ Богословія требовали вниманія еще уроки по истолкованію Священнаго Писанія, но причина была внѣшняя: преподавателемъ состоялъ инспекторъ семинаріи. Съ новою программой совершилось это перемѣщеніе инспектора. Дотогдѣ инспекторы неизмѣнно преподавали философію, подобно какъ префекты въ Славяно-Греко-Латинской академіи, которыхъ они замѣстили. Въ тѣ древнія времена учащіе вмѣстѣ съ учениками подвигались по той же лѣстницѣ. Начиная съ низшаго класса, преподаватель со своими учительскими обязанностями переходилъ въ дальнѣйшіе, пока достигалъ философіи, съ чѣмъ соединялось званіе префекта; изъ префектовъ поступали въ ректоры и тѣмъ самымъ въ преподаватели Богословія. Сказывалось господство все того же воззрѣнія, что наука есть подготовка къ вѣрѣ и философія—дверь въ богословіе. Тогдашнее преобразование не вникло въ эту идею, перекроило науки и вмѣсто внутренняго порядка усвоило внѣшній. Когда классы перестали быть стадіями развитія, терялось основаніе инспектору руководить непосредственнымъ преддверіемъ въ богословіе. Отсюда переводъ его въ богословскій классъ и каѳедра Священнаго Писанія, ближайшая къ наукѣ, преподаваемой ректоромъ и личная инспектору какъ монаху.

Толкователь Священнаго Писанія не пользовался однако нашимъ уваженіемъ какъ профессоръ, хотя его любили какъ инспектора. Онъ былъ не строгъ; можно было даже обезоруживать его начальническое неудовольствіе средствомъ, впрочемъ, оригинальнымъ — разсмѣшивъ его. У насъ находился даже спеціалистъ для этого. Какъ бы ни велика была шалость, но если въ ней

съ другими участвовалъ Павелъ Воскресенскій, все сойдесть съ рукъ. Воскресенскій бралъ иногда на себя вину въ проступкѣ, котораго даже не совершалъ. Но пойдеть къ инспектору, начнетъ резонировать, даже за панибрата усовѣщивать, какъ де не стыдно на пустяки обращать вниманіе; притворнымъ видомъ простодушія заставить хохотать инспектора, вызвавъ на разговоръ, и дѣло выигрывалось.

Но въ наукѣ Алексій былъ слабъ. Ходило преданіе, что мѣстомъ въ спискѣ магистровъ и первоначальнымъ ходомъ учебной службы онъ обязанъ былъ, во первыхъ, своему монашеству, а во вторыхъ, тому обстоятельству, что онъ оказался какъ бы крестникомъ Великой Княгини (Маріи Николаевны). Ея Высочество пожелала видѣть обрядъ постриженія; тутъ какъ разъ подоспѣло разрѣшеніе студенту Руфину Ржаницыну привять иночество; постриженіе его съ переименованіемъ въ Алексія и совершилось въ присутствіи Великой Княгини.

Сколь однако велики были его познанія, о томъ можетъ дать понятіе слѣдующій случай, заставившій ребятъ много смѣяться. Зашла рѣчь о томъ, что въ Ветхомъ Завѣтѣ открываются намеки на троичность лицъ въ Божествѣ. На это указываетъ, сказалъ одинъ изъ бойкихъ учениковъ, между прочимъ слово *мицо*, которое по-еврейски употребительно только во множественномъ числѣ: *панимъ*. „Да, да, подтвердилъ загусывая усь по своему обыкновенію профессоръ, истолкователь Священнаго Писанія, онъ же инспекторъ: *канимъ* лицо, *канимъ*“.

Бѣдный не разслыхалъ и обнаружилъ незнаніе такого слова, которое встрѣчается на второй же строкѣ Библии.

Ректора Іосифа, напротивъ, и уважали, и любили, и боялись, хотя высокой учености тоже не предполагали въ немъ; да ея и не было у него; онъ не имѣлъ и магистерской степени. Про себя ребята даже шутили надъ нимъ, пересмѣивали его, но въ самомъ смѣхѣ сохраняли почтительное уваженіе. Смѣялись надъ его

святою простотой, надъ чистотой его понятій, которая казалась комическою среди окружающей грубости и растлѣнія, но въ душѣ тѣмъ глубже предъ ней преклонялись.

— Ты гдѣ это напился? допрашиваетъ ректоръ казеннокоштнаго большого болвана, ввалившагося вчера пьянымъ въ нумеръ и видѣннаго кѣмъ-то изъ начальства въ этомъ безобразіи. — Гдѣ это ты такъ нахлестался?

— Виновать, ваше высокопреподобіе, отвѣчаетъ болванъ, сооривъ смиренно-постную рожу. — Пришелъ отецъ, дьячокъ изъ села, повелъ въ полпивную. Не смѣлъ ослушаться родителя: онъ меня угостилъ, заставилъ выпить бутылку пива.

— Бутылку! воскликнулъ въ непритворномъ ужасѣ ректоръ. — Ты цѣлую бутылку выпилъ?

— Да, смиренно продолжалъ кающійся, воображая, что указаніемъ на такую незначительную дозу такого невиннаго напитка онъ совершенно обезоружилъ гнѣвъ отца ректора.

— Такъ цѣлую бутылку, ц-ѣ-ѣ-лую бутылку! Да какъ тебя не рѣзорвало! Цѣлую бутылку!

Исторія о „цѣлой бутылкѣ“ съ тѣмъ же ужасомъ и тѣмъ же недоумѣніемъ „какъ не рѣзорвало“ рассказана была потомъ въ назиданіе и предостереженіе ученикамъ при полномъ собраніи класса. А ребята посмѣивались себѣ, недоумѣвая въ свою очередь, какъ же это ректоръ не знаетъ, что Любимовъ или Малининъ можетъ осушить не бутылку, а цѣлыя двѣ дюжины и будетъ ни въ одномъ глазѣ, на этотъ же разъ вѣроятно опустошилъ четвертную, да не пива, а сивухи.

— Вотъ бывало и я такъ же, говорилъ ректоръ въ другое время: все что ни напишу, все безъ толку. Что-жь, сударь, трудомъ, размышленіемъ, прилежаніемъ достигъ того, что выучился, да и васъ учу. Разъ я размышлялъ и не замѣтилъ, какъ въ яму попалъ. Вотъ, сударь, а ты что?

Такіе рассказы заставляли смѣяться; но ректоръ былъ

высокій труженикъ, подвижникъ долга, монахъ примѣрной жизни, неліцепріятный начальникъ. Какъ дѣтски простодушенъ и отечески нѣженъ бывалъ онъ во вразумленіяхъ провинившимся, такъ дѣтски радовался успѣхамъ и дарованіямъ учениковъ. Помню, рассказывалъ онъ намъ въ классѣ про одного изъ своихъ бывшихъ учениковъ, года три или четыре уже послѣ того какъ выпустилъ его. „Слова не выкинешь, слова не прибавишь, вотъ какъ писалъ!“ съ восхищеніемъ восклицалъ добрый ректоръ, и умильно улыбаясь, нѣсколько разъ по своему обыкновенію повторялъ слова, обращаясь то въ ту, то въ другую сторону къ ученикамъ съ выразительнымъ жестомъ: „слова не выкинешь, слова не прибавишь, вотъ какъ писалъ!“

И однако его боялись; лишь завидять бывало, всѣ разбѣгаются. Это особенно замѣтно бывало, когда выходилъ онъ изъ класса. Онъ имѣлъ обыкновеніе засиживать долѣе звонка. Богословскій классъ помѣщался во второмъ этажѣ, и распущенные ученики младшихъ классовъ расхаживали по двору въ ожиданіи послѣобѣденной перемѣны, толпились на крыльцѣ. Меня удивляло это бѣгство предъ лицомъ начальника. „Что за глупая, что за рабская привычка! разсуждалъ я въ негодованіи. Ректоръ не звѣрь. На-же, останусь на крыльцѣ“. Такъ и поступилъ; я былъ въ Среднемъ Отдѣленіи. Завидя ректора сходящаго съ лѣстницы, всѣ по обыкновенію разсыпались. Я остался сидящимъ на крылечной оградѣ. Ректоръ сошелъ, поравнялся со мной. Я всталъ и поклонился. „Гилярѣвъ!“ (онъ такъ произносилъ мою фамилію) возвысилъ онъ голосъ обратившись ко мнѣ, „ты что же тутъ сидишь? Камни протрешь, пошелъ бы да размышлялъ. Что за дѣло сидѣть, ногами болтать да камни тереть!“ Я поклонился въ знакъ послушанія и подумалъ: а вѣдь значитъ есть основаніе, почему завидѣвъ его всѣ разбѣгаются.

Закончу описаніе учительскаго персонала, къ которому мы поступали, Александромъ Ѳедоровичемъ Кирь-

яковымъ, преподававшимъ Церковную Исторію. Это былъ сама воплощенная деликатность, необыкновенно мягкій въ обращеніи, никогда ни въ какомъ случаѣ не возвышавшій голоса, даже тогда когда разъ, возмущенный какимъ-то грубѣйшимъ незнаніемъ ученика, рѣшился наконецъ вымолвить: „сидите... болванъ!“ Но самое это слово „болванъ“, невольно вырвавшееся, произнесено было нѣжнымъ, почти плачущимъ тономъ. Его любили, но въ наукѣ онъ ограничивался „отъ сихъ до сихъ“, и ни одной свѣжей мысли, ни одного разсказа, который оживилъ бы вниманіе и возбудилъ любознательность, мы не слышали отъ него.

Если не считать преподавателей греческаго и еврейскаго (на первомъ былъ извѣстный уже читателю Алкита, а второй преподавался только желающимъ, которыхъ однако не было и десятка), то вотъ и весь составъ преподавателей факультетскихъ, долженствовавшихъ ввести насъ въ науку, вѣнчающую наше образованіе, по отношенію къ которой все остальное было только преддверіе, само о себѣ сказывавшее, что оно есть первая ступень, знаніе низшее, недостаточное.

Большинство моихъ товарищей не разсуждало, училось механически: такъ сказано или такъ написано въ книжкѣ, и довольно. Но я растерялся. Мученикъ формальной истины, умъ мой искалъ основаній, сообразія, послѣдовательности. Съ перваго же дня въ богословскомъ классѣ душа послышала, что здѣсь я новаго ничего не приобрѣту и въ приобрѣтенномъ крѣпче не утвержусь. Пробѣгалъ я письменные уроки, которыми будутъ назидать насъ въ Богословіи. Они мнѣ показались дѣтски составленными, нескладно, съ противорѣчіями, никакого вопроса не рѣшающими и ни одного серьезнаго даже не затрагивающими. Года полтора назадъ я прочитывалъ богословскій курсъ Кирилла, рукописный же. То были даже академическіе уроки, но и они мнѣ показались слабыми, все до перетертости знакомымъ; я не находилъ къ чему прицѣпиться живою мыслию. А се-

минарскій учебникъ и еще болѣе страдалъ тѣми же недостатками. Я не рѣшалъ себѣ, чѣмъ буду заниматься въ послѣдніе два года образованія, но предшествующимъ ходомъ развитія само собою предрѣшалось, что заниматься, чѣмъ другіе, не буду. Душа не будетъ въ состояніи принять къ сердечному убѣжденію то, чему предложить увѣровать; умѣ не останется работы кромѣ критической, отрицательной. Таково и оставалось на оба года мое умственное настроеніе. Все официально преподаваемое казалось мнѣ непослѣдовательнымъ, неточнымъ, противорѣчащимъ, произвольнымъ, даже ложнымъ въ томъ отношеніи, что сами учителя, казалось мнѣ, въ сущности не вѣрятъ проповѣдуемой истинѣ, а только говорятъ по заученому, не трудясь размыслить.

Впрочемъ, не буду прерывать повѣствованія. Достаточно сказать, что я съ поступленіемъ въ богословскій классъ внутри свернулся. Я не сдѣлался рѣшительнымъ отрицателемъ, потому что къ отрицанію умъ требовалъ тоже основанія. Въмѣсто одного произвола подставить другой произволъ, это мнѣ равно претило; строгій къ формальной истинѣ, я остался къ ея внутреннему содержанію въ раздвоенномъ состояніи: „можетъ-быть и это вѣрно, можетъ-быть и то истинно; но то и другое равно неосновательно. Гдѣ же основаніе всепримиряющее и всерѣшающее, и есть ли оно?“ Самый этотъ вопросъ еще только мерцалъ предо мной гдѣ-то вдали, не выступая опредѣленно и не понуждая къ поискамъ. Я оставался въ готовности все принять и все отвергнуть, когда предстанутъ неотразимыя основанія убѣдиться. Стоя на полдорогѣ, я напоминалъ ту простудушную крестьянку, которая сначала неумышленно поставила свѣчку или приложилась къ изображенію сатаны на Страшномъ Судѣ. „Что же это ты дѣлаешь? укоряютъ ее. Вѣдь ты приложилась къ нечистому“. — „И, ба-тюшка, отвѣчала она, сознавъ ошибку, ничего; вѣдь еще неизвѣстно, къ кому-то попадешь, можетъ и къ нему“.

LI.

Два ректора.

Продолговатая зала со столами въ два ряда, расположенными покоемъ по наружной стѣнѣ и примыкающимъ къ ней двумъ внутреннимъ. Въ серединѣ третьей внутренней—профессорскій столъ со стуломъ. Таково расположеніе богословскаго класса. Мы усѣлись. Приходитъ ректоръ и въ слѣдъ за обычною молитвой тихимъ голосомъ даетъ вопросъ, ни къ кому не обращаясь: „Что такое Богословіе?“ Это было первое его слово къ намъ, какъ учителя къ ученикамъ.

— Что такое Богословіе? повторяетъ онъ, немного возвысивъ голосъ.—Ты!

И ректоръ пальцемъ указываетъ на ученика.

— Что такое Богословіе?

Ученикъ молчитъ, но можно сказать, что прежде нежели успѣлъ онъ замолчать, уже ректоръ обращается къ другому, затѣмъ къ третьему:

— Ну, говори, здѣсь пришли не дремать, а дѣло дѣлать: что такое Богословіе?

— Богословіе происходитъ отъ словъ *Богъ* и *слово*, отвѣчаетъ наконецъ одинъ.

— Богъ и слово! одобрительно повторяетъ ректоръ. Что же это: слово Бога къ человѣку или о человѣкѣ, или слово человѣка къ Богу или о Богѣ?

И прежде нежели успѣлъ задумавшійся ученикъ отвѣтить, онъ уже обращается къ другому, повторяя вопросъ.

— Слово человѣка къ Богу или о Богѣ, отвѣчаетъ кто-то.

— Почему?

— Слово Бога къ человѣку и о человѣкѣ, рѣшается сказать одинъ изъ поднятыхъ.

— Почему? Отчего не слово человѣка къ Богу или о Богѣ? Ты, ты, ты!

Послѣ многихъ такихъ обращеній, вопросовъ, возраженій, профессоръ добивается объясненія, что слово Бога къ человѣку и о человѣкѣ—въ Откровеніи, а слово человѣка къ Богу есть молитва, Богословіе же есть слово человѣка о Богѣ. Анализъ конченъ. Всѣ „ты“ и „ты“, нѣсколько разъ поднятые, нѣсколько разъ посаженные, получили позволеніе садиться окончательно. Начался синтезъ.

Кратко повторяется все то, что добыто перекрестными вопросами и отвѣтами. И объясняя это, ректоръ все ходитъ; скажетъ, пройдетъ два шага, обернется мгновенно въ другую сторону и снова съ усиливающимся жаромъ повторитъ сказанное.

Такъ прошелъ весь первый классъ, всѣ два часа, и мы едва переползли черезъ „опредѣленіе“ науки. Пояснивъ, повторивъ, подтвердивъ, ректоръ еще не удовольствовался, но заставилъ кого-то снова резюмировать слышанное.

Второй урокъ былъ подобіемъ перваго; затѣмъ третій, четвертый и далѣе, тотъ же порядокъ: „здѣсь пришли не дремать, а дѣло дѣлать!“ Урокъ, еще не пройденный, проходится первоначально въ видѣ гадательныхъ отвѣтовъ, даваемыхъ учениками; за ними слѣдуетъ изложеніе самого учителя, иногда повторенное изложеніемъ ученика.

Вмѣстѣ со введеніемъ въ Богословіе насъ принялся учить ректоръ и проповѣдничеству. Тотчасъ послѣ поступленія въ Богословскій классъ намъ всѣмъ уже назначено по проповѣди. Но прежде чѣмъ писать самую проповѣдь, мы обязаны были подать ея „расположеніе“, то-есть существо и порядокъ мыслей, которыя въ ней будутъ изложены. Черезъ нѣсколько дней, когда часть „расположеній“ уже подана, классъ начинался съ ихъ разбора.

— Архангельскій, по обыкновенію тихимъ голосомъ начинаетъ ректоръ: мысли твоего расположенія?

Архангельскій или тамъ какой Воздвиженскій начинаеть:

— Въ приступѣ говорится то и то; затѣмъ въ трактаци излагается такая и такая мысль.

— Соколовъ, какъ ты находишь это расположеніе?

— Оно неправильно.

— Неправильно! А я скажу: правильно. Почему неправильно?

— У него члены дѣленія совпадаютъ.

— А что такое члены дѣленія совпадаютъ? Ты, ты... ты!

— Члены дѣленія совмѣщаются, отвѣчаетъ кто-то.

— А что такое „совмѣщаются“?

— Нѣтъ, члены дѣленія у меня не совмѣщаются, отзывается проповѣдникъ.

— А онъ говорить—совмѣщаются! живо откликается ректоръ.—Ты объясни: почему?

И такъ перетиралъ онъ насъ каждый классъ. Острые языки изъ насъ говаривали, что еслибы не постоянная обязанность быть наготовѣ къ отвѣту, то послѣ первой четверти часа можно уснуть, съ тѣмъ чтобы проснуться къ концу класса и вновь услышать уже слышанное. Но я съ глубокимъ благоговѣніемъ вспоминаю объ этомъ наставникѣ и истинномъ отцѣ. Лично я и можетъ-быть многіе узнали отъ него мало новаго; содержаніе уроковъ было не обширно и не щеголяло глубокомысліемъ. Но ученики избавлены были отъ обязанности долбить учебникъ, хотя и не избавлялись отъ обязанности готовиться. Они надалбливались вдосталь въ аудиторіи, а готовиться приходилось имъ, чтобы не мѣшкать отвѣтомъ на вопросъ, къ слѣдующему уроку, который будетъ разбираться завтра въ классѣ. Выходя изъ аудиторіи, ученикъ уже зналъ твердо урокъ, не могъ его не запомнить, заучивалъ тексты и не могъ ихъ не заучивать, потому что въ каждомъ текстѣ, который приводится учебникомъ, каждое слово прошло чрезъ ту же процедуру перекрестныхъ вопросовъ и

отвѣтовъ, смыкаемыхъ окончательнымъ изложеніемъ учителя. Тетрадки учебника обращались въ конспектъ, только напоминающій о слышанномъ и уже усвоенномъ. Ученики узнавали пожалуй и немногое, но знали твердо и знали почти одинаково отчетливо всѣ, первые какъ и послѣдніе. Какой великій плодъ и какое изумительное терпѣніе учителя!

Терпѣніе! Нѣтъ, я употребилъ не подходящее выраженіе. Ректоръ въ классъ рѣдкій разъ не одушевлялся; отъ спокойствія онъ приходилъ постепенно въ большій и большій жаръ; голосъ возвышался, движенія становились живѣе; слышались ноты растроганной души.

Урокъ шелъ о страданіяхъ Спасителя, отреченіи Петра. Какъ живо помню, какъ ясно представляю фигуру! Слышу патетическія слова:

— И кто же? Петръ, избранный изъ апостоловъ, первый исповѣдавшій его Сыномъ Божиимъ. И что же? Отречешься!.. И когда же отречешься? Въ сію самую ночь, прежде нежели пѣтель возгласитъ. И какъ же? Трижды!.. трижды отречешься... прежде нежели пѣтель возгласитъ...

Голосъ ужъ дрожить, но фигура оборачивается къ другой сторонѣ залы, и аудиторія слушаетъ снова:

— И кто же? Петръ... и проч.

Это въ трогательномъ родѣ. Вотъ примѣръ другой, изъ исторіи воскресенія. Воины объясняютъ, что тѣло распятаго и погребеннаго украдено.

— Украдоша намъ спящимъ, приводитъ ректоръ съ усмѣшкой это показаніе стражи. Хм!.. Украли, когда они спали! Хм! Спали и видѣли. Какъ же они видѣли, когда спали? Если спали, то не видали, а если видѣли, то какъ же допустили?

„Украдоша намъ спящимъ“, повторяется по обыкновенію опять то же еще горячѣе, и еще язвительнѣе улыбка.—Спали и видѣли!.. видѣли и спали!.. Видѣли и допустили!..

Какъ слѣдовало по семинарскому обычаю, кромѣ про-

повѣди назначено было намъ еще сочиненіе. Единственная тема дана была ректоромъ во все первое полугодіе. Но помимо заданной, обязательной (на латинскомъ языкѣ) отъ насъ принимались, а тѣмъ самымъ и требовались косвенно диссертациі произвольныя. По утвердившемся обычаю, онѣ состояли въ развитіи вопросовъ, объясненіе которыхъ слышано было въ классѣ. Каждый день при выходѣ изъ аудиторіи ректоръ получалъ по вороху такихъ сочиненій, понятно, всегда болѣе или менѣе короткихъ по краткости времени, въ которое изготовлялись. Писали, можно сказать, въ перегонки, и къ этому поощряла внимательность ректора, прочитывавшаго поданныя упражненія немедленно и сдававшего обратно съ рецензіями рѣдко позже завтрашняго дня. На чтеніе посвящался у него вечеръ, при чемъ почти неизмѣнно приглашался кто-нибудь изъ казеннокоштныхъ въ качествѣ чтеца, а кстати и соучастника въ рецензіи. О количествѣ труда, который на это клался можно судить по тому, что изъ числа моихъ товарищей нѣкоторые подали до декабря сто упражненій и даже болѣе. А насъ было слишкомъ девяносто. Я не послѣдовалъ этому примѣру. Я привыкъ отъ сочиненія требовать умственного усилія и только духовною работою опредѣлялъ ему цѣну; я не могъ приладиться; мнѣ даже претило подъ видомъ собственнаго сочиненія подать механически повторенную другими словами часть прослушаннаго урока. Не помню, дошло ли у меня даже до дюжины къ концу семестра число произвольныхъ сочиненій, и я удивляюсь теперь, какимъ образомъ еще сохранилъ я къ рождественскому экзамену свое мѣсто втораго ученика въ списокѣ, — втораго, а не перваго, потому что въ Богословскій классъ переведены два параллельныя отдѣленія предшествующаго класса: перваго Средняго Отдѣленія, въ которомъ былъ свой первый ученикъ, и—втораго, гдѣ былъ я. Судя по тому, какъ я отнесся къ произвольнымъ диссертациямъ, а еще болѣе къ проповѣдямъ, по всей справедливости заслуживалъ

я быть отнесеннымъ къ числу заурядныхъ, а никакъ не отличныхъ!

Не долго однако мы пользовались своимъ безпримѣрнымъ педагогомъ. Къ Рождеству онъ оставилъ насъ, получивъ назначеніе на викаріатство въ Москву же. Въ силу чего, недоумѣваю, но по назначеніи (однако до посвященія) Іосифа въ новый санъ, разсудилось митрополиту навѣстить нашъ Богословскій классъ и про-извести бѣглый экзаменъ вызовомъ нѣсколькихъ учениковъ. Владыка былъ необыкновенно любезенъ, такъ любезенъ, что я вспомнилъ слова одного князя, сказаннаго брату, что въ обращеніи со свѣтскими людьми митрополитъ обворожителенъ. Зная его, какъ „владыку“, котораго подчиненные трепетали, къ которому идя молились, чтобы Богъ пронесъ счастливо, я тщетно усиливался представить его въ видѣ свѣтскаго, любезно бесѣдующаго человѣка. Но такимъ онъ явился въ упомянутое посѣщеніе семинаріи: очень хвалилъ учениковъ, пересыпалъ свои отзывы разсказами, и между прочимъ на одинъ ученическій отвѣтъ сказалъ: Вотъ вы умнѣе г-жи Сталь. Эта извѣстная писательница, говоря о томъ-то... и проч.

Такимъ образомъ мы остались сиротами. Наступило междуцарствіе, длившееся не одинъ мѣсяцъ. Тревожно освѣдомлялись мы: кто же будетъ назначенъ? Указывали нѣкоторые на Никодима, бывшаго тогда ректоромъ, кажется, Одесской семинаріи, москвича родомъ. Другіе прочили Филоея, харьковскаго ректора, бывшаго инспектора Петербургской академіи. Мекали болѣе на послѣдняго, ждали его не безъ трепета, но съ удовольствіемъ; было извѣстно, что онъ кончилъ курсъ первымъ магистромъ, что ему бы чередъ быть скоро ректоромъ академіи, но что де не угодилъ оберъ-прокурору и отправленъ въ незаслуженную ссылку. Не ручаюсь, насколько было достовѣрнаго въ молвъ, но кажется дѣйствительно Филоею былъ переведенъ въ Харьковъ за то, что въ его инспекторство распространился по Россіи

русскій переводъ Библіи Павскаго. Самый фактъ перевода найденъ былъ преступнымъ; наряжено было цѣлое слѣдствіе; переводы отбирались. Въ Московскую академію посланъ былъ нарочный чиновникъ, допрашивавшій студентовъ и наставниковъ по одиночкѣ. Среди учащихся и вообще въ той части духовенства, которая соприкасалась со школой, этотъ походъ, поднятый графомъ Протасовымъ, и вообще все новое направленіе, называвшееся въ тѣсномъ смыслѣ „православнымъ“, встрѣчено было сильнымъ неудовольствіемъ, такъ что слово „православіе“ долгое время школьнымъ міромъ употреблялось въ насмѣшливомъ смыслѣ. Дотошъ говорили „греко-восточное“ или „греко-россійское“ исповѣданіе, „каѳолическая“ церковь или просто „христіанство“ и „христіанскій“. Самый катихизисъ Филарета въ первоначальныхъ изданіяхъ назывался просто „христіанскимъ“ и уже послѣ къ своему наименованію прибавилъ „православный“. Послѣ того понятно сочувствіе и почтительное уваженіе, съ которымъ ожидали Филоею. Лично я, по слухамъ заранѣе уважая будущаго ученаго ректора, занялся работой, которою намѣревался зарекомендовать себя, когда онъ пріѣдетъ. Въ этихъ-то видахъ я и приготовилъ диссертацию *De lapsu angelorum*, о которой говорилъ въ одной изъ предшедшихъ главъ.

Но сбылось совершенно вопреки ожиданіямъ. Никто не думалъ, не гадалъ, чтобы ректоромъ въ Москву назначенъ былъ нашъ же инспекторъ Алексій, не знавшій слова *паннимъ*. И однако такъ случилось. Филоею, на шесть лѣтъ старшій по службѣ и безъ сравненія превосходившій познаніями, переведенъ былъ только чрезъ нѣсколько лѣтъ, да и то сперва въ Виѣанскую, а потомъ уже въ Московскую семинарію, когда Алексій, шагая быстро, возвысился уже до ректора академіи.

Какъ пошли уроки при Алексіи? Ни сократическаго метода, ни произвольныхъ сочиненій, ни тѣхъ неумимыхъ разборовъ, которыми не давалъ ни себѣ, ни

я быть отнесеннымъ къ числу заурядныхъ, а никакъ не отличныхъ!

Не долго однако мы пользовались своимъ безпримѣрнымъ педагогомъ. Къ Рождеству онъ оставилъ насъ, получивъ назначеніе на викаріатство въ Москву же. Въ силу чего, недоумѣваю, но по назначеніи (однако до посвященія) Іосифа въ новый санъ, разсудилось митрополиту навѣститъ нашъ Богословскій классъ и произвести бѣглый экзаменъ вызовомъ нѣсколькихъ учениковъ. Владыка былъ необыкновенно любезенъ, такъ любезенъ, что я вспомнилъ слова одного князя, сказаннаго брату, что въ обращеніи со свѣтскими людьми митрополитъ обворожителенъ. Зная его, какъ „владыку“, котораго подчиненные трепетали, къ которому идя молились, чтобы Богъ пронесъ счастливо, я тщетно усиливался представить его въ видѣ свѣтскаго, любезно бесѣдующаго человѣка. Но такимъ онъ явился въ упомянутое посѣщеніе семинаріи: очень хвалилъ учениковъ, пересыпалъ свои отзывы разсказами, и между прочимъ на одинъ ученическій отвѣтъ сказалъ: Вотъ вы умѣе г-жи Сталь. Эта извѣстная писательница, говоря о томъ-то... и проч.

Такимъ образомъ мы остались сиротами. Наступило междуцарствіе, длившееся не одинъ мѣсяцъ. Тревожно освѣдомлялись мы: кто же будетъ назначенъ? Указывали нѣкоторые на Никодима, бывшаго тогда ректоромъ, кажется, Одесской семинаріи, москвича родомъ. Другіе прочили Филоея, харьковскаго ректора, бывшаго инспектора Петербургской академіи. Мекали болѣе на послѣдняго, ждали его не безъ трепета, но съ удовольствіемъ; было извѣстно, что онъ кончилъ курсъ первымъ магистромъ, что ему бы чередъ быть скоро ректоромъ академіи, но что де не угодилъ оберъ-прокурору и отправленъ въ незаслуженную ссылку. Не ручаюсь, насколько было достовѣрнаго въ молвъ, но кажется дѣйствительно Филоею былъ переведенъ въ Харьковъ за то, что въ его инспекторство распространился по Россіи

русскій переводъ Библии Павскаго. Самый фактъ перевода найденъ былъ преступнымъ; наряжено было цѣлое слѣдствіе; переводы отбирались. Въ Московскую академію посланъ былъ нарочный чиновникъ, допрашивавшій студентовъ и наставниковъ по одиночкѣ. Среди учащихся и вообще въ той части духовенства, которая соприкасалась со школой, этотъ походъ, поднятый графомъ Протасовымъ, и вообще все новое направленіе, называвшееся въ тѣсномъ смыслѣ „православнымъ“, встрѣчено было сильнымъ неудовольствіемъ, такъ что слово „православіе“ долгое время школьнымъ міромъ употреблялось въ насмѣшливомъ смыслѣ. Дотогѣ говорили „греко-восточное“ или „греко-россійское“ исповѣданіе, „каѳолическая“ церковь или просто „христіанство“ и „христіанскій“. Самый катихизисъ Филарета въ первоначальныхъ изданіяхъ назывался просто „христіанскимъ“ и уже послѣ къ своему наименованію прибавилъ „православный“. Послѣ того понятно сочувствіе и почтительное уваженіе, съ которымъ ожидали Филоою. Лично я, по слухамъ заранѣе уважая будущаго ученаго ректора, занялся работой, которою намѣревался зарекомендовать себя, когда онъ пріѣдетъ. Въ этихъ-то видахъ я и приготовилъ диссертацию *De lapsu angelorum*, о которой говорилъ въ одной изъ предшедшихъ главъ.

Но сбылось совершенно вопреки ожиданіямъ. Никто не думалъ, не гадалъ, чтобы ректоромъ въ Москву назначенъ былъ нашъ же инспекторъ Алексій, не знавшій слова *панимъ*. И однако такъ случилось. Филоою, на шесть лѣтъ старшій по службѣ и безъ сравненія превосходившій познаніями, переведенъ былъ только чрезъ нѣсколько лѣтъ, да и то сперва въ Виѳанскую, а потомъ уже въ Московскую семинарію, когда Алексій, шагая быстро, возвысился уже до ректора академіи.

Какъ пошли уроки при Алексіи? Ни сократическаго метода, ни произвольныхъ сочиненій, ни тѣхъ неумимыхъ разборовъ, которыми не давалъ ни себѣ, ни

учешикамъ отдыха Іосифъ, не было въ поминѣ; потянулось зауряднѣйшимъ образомъ, вяло и механически. Я въ частности находилъ удовольствіе, выражусь такъ, дразнить и сбивать ректора. Я бы не дерзнулъ на то предъ Іосифомъ, хотя подобные же вопросы тревожили меня и тогда. Но Алексія я любилъ приводить въ досаду, хотя пользовался его благоволеніемъ и самъ его любилъ.

Съ поступленіемъ Алексія я мало даже посѣщалъ классы. Едва ли много преувеличу, когда скажу, что пропустилъ цѣлую половину. Къ концу перваго учебнаго года я схватилъ перемежающуюся лихорадку, которая потрепала меня сперва нѣсколько недѣль дома, потомъ въ Голицынской больницѣ, куда вынужденъ былъ я наконецъ лечь, видя безуспѣшность домашняго пичканья хиной и прохладительными микстурами. А на второй, окончательный годъ часто пользовался возможностью подавать донесеніе о болѣзни, тѣмъ болѣе что достовѣрности донесенія никто никогда не повѣрялъ. Приходилось засѣсть за какую-нибудь книгу, отъ которой не желаешь оторваться, или увлечешься какимъ-нибудь добровольнымъ письменнымъ занятіемъ, и на недѣлю, на двѣ заболѣваешь. Этимъ днямъ притворной болѣзни я обязанъ первымъ изученіемъ англійскаго языка и началъ итальянскаго, ради чего обзавелся грамматиками и христоматіями (на нѣмецкомъ). Въ тѣ же гулевыя дни я почти вполнѣ перевелъ съ нѣмецкаго богословіе Клеэ. Это была первая система богословія, которая поколебала мое предубѣжденіе противъ богословскихъ книгъ вообще. Всегда жадный до чтенія, я просилъ себѣ изъ семинарской библіотеки книгъ для пособія при сочиненіяхъ. Долго не получалъ ничего кромѣ средневѣковыхъ фоліантовъ; но они общими мѣстами, которыми переполнены, и схоластическими препирательствами протестантовъ съ католиками, мало меня удовлетворяли. Попросивъ разъ толковника на Библію и получивъ Мальдоната, я даже вознегодовалъ на себя,

что оттянулъ руку, таща домой увѣсистый фоліантъ, въ которомъ потомъ не обрѣлъ ничего кромѣ пусто словнаго перифраза въ родѣ того, что бѣлизной называется качество бѣлаго, а чернымъ именуется черное. На просьбу дать что-нибудь поновѣе и притомъ на современномъ языкѣ я получилъ три части Клеэ и поразился съ первой страницы, увлекшись содержаніемъ, а далѣе во всемъ сочиненіи восхитившись необыкновенно красивою системою, выдержанною до щепетильности. Авторитетъ Гегеля во время автора былъ еще въ полной силѣ, и католическій богословъ изложилъ свою науку въ Гегелевской симметріи, отыскивая всюду два момента, замыкаемые третьимъ. Введеніе же сжато-сосредоточеннымъ языкомъ излагало понятія о скептицизмѣ, идеализмѣ и (псевдо) реализмѣ, которыхъ, выражаясь Гегелевски, отрицаніе есть религія. Эти страницы очаровали меня и засадили за переводъ.

Изученіе еврейскаго языка привело къ другой работѣ. Этимологія еврейская движется внутри словъ, выражаясь перемѣной гласныхъ, тогда какъ согласныя остаются постоянно тѣ же. Я поразился существованіемъ подобнаго явленія въ нѣкоторыхъ русскихъ глаголахъ, изъ которыхъ первымъ представился мнѣ *убить* и *ибнуть*. Перемѣна залога, достигаемая перемѣной внутреннихъ гласныхъ, напоминала еврейское спряженіе, и я принялся за составленіе списка, гдѣ повторяется то же явленіе. Пытался сличеніемъ проникнуть даже законъ и смыслъ измѣненій. Но недостатокъ лингвистической подготовки остановилъ работу, и уже долго спустя, черезъ шестнадцать лѣтъ, я возобновилъ ее, но въ болѣе широкихъ размѣрахъ и на болѣе прочныхъ основаніяхъ, не доведя ее впрочемъ до полного конца даже доселѣ. Тѣмъ не менѣе и въ тѣ юношескія лѣта, въ 1842 году, сличеніе глаголовъ отняло довольно времени, оставивъ по себѣ памятникъ въ видѣ нѣсколькихъ рапортовъ о болѣзни.

Не смотря на свое болѣе нежели равнодушное отно-

шеніе къ класснымъ занятіямъ, я все-таки кончилъ курсъ первымъ студентомъ. Соперникъ мой, поступившій первымъ изъ перваго параллельнаго отдѣленія Философіи, оставилъ Богословскій классъ къ концу перваго же года и поступилъ въ Петербургскій университетъ. Никого затѣмъ не предпочли мнѣ, и я заключаю отсюда, что составъ учащихся въ моемъ курсѣ должно-быть стоялъ вообще не на высокомъ уровнѣ.

II.

Проповѣдничество.

Проповѣди намъ не только были заданы, но предполагалось, что онѣ будутъ и произнесены, по крайней мѣрѣ нѣкоторые. Съ этою цѣлью между нами подѣлены были всѣ воскресные и праздничные дни наступающаго семестра. Для произнесенія назначались монастыри: Заиконоспасскій, гдѣ помѣщалась сама семинарія, Богоявленскій и Златоустовъ, словомъ, тѣ самые гдѣ жили бурсаки и полубурсаки. Дозволеніе произнести въ Заиконоспасскомъ считалось особенною честью и было признакомъ, что эта проповѣдь есть лучшая изъ другихъ приготовленныхъ на тотъ же день. Помимо того что настоятелемъ былъ здѣсь самъ ректоръ, который обыкновенно и совершалъ богослуженіе по праздничнымъ днямъ, проповѣданію въ Заиконоспасскомъ придавала особенную торжественность имѣвшаяся въ немъ кафедра. Въ обыкновенныхъ церквахъ и соборахъ проповѣди произносятся съ амвона, для каждаго раза ставится аналой, а въ Заиконоспасскомъ красовалась постоянная проповѣдническая кафедра вверху надъ лѣвымъ клиросомъ у стѣны, на подобіе того какъ водится въ костелахъ и киркахъ. Это былъ очевидно остатокъ еще отъ временъ Симеона Полоцкаго и вообще отъ ректо-

ровъ - малороссовъ; другая подобная кафедра устроена была въ церкви Іоанна Воина, на Якиманкѣ, и только двѣ ихъ было во всей Москвѣ. Настоятелемъ церкви Іоанна Воина былъ знаменитый по своему времени проповѣдникъ Десницкій, въ послѣдствіи митрополитъ Петербургскій (Михаилъ). Думаю, что его проповѣдническая слава и повела къ устройству кафедры.

Съ первыхъ же дней нѣкоторые изъ насъ, лучшіе, въ числѣ поддюжины или съ чѣмъ-нибудь, представлены были семинарскимъ правленіемъ къ посвященію въ стихарь. Представленіе такого рода продолжалось потомъ въ теченіе цѣлаго курса, по мѣрѣ ученическихъ успѣховъ; нѣкоторые впрочемъ такъ и оканчивали не удостоившись посвященія. Я не успѣлъ оглянуться, какъ объявлено было, что въ числѣ другихъ я долженъ исповѣдаться у такого-то законоспаскаго іеромонаха, а затѣмъ явиться на Саввинское подворье въ церковь для посвященія. Исповѣдь и опредѣленный духовникъ назначались не только потому, что въ день посвященія мы будемъ причащены и вообще должны явиться къ руковожденію (хиротесіи) очищенными, но и затѣмъ что засвидѣтельствовать, достойны ли мы вступленія въ церковный клиръ, помимо семинарскаго начальства, обязанъ еще духовникъ. Есть грѣхи, съ которыми принимать къ посвященію запрещаютъ правила, и совѣсти духовника предоставляется veto, безъ объясненія причинъ, которыя остаются тайной между имъ и кающимся. „Каяться ли?“ спрашивали другъ у друга нѣкоторые изъ товарищей. Никто изъ нихъ неповиненъ былъ конечно ни въ татѣбѣ, ни въ убійствѣ, но не всѣ сознавали себя чистыми противъ седьмой заповѣди. Я не рѣшился потомъ допрашивать, они ли ко грѣху добавили еще тягчайшій смертельный грѣхъ, посмѣявшись таинству, или же духовникъ, изъ снисхожденія къ современной немощи общества, удовольствовался келейною епитиміей, не лишивъ молодыхъ грѣшниковъ предстоившаго посвященія? Скорѣе было послѣднее, и на это,

въ чемъ ни мало не сомнѣваюсь, имѣлась общая инструкция отъ архіерея. Какія строгія епитиміи, даже отлученія отъ таинствъ предписываются правилами за грѣхи, по нынѣшнему маловажные! Но уже Духовный Регламентъ предписываетъ, въ виду общаго разслабленія нравовъ, прибѣгать къ снисходительности. Еслибы духовники судили по строгости, то изо ста едва ли бы даже одинъ, при теперешнихъ нравахъ, допускаемъ былъ до причастія. Строгость можетъ довести кающагося до отчаянія и совсѣмъ оттолкнуть отъ церкви.

Исповѣдались. Свидѣтельство объ исповѣди съ письменнымъ разрѣшеніемъ отъ духовника получено и въ общей бумагѣ переправлено на подворье. До начала обѣдни мы были уже тамъ. Такъ какъ насъ предполагалось посвятить въ „чтеца, пѣвца и проповѣдника Слова Божія“, то чтеніе часовъ предъ литургіей возложено было на нашу обязанность. По идеѣ чтеніе намъ было экзаменомъ, а на дѣлѣ пустою формой. Да не всѣ мы, кажется, и читали; читавшіе же пробормотали псалмы не лучше простаго дьячка. Тутъ же совершенно руковожденіе, при чемъ мы должны были прочесть по строчкѣ и предъ архіереемъ, во свидѣтельство умѣнья нашего читать, а онъ насъ „постригъ“, постригъ, буквально, то-есть снялъ ножницами нѣсколько волосъ съ головы. Какъ рекрутъ подъ руководствомъ дядьки, механически исполняли мы по командѣ иподіакона разныя формальности предъ облаченіемъ насъ во священныя ризы. „Цѣлуй крестъ, руку преосвященнаго, кланяйся въ землю; кланяйся въ землю, цѣлуй крестъ, руку преосвященнаго...“ читкомъ, скороговоркой повторялъ иподіаконъ, водя насъ, и мы ходили куда приказано, кланялись и цѣловали по командѣ, нѣкоторые со сдержанною улыбкой.

Подняло мой духъ до религіознаго восторга первое зрѣлище рукоположенія, котораго довелось быть свидѣтелемъ въ Новодѣвичьемъ монастырѣ, тринадцати лѣтъ отъ рода. Холодомъ обдала меня церемонія полученна-

го самимъ руковожденію при такой механической обстановкѣ.

Насъ облачили сначала въ малый фелонь или фелончикъ, какъ его называютъ, потомъ въ стихарь. Фелончикъ только и употребляется для такихъ случаевъ; никто изъ клира никогда его не носитъ. Большинство читателей вѣроятно не имѣетъ о немъ даже понятія. Круглый кусокъ матеріи и въ серединѣ его отверстіе для головы, вотъ фелончикъ. Когда его надѣнуть, онъ имѣетъ видъ пелеринки, и такъ какъ матерія очень небогатая, едва ли даже шелковая, то мы и сами себѣ представлялись комичными фигурами, и присутствующіе въ церкви, намъ казалось, должны смотрѣть на насъ какъ на шутовъ. А напрасно. Фелончикъ на мой взглядъ даже красивъ; онъ есть первообразъ дѣйствительнаго фелоня, притомъ удержавшій основной типъ въ чистотѣ, чего уже нѣтъ въ обыкновенномъ фелонѣ, то-есть священнической ризѣ. Представимъ себѣ тотъ же кусокъ, но большаго размѣра, достаточный чтобы покрыть все тѣло, а не одни плечи. Представимъ то же отверстіе для головы въ серединѣ, да по краямъ кайму изъ другой матеріи, и вотъ вамъ фелонъ обыкновенный или священническая риза. Таковымъ онъ и былъ въ древности. Такъ какъ однако подобный сплошной мѣшокъ не даетъ свободы рукамъ, то придумали измѣненія. Западная церковь усвоила разрѣзъ или выемку съ боковъ, давшія свободу рукамъ; а на востокѣ та же цѣль достигнута тѣмъ, что передъ вздергивался до груди и тутъ прикрѣплялся на петляхъ къ пуговицамъ. Постѣ, изъ экономіи матеріала или не знаю уже изъ чего, вмѣсто вздергиванія на пуговицы предпочли вырѣзывать весь передъ, съ сохраненіемъ однако пуговицъ и позумента, идущаго неправильною линіей по изуродованному краю. Таковъ теперешній фелонъ, покровъ своимъ безспорно уступающій древнему и въ изяществѣ и въ чистотѣ стиля. Но фелончикъ сохранилъ чистоту стиля, и если проигрываетъ въ изя-

ществу, то единственно потому что шьется едва не изъ рублища; но за то онъ вѣрный представитель преданія.

Первая проповѣдь мнѣ, какъ перваку втораго Отдѣленія, назначена была въ ближайшій праздникъ—Воздвиженіе; первому ученику перваго Отдѣленія досталась вѣроятно недѣля предъ Воздвиженьемъ. Проповѣдь, а предварительно, какъ водится, „расположеніе ея“, были написаны, поданы и возвращены съ одобреніемъ; однако проповѣдь не произнесена. Почему? Твердо не помню. Во всякомъ случаѣ не потому чтобы ректоръ нашелъ ее негодною, а вѣроятно предоставлено было мнѣ произнести ее въ любой церкви. Можетъ-быть даже мнѣ предложено было произнести въ Заиконоспасскомъ, но самъ я нашелъ чѣмъ-нибудь отговориться. Въ Заиконоспасскомъ, помнится, говорилъ на этотъ разъ мой пріятель Николай Алексѣвичъ (вышедшій изъ Философіи вторымъ). Помню, какъ наканунѣ я слушалъ всеобщую въ Заиконоспасскомъ, простоялъ въ самое Воздвиженіе и обѣдню. Возлѣ меня стоялъ какой-то господинъ, и когда во время причастнаго стиха Николай Алексѣвичъ началъ въ виду всѣхъ подниматься по лѣстницѣ и затѣмъ сталъ на кафедру, блѣдный какъ предъ смертною казнью, сосѣдъ мой воскликнулъ съ выраженіемъ досады и сожалѣнія: „что это такое! возможно ли такъ трусить!“ Мнѣ въ свою очередь стало досадно на непрошеннаго критика и было жаль своего пріятеля, почти потерявшаго голосъ отъ смущенія.

Почему же однако я не говорилъ проповѣдь? Потому что моя проповѣдь была для меня отвратительна. Еслибы не обязанность представлять всѣ письменныя упражненія къ экзамену, я бы немедленно изорвалъ свой первый плодъ церковнаго краснорѣчія. Я не имѣлъ духа даже ни разу посмотреть на него въ послѣдствіи. И не потому что мое произведеніе было неудачно; со школьной точки оно было сносно. Но оно было плохо въ моихъ глазахъ уже потому, что оно проповѣдь. По

мнѣ пробѣгала нервная дрожь, когда я вспоминалъ, что тамъ, въ тетрадахъ есть моя проповѣдь.

Многимъ въ зрѣлыхъ лѣтахъ и даже до старости продолжаютъ сниться экзамены, страхъ предъ ними, ощущеніе мучительной боли отъ полученной двойки; въ холодномъ потѣ просыпается сорокалѣтній мужъ, отдыхая мыслію, что слава Богу это только сонъ; кошмаръ принялъ только форму мучительнѣйшаго изъ всѣхъ гнетущихъ впечатлѣній, которымъ пришлось въ жизни подвергаться. Снились и мнѣ экзамены; чувство не изъ пріятныхъ, но никогда не доходило до полного угнетенія. Понятно: и на яву экзамены въ семинаріи и академіи не имѣли того всерѣшающаго значенія, какъ въ гимназіяхъ и университетахъ. Можно было, въ мое по крайней мѣрѣ время, сдать посредственно устный экзаменъ, даже вполнѣ срѣзаться и тѣмъ не менѣе числиться въ отличныхъ, первыхъ ученикахъ; на дальнѣйшую судьбу устный экзаменъ, свидѣтельство о памяти и зубрежкѣ, оказывалъ малое вліяніе. Но меня десятки лѣтъ посѣщалъ кошмаръ въ видѣ приближающейся обязанности писать проповѣдь. Безпокойство, страхъ, невѣроятное напряженіе ума и... полное безсиліе! А срокъ приближается; вотъ уже остался день, нѣтъ, нѣсколько часовъ, и я неспособенъ выжать изъ себя что-нибудь. Я чувствую срамъ оказанной неспособности изготвить произведеніе, легко дающееся самому заурядному таланту, даже бездарностямъ.

Что же это такое? Въ самомъ ли дѣлѣ я неспособенъ былъ составить риторическое произведеніе? Чего! Я писывалъ проповѣди чуть не дюжинами для семинаристовъ, для дьяконовъ и священниковъ. Разъ, также еще семинаристомъ, составилъ для будущаго своего тестя такую проповѣдь на память объ освященіи храма, что благочинный-цензоръ, не находилъ словъ хвалить ее всѣмъ, какъ замѣчательнѣйшее произведеніе. Братъ Александръ, искусившійся въ проповѣдничествѣ и очень щекотливый въ авторствѣ, прибѣгалъ на старости къ

моимъ совѣтамъ, выслушивалъ замѣчанія и принималъ поправки. Но то было для другихъ, а не для себя. Случалось, когда измученный безплодными усиліями, не находя ни мыслей, ни словъ, я въ отчаяніи обращался къ себѣ: „Да вообрази, что готовишь не для себя, что тебя просилъ NN. О, Боже, хоть бы кто-нибудь обманулъ меня и попросилъ на этотъ день сочинить ему проповѣдь, а потомъ сострадательно сказалъ: я пошутилъ, это вамъ именно и назначено“. Но моего мученія никто не знаетъ; признаться въ немъ было мнѣ стыдно, да и приняли бы за шутку, никто не повѣрилъ бы. Пишетъ головоломныя диссертациі и затрудняется такими пустяками! Но и не затрудняюсь, напишу легко, только не для себя; а когда доходить до собственнаго лица, теряю всякую способность, въ головѣ путается; я не могу сочетать мыслей и не приходятъ слова на умъ, не найду о чемъ писать. Одна тема кажется слишкомъ пошлою, другая слишкомъ натянутою, третья пересыпаніемъ изъ пустаго въ порожнее.

Тринадцать лѣтъ я носилъ стихарь на правахъ „проповѣдника“: два года въ семинаріи, четыре на студенческой скамьѣ въ академіи и семь лѣтъ на академической службѣ. Въ тринадцать лѣтъ я ухитрился подать всего пять проповѣдей, изъ нихъ три въ семинаріи; въ одиннадцать же лѣтъ академическаго поприща—только двѣ, тогда какъ начиная со старшаго академическаго курса по крайней мѣрѣ по одной проповѣди въ годъ было обязательно. Произнесъ же по заказу изъ пяти проповѣдей всего одну. Это было въ семинаріи, какъ помню, въ недѣлю Мытаря и Фарисея, какія-то общія мѣста о милосердіи, совершенно ребяческія. Но чего онѣ мнѣ стоили! Въ остальныхъ случаяхъ находилъ способъ увертываться, за исключеніемъ послѣдняго, о которомъ стѣдуетъ сказать особенно.

Я былъ уже на службѣ. Случилось, что проповѣдь назначена мнѣ была на лѣтній Николинъ день; а на ту

пору пріѣхалъ въ Лавру митрополитъ, которому въ такихъ случаяхъ представлялась проповѣдь лично на цензуру. Въ ужасѣ, о которомъ доселѣ не могу вспомнить безъ содраганія, я просилъ ректора (Алексія), нельзя ли какъ-нибудь меня высвободить.

— Нельзя, отвѣчалъ ректоръ.— Владыка уже знаетъ; онъ даже спрашивалъ, кому назначено, и ожидаетъ. Я совѣтовалъ бы вамъ пораньше подать, чтобы не затруднять его, а то времени ему не будетъ.

Я представлялъ разные резоны: и некогда мнѣ, и диссертаций на рукахъ куча, и лекціи на плечахъ, да наконецъ что просто не могу и не умѣю. На послѣднее ректоръ улыбнулся, давая мнѣ понять, что напротивъ, онъ очень даже радъ случаю поставить меня лицомъ къ лицу со владыкой. Онъ увѣренъ былъ, что оказываетъ мнѣ величайшую услугу.

— Увѣрю васъ, ваше высокопреподобіе, это будетъ такая гадость, что вамъ будетъ тошно читать.

Обыкновенныя муки проповѣдническаго писательства терзали меня теперь въ утроенномъ размѣрѣ. Я написалъ уже дѣйствительно нескладное, натянутое, такъ что еслибы мнѣ студентъ или даже ученикъ семинаріи подаль такую безобразную хрю, я бы поставилъ крестъ. Тѣмъ не менѣе придумать что-нибудь другое умъ отказывался.

— Вы мнѣ не хотѣли вѣрить, сказалъ я ректору, принеся проповѣдь.—Смотрите же, какая гадость.

Ректоръ выручилъ на сей разъ. Не помню, чѣмъ онъ отговорился отъ владыки, а мнѣ, отдавая проповѣдь, сказалъ:

— Дѣйствительно, видна поспѣшность; напрасно не хотѣли вы присѣсть повнимательнѣе.

Чего „не хотѣли“! Усилій было потрачено болѣе чѣмъ на цѣлый томъ самаго утонченнаго научнаго изслѣдованія. Но разувѣрять ректора было излишне: онъ бы не повѣрилъ.

Я не донесъ своего произведенія даже до квартиры;

числѣ пяти-шести собрались кучкой около Павла Успенскаго, сына просвири изъ Басманной, хорошаго рассказчика. Неистощимымъ предметомъ для рассказовъ его служилъ Басманскій протоіерей, важность котораго онъ удачно передразнивалъ. Среди разговора пріотворилась дверь изъ корридора, и кто-то поманилъ рассказчика. Поманилъ его именно сынъ Басманскаго протоіерея, учившійся въ Низшемъ Отдѣленіи. Павелъ Успенскій вышелъ, очень скоро вернулся и направился прямо ко мнѣ.

— Вамъ предлагаютъ урокъ, постоянное мѣсто, жить.

— Куда это?

— На Зацѣпу; братъ нашего протоіерея, священникъ, его сынъ во второй риторикѣ, онъ желаетъ.

— Гдѣ же онъ?

Мы вышли въ корридоръ и тамъ нашли Александра Богданова, который вызывалъ Успенскаго, и съ нимъ молодаго человѣка. Троицкій, такъ его звали, ученикъ Средняго Отдѣленія, почтительно подошелъ ко мнѣ и просилъ, не могу ли я идти сегодня же послѣ класса. „Семейство прекрасное, доброе, и мальчикъ очень скромный; самъ онъ идти къ вамъ не посмѣлъ“.

Я изъявилъ согласіе, и втроемъ,—я, Троицкій и желающій меня въ учителя Игнатій Богдановъ, отправились послѣ класса не по той дорогѣ, по которой я обыкновенно возвращался, чрезъ Александровскій садъ, а—на Москворѣцкій мостъ чрезъ Ряды на Пятницкую, съ нея на Кузнецкую и оттуда на Зацѣпу. Богдановъ шелъ за нами въ скромномъ молчаніи, а Троицкій юлилъ, занимая меня непрерывными разговорами, похвалами семейству, перечисленіемъ учителей, которые прежде жили, увѣреніемъ, что ученикъ именно меня желаетъ и давно; только не смѣли подступиться и очень обрадовались, найдя случай чрезъ Успенскаго и т. д. Слишкомъ льстивыя слова мнѣ показались подозрительны, но послѣ я убѣдился въ ихъ искренности. Богдановъ издали восчувствовалъ ко мнѣ нѣчто въ родѣ

обожанія и не давалъ домашнимъ отдыха восклицаніями: „вотъ еслибы такого учителя! Вотъ кабы онъ согласился!“ И описывалъ меня вѣроятно, какъ сказочнаго царевича съ семью звѣздами на лбу. По семинарскому счету я былъ такая значительная величина, что могли дѣйствительно опасаться презрительнаго отказа. Они не знали о моей нуждѣ, а о моемъ скромномъ характерѣ и подавно.

Пришли. Полуторазтажный деревянный домъ, семь оконъ на улицу (одно фальшивое). Я проведенъ былъ чрезъ заднее крыльцо въ заднюю переднюю, гдѣ Троицкій поторопился снять съ меня шинель. Впереди была лѣстница на антресоли, налѣво кухня, направо столовая, за ней спальня. Меня провели чрезъ низкую столовую (надъ ней антресоли) въ спальню, высокую комнату съ двумя высокими окнами. Направо двуспальная кровать, за ней коммодъ и далѣе въ углу образница, налѣво лежанка, далѣе часы съ портретомъ какого-то духовнаго лица надъ ними и далѣе дверь въ гостиную. А впереди, въ простѣннѣ между окнами, дубовый столикъ съ зеркаломъ надъ нимъ и по бокамъ два кресла.

При входѣ нашемъ, съ правыхъ креселъ всталъ низенькій, очень низенькій старичекъ съ сѣдою, бѣлоснѣжною бородой, совершенно лысый, едва нѣсколько волосъ на затылкѣ, въ свѣтлоголубомъ подрясникѣ изъ шерстяной матеріи.

Первыя обычныя привѣтствія. Старичекъ держалъ себя важно, но замѣчательно вѣжливо, говорилъ съ разстановкой, сопровождая слова любезною улыбкой. Намъ говорить впрочемъ не дали. Серdito замѣтилъ мой будущій ученикъ, обращаясь къ матери, что онъ проголодался, поскорѣе бы накрывали на столъ.

— Не угодно ли откушать? предложила мнѣ сидѣвшая съ другой стороны столика старушка съ какою-то работой въ рукахъ.

Я поблагодарилъ, и мы, трое пришедшіе, сѣли въ столовой обѣдать.

— Не угодно ли водки? предложилъ мнѣ Павелъ Троицкій.

Я поблагодарилъ, сказавъ, что не пью.

— Вотъ это хорошо, отозвался хозяинъ, стоявшій около насъ на этотъ разъ.

Послѣ обѣда разговоръ о цѣли моего посѣщенія въ двухъ словахъ, не болѣе. Существо моихъ обязанностей предполагалось извѣстнымъ и предоставлялось въ подробностяхъ опредѣлить мнѣ самому. „Я платилъ семь рублей въ мѣсяцъ (ассигнаціями)“, объяснилъ батюшка. Квартира и столъ подразумевались. „Павелъ (Троицкій) покажетъ вамъ комнату“. Меня повели на антресоли и показали угловую комнату, свѣтлую, уютненькую, совершенно на отлетѣ, съ мебелью болѣе нежели приличною; она привела меня въ восторгъ.

Я сошелъ внизъ и объявилъ свое согласіе. Предложили курить, въ чемъ подалъ примѣръ Троицкій съ ученикомъ. Затѣмъ поданъ чай. Краткіе разговоры съ матушкой - попадѣй, состоявшіе въ разспросахъ, гдѣ я жилъ. Хозяинъ исчезъ: онъ легъ отдохнуть въ гостиной.

Потащили двое ребятъ снова на верхъ; Павелъ болталъ неумолкаемо; старался угадывать мои желанія, совался съ услугами. Ученикъ болѣе молчалъ и нѣсколько дрожалъ, что у него бывало признакомъ восхищенія. Изрѣдка обращался съ чѣмъ-то къ Павлу; тотъ выбѣгалъ и возвращался или съ какимъ-нибудь лакомствомъ, или съ показомъ какой-нибудь вещи, которая, по ихъ предположенію, могла меня заинтересовать.

Уже поздній вечеръ. Подали ужинать. Ужинало насъ только трое; хозяевъ не было. Троицкій просилъ меня ночевать. „Что вамъ ѣхать? Далеко, да ужъ ночь“.

Я остался. Да такъ и остался совсѣмъ. Къ брату подѣ Дѣвичій я попалъ уже черезъ нѣсколько мѣсяцевъ только, найдя нужнымъ все-таки навѣстить его. Даже увѣдомить своевременно о своемъ переѣздѣ не удалось или не пришло въ голову.

Я нашелъ такое радушіе, такую теплоту приѣма и

обращенія, столько предупредительной ото всѣхъ деликатности, что не было даже дня, нѣтъ, этого мало,—не было даже часа, когда бы успѣлъ оглянуться, что я у чужихъ, что я нахлѣбникъ и наемникъ. Да и дѣйствительно я оказался ничуть не наемникомъ. Жалованье хотя мнѣ и выговорено, но я его ни разу не получилъ, а получалъ на свои нужды, сколько мнѣ было надобно, по мѣрѣ того какъ надобилось и часто безъ своего вѣдома. Черезъ нѣсколько же дней у меня явились калоши, на которыя мнѣ указалъ Троицкій и о заказѣ которыхъ для меня я не подозрѣвалъ; явилось бѣлье; какъ бы по щучьему велѣнью, носовые платки оказывались въ моихъ карманахъ; приходилъ портной снимать съ меня мѣрку „кстати“, потому что шилось что-то для моего ученика. Цѣлая пара очень тонкаго сукна, полученная отъ какого-то купца, показана была мнѣ, не пригодится ли она мнѣ, потому что „Игнашенька“ (ученикъ), которому она предназначалась, ея не желаетъ, не нравится; онъ оставилъ изъ нея себѣ только жилетъ рытаго бархата. Мнѣ даютъ денегъ на извозчика, если на дворѣ грязно. На праздникахъ предлагаютъ пятирублевки и десятирублевки въ виду моихъ нуждъ, которыя могутъ быть неизвѣстны, и въ виду того, что я же совсѣмъ не бралъ жалованья. Но странно было мнѣ и требовать жалованье, когда я удовлетворенъ свыше мѣры, когда мои нужды исполнены прежде, чѣмъ я самъ успѣлъ ихъ видѣть. Заикаться о какомъ нибудь своемъ желаніи, даже косвенно намекать на недостатку чего-нибудь было даже совѣстно, и я остерегался. Я зналъ, что подниму этимъ всѣхъ на ноги и вызову заботы, которыхъ обо мнѣ было и безъ того черезъ край.

Сѣдой лысый старичекъ-священникъ и старушка жена его—знакомые читателю изъ прежнихъ главъ, Алексѣй Ивановичъ и Надежда Алексѣевна Богдановы. Послѣ Двѣнадцатаго Года, при описаніи котораго я познакомилъ съ ними читателей, Алексѣй Ивановичъ продолжалъ дьяконствовать при церкви Симеона Столпника,

не ища ни перехода въ другое мѣсто, ни священническаго сана и не имѣя въ томъ нужды, потому что воспитательница Надежды Алексѣевны, Надежда Ѳеодоровна Козлова, не оставляла ихъ своими пособіями. Каждую зиму цѣлыми обозами отправлялась изъ Тульской губерніи всякая провизія, какъ въ домъ самой Козловой, такъ и къ симоновскому дьякону. Никакой нуждѣ и заботѣ не давала появляться названная мать; съ появленіемъ каждаго ребенка на свѣтъ являлся и значительный денежный подарокъ отъ крестной матери, а первую дочь Надежды Алексѣевны Надежда Ѳеодоровна, принявъ отъ купели, взяла себѣ даже совсѣмъ въ дочери, подобно какъ взята была нѣкогда и сама Надежда Алексѣевна. Но для дочери Алексѣя Ивановича уже не предвидѣлось соперницы, которая стала бы поперекъ дороги, какъ случилось нѣкогда съ дочерью дьякона подмосковной деревни. Машеньку начали воспитывать, какъ родную дочь и будущую наслѣдницу, о чемъ и объявлено всѣмъ роднымъ Козловой.

Алексѣй Ивановичъ не искалъ священническаго мѣста, но его разыскалъ Филаретъ. Просматривая клировыя вѣдомости, митрополитъ обратилъ вниманіе на неподвижность симоновскаго дьякона, никуда не перепрашивающагося, хотя пользующагося постояннымъ одобреніемъ начальства и не лѣниваго въ проповѣданіи (въ глазахъ Филарета это много значило). Предположивъ (отчасти это и было справедливо) въ Богдановѣ избытокъ смиренія, владыка вызвалъ его и самъ предложилъ священническое мѣсто при единовѣрческой церкви. По доходности оно было изъ лучшихъ и вело къ близкому протоіерейству.

— Простите, святѣйшій владыко, возразилъ повергшись ницъ отличенный діаконъ, — не налагайте на меня бремени, которое понести я не въ силахъ.

— Почему такъ?

Алексѣй Ивановичъ началъ представлять, что служеніе при единовѣрческой церкви налагаетъ на священника по существу особенный долгъ: содѣйствовать совер-

шенному примиренію единовѣрцевъ съ церковью. А онъ не чувствуетъ себя къ этому въ силахъ, не приготовленъ, мало знакомъ.

Митрополитъ уважилъ просьбу, но вскорѣ снова его вызвалъ.

— Теперь уже не предлагаю тебѣ, а прошу. Вотъ мѣсто, въ Алексѣевскомъ дѣвичьемъ монастырѣ. Прошу его принять. Игуменья тутъ гордая и строптивая; терпи, исполняй долгъ безъ потворства, но и безъ пререканій, а въ затруднительныхъ случаяхъ ко мнѣ обращай. Должно, чтобы ты поступилъ, не кто другой. Я тебя не забуду.

На этотъ разъ Алексѣй Ивановичъ принялъ бремя. Игуменья попалась дѣйствительно высокомерная, самовластная, сварливая. Она входила въ пререканія съ самимъ митрополитомъ, и разногласіе ихъ чуть ли не доходило до Синода. Священники должны были ходить у ней по стрункѣ, по цѣлымъ часамъ дожидаться въ церкви какъ бы высочайшей особы, безъ ея позволенія не ступать ни шагу, выслушивать строгія замѣчанія. Алексѣй Ивановичъ достойно исполнилъ щекотливое порученіе, возложенное на него: терпѣлъ, держалъ себя смиренно, вѣжливо, но съ достоинствомъ, въ недоумѣніяхъ обращался къ митрополиту. Не прошло нѣсколькихъ мѣсяцевъ, какъ въ одинъ изъ подобныхъ докладовъ митрополитъ сказалъ ему: „Освободилось мѣсто у Флора и Лавра въ Ямской Коломенской слободѣ; приходъ богатый; сужу изъ того, что тридцать просьбъ мнѣ подано. Если желаешь перевода, подай прошеніе.“

Алексѣю Ивановичу осталось благодарить, и онъ поступилъ на Зацѣпу, въ своего рода помѣстье; приходъ простирался на двѣ версты въ поперечникѣ, многочисленный, сѣрый, какъ выражаются въ духовенствѣ, но вполне обезпечивающій содержаніе причта; пятаками набрасаютъ тысячи. Въ тогдашнія времена, а этому уже сорокъ четыре года, священнику приходило до восьми тысячъ ассигнаціями безо всякаго усилія. Фондомъ на-

селенія были ямщики, огородники, мастеровые всѣхъ возможныхъ ремеслъ, но жили и фабриканты и чиновники; довольно хлыстовъ, множество хлыстовоѣ, какъ извѣстно, по наружности очень приверженныхъ къ церкви. Превозмогающихъ тузовъ, которымъ бы нужно было кланяться, не имѣлось; причтъ былъ независимъ, и Алексѣй Ивановичъ залѣнился, и чѣмъ далѣе шло время, тѣмъ болѣе лѣнился. Когда я къ нему посту пилъ въ домъ, прошло уже шестнадцать лѣтъ со времени его священства. „Я совсѣмъ одичалъ, говаривалъ онъ мнѣ, боюсь разучиться читать“. Другой на его мѣстѣ, уже отличенный митрополитомъ, постарался бы выставиться, совался бы въ должности, но Алексѣя Ивановича всякій выходъ изъ его скорлупы повергалъ въ смущеніе. А вызовъ на подворье такъ никогда не обходился безъ того, чтобы не произвести разстройства въ желудкѣ. Лѣтъ за шесть до моего поступленія приходилось освящать придѣльную церковь, которая въ настоятельство Алексѣя Ивановича сооружена вновь и съ новою колокольней. Алексѣй Ивановичъ выждалъ нарочно времени, когда митрополитъ уѣдетъ въ Петербургъ, чтобы только не просить его на освященіе. Нужды нѣтъ, что послѣдовала бы тогда награда за усердіе по сооруженію храма, но лицезрѣніе владыки страшно. Такъ и остался Флоровскій священникъ даже безо всякаго одоб рительнаго отзыва за храмосзданіе.

Въ неподвижномъ спокойствіи проводила жизнь и Надежда Алексѣевна, ставъ отъявленною домосѣдкой, почти не сходящею со своего кресла съ глухою спин кой, предъ окномъ въ спальнѣ, у дубоваго столика. Вы ѣхать въ гости къ роднымъ, хотя бы для поздравленія, требуемаго неизбѣжнымъ приличіемъ, было для нея по двигомъ, о которомъ она за нѣсколько дней охала. Съ такою тягостью поднималась она даже къ замужней родной дочери, не говоря о многочисленной роднѣ своего мужа, которой не то что не любила, но не сочув ствовала изъ нея никому.

За то собственный ихъ домъ отличался гостепріимствомъ; двери для всѣхъ открыты, и каждый гость, если угодно, живи сколько хочешь. Эта барская привычка осталась по памяти отъ „маменьки“, какъ называла Надежда Алексѣевна свою нареченную мать-воспитательницу. Тѣ же деревенскія преданія сказывались и въ размахистомъ столѣ, для чего не переводились собственные индюки и утки, которымъ кстати былъ и просторъ: впереди обширный монастырскій погостъ, сзади огороды на полторы версты съ собственнымъ прудомъ на священнической землѣ. Свои коровы, и въ сливакахъ хотѣ купайся. Чаевъ и кофеевъ каждый изъ семьи заказывай хоть по двадцати разъ въ сутки и каждый разъ пей сколько угодно, съ хлѣбомъ, сухарями, печеньемъ, по выбору. Да кромѣ того, въ спальнѣ на коммодѣ, а иногда и въ столовой, смотря по времени года, стоятъ тарелки или подносы съ лакомствами: лѣтомъ ягоды, какія поспѣли къ тому времени, осенью арбузы и дыни, зимой сухія сласти: миндальные орѣхи, фисташки, черносливъ, яблоки и такъ далѣе, безпереводно. Подойдетъ тотъ или другой среди дня, кому охота, и истребляетъ въ количествѣ, которое дозволяетъ аппетитъ. Тарелка, подносъ или корзина опустошаются; но не тревожьтесь, недостачи не будетъ: зоркій глазъ хозяйки замѣтилъ, и черезъ минуту вновь полны тарелка или подносъ.

Таковъ былъ домъ, куда я поступилъ. Надежда Федоровна Козлова лѣтъ восемь уже умерла къ тому времени, но хозяйство домашнее шло тѣмъ же порядкомъ какъ бы при ней, когда и она сама, случалось, гащивала у названныхъ дѣтей. Возы съ провизіей уже не пріѣзжали изъ степи, крѣпостные уже не сидѣли въ передней и буфетѣ; двѣ обыкновенныя Авдотьи составляли всю прислугу, но старосвѣтскій складъ, завѣщанный епифанскою помѣщицей, пребывалъ. Какъ зрѣлый плодъ сваливается съ дерева, такъ, не слышно разлучившись съ братомъ, я не помялъ боковъ, подобно падающему на землю плоду; я попалъ въ луночку, какъ

бы для меня приготовленную и выложенную соломой ли, хлопкомъ ли. Эта жизнь, освобождавшая ото всѣхъ внѣшнихъ заботъ, способна была дѣйствовать даже развращающимъ образомъ, облѣнить, усыпить, притупить умъ. Въ своемъ ученикѣ и даже въ Павлѣ Троицкомъ (хотя въ послѣднемъ менѣе) я и нашелъ это.

Павелъ Троицкій, этотъ не то членъ семейства, не то нѣтъ, казавшійся мнѣ съ этой стороны загадочнымъ въ началѣ, скоро выяснился. Сынъ мѣстной просвирни, сверстникъ по лѣтамъ Игнатію Алексѣвичу, а отсюда и по играмъ и занятіямъ, онъ занялъ мѣсто, какое въ старыхъ боярскихъ домахъ припасалось мелкопомѣстному баричу, а не то и дворовому, чтобъ „охотнѣе было молодому барину учиться“. Онъ учился вровень съ Игнатіемъ Алексѣвичемъ, а теперь нѣсколько обогналъ его, перейдя въ Среднее Отдѣленіе, тогда какъ Игнатій Алексѣвичъ остался на повторительный курсъ. Онъ былъ свой человѣкъ въ домѣ, обращался со всѣми за панибрата, кромѣ батюшки, съ которымъ еще сохранялъ сдержанность, позволяя себѣ однако относиться и къ нему съ шуточками. Надежду Алексѣевну заочно и въ глаза называлъ „старѣйшиной“, передавалъ ей съ трубкой во рту мѣстные происшествія, исполнялъ разные порученія. Съ нимъ совѣтовались, отъ него не было домашнихъ секретовъ, и онъ въ первые же дни, чуть даже не въ одинъ день познакомилъ меня со всею судьбой семейства и его родными, описавъ каждого и притомъ съ благопріятной стороны, въ чемъ надобно отдать справедливость чужехлѣбнику: такая нѣжность отношеній рѣдко бываетъ у людей въ его положеніи.

Троицкій дневалъ и ночевалъ, обѣдалъ и спалъ у Богдановыхъ, забѣгая развѣ на полчаса къ матери, о которой и вообще о домашнихъ своихъ хранилъ скромное молчаніе. Проведя съ нимъ много дней, трудно было и догадаться безъ посторонняго объясненія, что у этого молодого человѣка есть своя семья. Въ отношеніи меня онъ исполнялъ обязанности посредника. Черезъ

него узнавали о моихъ нуждахъ или онъ самъ о нихъ докладывалъ; а я употреблялъ его, хотя съ малымъ успѣхомъ, чтобы чрезъ него привлечь своего ученика къ занятіямъ.

Восторженное обожаніе, которымъ ко мнѣ проникся ученикъ, любовь и уваженіе, встрѣченныя отъ его семьи, готовность содѣйствовать во всѣхъ моихъ личныхъ надобностяхъ, не говоря о надобностяхъ сына, внушили было мнѣ надежду, что я блистательно исполню долгъ учителя и руководителя, что изъ моихъ рукъ выйдетъ развитой молодой человѣкъ; въ него я вдохну идеалы, которыми самъ жилъ, пробужу его любознательность, открою міръ знаній. Къ сожалѣнію, природа моего ученика, хотя благороднѣйшая и добрѣйшая, оказалась неудобною почвой. Восторженное чувство и было единственнымъ, до чего она способна была подниматься; но гдѣ начинался трудъ, активная работа, духъ падалъ, овладѣвала лѣнь, и умъ въ добавокъ былъ не изъ быстрыхъ и блестящихъ. При объясненіи ли урока или темъ для сочиненія, если что и способно было увлечь его, то исключительно внѣшняя сторона; дѣйствовало воображеніе, за которымъ умъ и дѣятельность отказывались слѣдовать. Положимъ, читается мѣсто писателя; я разбираю и указываю достоинства. Онъ принимаетъ ихъ на вѣру и потомъ спрашиваетъ: „а много онъ написалъ?“ или „какіе онъ языки зналъ?“ — „Каково!“ продолжаетъ онъ, въ восторгѣ отъ того, что вотъ де какіе есть и были талантливые или ученые мужи или подвижники. Алексѣй Ивановичъ, не смотря на то что сынъ былъ у него единственный, съ простосердечіемъ, достойнымъ умиленія, говаривалъ мнѣ: „не хлопочи, братъ, много; ничего не выйдетъ; я давно вижу“; говорилъ онъ это съ покорностью судьбѣ. Троицкій же Павелъ, въ которомъ я надѣялся найти подстрѣкающее орудіе, былъ слишкомъ практическаго склада. Да еслибъ и удалось мнѣ зажечь въ немъ огонь и довести до того, чтобы онъ достигъ, положимъ, перваго мѣста въ спискѣ, единствен-

нымъ отраженіемъ его успѣховъ на моемъ ученикѣ было бы то, что Игнатій Алексѣевичъ радовался бы отъ души и восхищался бы: „каковъ Паша!“

Что-то дѣтское, младенческое оставалось въ моемъ ученикѣ и сохранилось, мало видоизмѣнившись, на всю жизнь. Въ этомъ онъ былъ отчасти повтореніемъ своего отца. Пятидесяти восьми лѣтъ, кажется, былъ Алексѣй Ивановичъ, когда я съ нимъ познакомился, а дѣтскаго въ немъ было пропасть. Еслибъ онъ былъ старше, я бы предположилъ старческое расслабленіе, возвращающее къ младенчеству. Мозгъ его былъ совершенно здоровъ; онъ рассуждалъ дѣльно и даже остроумно, но лишь тогда когда было не лѣнь. Его тянуло къ совершенному спокойствію, къ отдыху ума и воли, и онъ игралъ въ куклы какъ и сынъ; у того и другаго были свои куклы, и каждый игралъ по своему.

Начать съ того, что Алексѣй Ивановичъ кралъ у себя деньги. Хозяйствомъ онъ совершенно не занимался, не понималъ въ немъ ничего и не хотѣлъ ничего знать; это была область, въ которой Надежда Алексѣевна распоряжалась всевластно, и Алексѣй Ивановичъ ограничивался тѣмъ, что добродушно подсмѣивался иногда надъ женой, чѣмъ-нибудь обезпеченною, и старался ее раздражить насмѣшливо преувеличенною трудностію озаботившаго ее дѣла. Какъ хозяйкѣ, Алексѣй Ивановичъ отдавалъ женѣ и получаемые доходы въ безконтрольное распоряженіе; однако не всѣ, и въ этомъ сила. Кредитки поновѣе и пощеголеватѣе на видѣ онъ оставлялъ у себя и пряталъ въ конторкѣ. Для чего? Для исполненія фантазій, которыя у него являлись, то та, то другая. Понравилось ему переплетное мастерство: онъ купилъ картоновъ, купилъ прессъ и разныя принадлежности переплетнаго мастерства, но не съ тѣмъ чтобъ имъ заняться, хотя и съ рѣшительнымъ повидимому намѣреніемъ. То—занятіе столярное: сколько куплено инструментовъ, рубанковъ, пилокъ, фанерочекъ! Но все это брошено чрезъ нѣсколько дней или недѣль;

все удостоилось только поглядѣнья. Не то начнетъ его сокрушать забота объ отсталости. „Ничего не читаю, братъ, стыдно“, говорилъ онъ мнѣ, и такое признаніе бывало предвѣстіемъ, что онъ разъ, два и три ѣдетъ въ книжныя лавки, накупаетъ произведеній, духовныхъ и свѣтскихъ, пользующихся славой, отдаетъ ихъ въ богатый переплетъ, и... не читаетъ; развѣ я бывало иногда увлеку его и прочту страницы двѣ, которыми однако скоро онъ и утомится.

Сынъ его, Игнатій Алексѣевичъ, точно также не прочь былъ накупать бездѣлушекъ, даже буквально куколъ, стоять надъ ними и дрожать. А ему было 14 и 15 лѣтъ! Не то вотъ было его удовольствіе. Родныхъ было у него (по отцу главнымъ образомъ) гибель неисчислимая; однихъ двоюродныхъ чуть ли не до сотни обоего пола. Игнатій Алексѣевичъ ежемѣсячно составлялъ имъ списки по поведенію, тщательно разграфлялъ бумагу и выводилъ имена старательнымъ почеркомъ, при чемъ спрашивалъ иногда совѣта у Павла и даже у меня, подвергая сужденію какой-нибудь поступокъ или какое-нибудь слово тѣхъ или другихъ брата или сестры, честно ли и благородно ли поступлено и сказано.

Самъ Алексѣй Ивановичъ поражалъ меня излишествомъ почтительныхъ, даже благоговѣйныхъ отзывовъ о всѣхъ лицахъ, сколько-нибудь извѣстныхъ. Недостатки, даже для всѣхъ видимые, какъ будто завышались для него. Онъ говорилъ и всегда важно, но по мѣрѣ почтенія къ тому или другому выраженіе его лица и интонація словъ переходили въ таинственность, какъ бы въ указаніе того, что дѣло идетъ о необыкновенной глубинѣ ума, или недостижимости подвига. Сынъ унаслѣдовалъ эту черту добродушнаго кумиролуженія. Въ числѣ учителей его былъ нѣкогда В. И. Красовъ, не безызвѣстный поэтъ и членъ Станкевичевского кружка; въ числѣ преподавателей музыки—А. И. Дюбюкъ. „О!“ и „а!“ медленно восклицаемыя, съ приложеніемъ руки къ головѣ и съ покачиваньемъ головой, до того часто

слышались мною, что я возымѣлъ предубѣжденіе противъ обоихъ лицъ и не имѣлъ силъ даже принудить себя ни разу сойти въ гостинную, когда пріѣзжалъ Красовъ, и сначала съ трудомъ сошелъ послушать А. И. Дюбюка, къ которому долгое время сохранялось недо-вѣріе, воспитанное неумѣренными восторженными отзывами Богдановыхъ.

Надежда Алексѣевна, умъ практическій, восторгамъ не предавалась. Ея спокойной добротѣ я удивлялся. Я никогда ея не видѣлъ „вышедшею изъ себя“; если ее очень уже разстроить, приведутъ въ негодованіе какимъ-нибудь непріятнымъ поступкомъ, она „уходила отъ другихъ“, махнувъ рукой, и облегчала надорванную душу двумя-тремя слезами наединѣ. Ея благодушіе къ легкомыслию, а иногда и серіознымъ проказамъ своего мужа было изумительно. Это была всепрощающая натура.

Старики были очень добры. Надежда Алексѣевна слыла скупой, но это можно было говорить, только сравнивая ее съ мужемъ. Алексѣй Ивановичъ, и въ этомъ наслѣдовалъ ему сынъ, былъ щедръ и сострадателенъ безконечно. Несчастному и нуждающемуся онъ готовъ былъ отдать и, случалось, отдавалъ все, что при немъ было. Когда отправлялся онъ въ приходъ съ требой, если это было днемъ, уличные ребята могли разсчитывать на жатву; онъ покупалъ имъ лакомства или раздавалъ деньги. Отправляясь къ бѣдному, онъ давалъ больному на лѣкарства. Cholera 1831 и 1848 годовъ видѣла въ немъ неустоимаго труженика, а въ 1831 году даже самоотверженнаго. Тогда вѣрили въ заразительность холеры, и Надежда Алексѣевна показывала мнѣ, до котораго изразца достигали на лежанкѣ деньги, поступавшія отъ холерныхъ больныхъ. Изъ опасенія заразы, къ деньгамъ не прикасались, а по высотъ горы, составившейся изъ грошей и пятаковъ, можно было заключить, сколько было больныхъ и сколько было труда священнику.

Злопамятности, мстительности не было у Алексѣя Ивановича и тѣни. „Ну, меня не убудетъ“, говорилъ онъ

въ виду какой-нибудь грубѣйшей несправедливости; или даже представить въ комическомъ свѣтѣ обиду, противъ него замышленную или учиненную, какъ очень забавную по своей мелочности. Надежда Алексѣевна въ этомъ отношеніи была нѣсколько болѣе прочнаго металла. Немстила и она, непріятностями за непріятности не воздавала, но мелочность или низость другихъ оцѣнивала по заслуженному; съ добродушіемъ, но мѣтко, а подчасъ художественно, очерчивала она, помню, характеръ ближайшихъ родныхъ мужа: грубость, на примѣръ, зятя, бывшаго квартальнаго, и скупость брата, Басманскаго протоіерея. Въ комическомъ видѣ передавала, какъ, получивъ въ подарокъ лошадь, онъ отправлялся въ тяжелыхъ четверныхъ дрожкахъ куда-нибудь въ гости съ семьей, распорядившись дома уже ничего не готовить; на дорогѣ же приказывалъ распрягать лошадь среди улицы и кормить, совершая часть пути пѣшкомъ. Можетъ-быть разсказъ былъ и преувеличенъ, но комическая сторона мастерски изображалась съ тою выпуклостью, какой можно было ожидать отъ женщины, выросшей въ холѣ и не испытавшей нужды въ зрѣломъ возрастѣ.

LIV.

Церковное письмоводство.

Въ новой семьѣ, меня пріютившей, я вскорѣ же приобрѣлъ безусловный авторитетъ по всѣмъ дѣламъ и вопросамъ, для которыхъ требовалось научное образованіе или даже простая грамотность. Алексѣй Ивановичъ тѣмъ болѣе мнѣ обрадовался, что лѣнь его по части всякаго умственнаго напряженія находила себѣ поблажку, окончательно освобождавшую его отъ труда. Написать о чемънибудь прошеніе, дать официальное

объясненіе, составить проповѣдь, стало моимъ дѣломъ.

На меня легло и все письмо по церкви. При всей лѣности Алексѣй Ивановичъ былъ тѣмъ не менѣе мнителенъ, и когда брался за что, то исполнялъ съ педантической аккуратностью. Все исходившее изъ его рукъ носило печать законченности; логически и грамматически правильная рѣчь, до мелочности соблюденное правописаніе, и самый почеркъ, правильный, ясный, изящный, хоть бы молодому человѣку въ пору. Его приводили въ негодованіе и возбуждали въ немъ почти физическую боль безграмотныя лавочныя вывѣски. Разъ, когда я жилъ уже въ Сергіевскомъ Посадѣ, Алексѣй Ивановичъ гостилъ у меня, и мы пошли прогуляться. Въ Рядахъ онъ прочиталъ надъ одной изъ лавокъ „продажа децкихъ игрушекъ“ и сталъ нервно жаловаться на то, что „терпятъ такое безобразіе“; затѣмъ усиленно просилъ не водить его болѣе по мѣстамъ, гдѣ онъ испытываетъ впечатлѣніе, производимое на другихъ видомъ лягушки, паука и вообще гада. Церковное писмоводство было для него поэтому источникомъ довольныхъ мученій. Онъ не довѣрялъ дьякону, тѣмъ болѣе дьячку. Пытался поручать веденіе метрическихъ и другихъ книгъ зятѣмъ, но морщился, когда пересматривалъ. „Все, братъ, не то“, передавалъ онъ мнѣ потомъ.

Я ему угодилъ сразу; я самъ былъ педантъ законченности; видъ подскобленной фразы или не на мѣстѣ поставленное *н*, а тѣмъ болѣе неточный оборотъ производили на меня самого нервное дѣйствіе. Алексѣй Ивановичъ довѣрился всецѣло, никогда меня не перечитывалъ и разъ поручилъ даже такое дѣло, которое уже совсѣмъ мнѣ было не по силамъ. Къ числу вѣдомостей, подаваемыхъ отъ приходскихъ церквей, принадлежатъ такъ называемыя „клировыя“, съ инвентарною описью церкви и послужными списками причта. Онѣ подаются чрезъ благочинныхъ архіерею, которому служатъ въ теченіе года настольною справочною книгой. Въ виду этого онѣ переписывались особенно тща-

тельными почеркомъ; Алексѣй же Ивановичъ поручилъ мнѣ не только составить, но и переписать,—мнѣ съ моимъ безобразнымъ, неправильнымъ почеркомъ, съ буквами, смотрящими каждая въ свою сторону,—мнѣ, никогда отъ рода даже не писавшему „по крупному“! Это было совершенное ослѣпление; Алексѣй Ивановичъ даже подпisałъ вѣдомость, хотя она смотрѣла не лучше счета изъ овощной лавочки. Я не отговорился отъ порученія, какъ вообще ни отъ чего не отговаривался, чѣмъ могъ услужить добрѣйшему старцу. Но благочинный возвратилъ рукопись, выразивъ удивленіе на неряшество, допущенное щепетильнымъ Алексѣемъ Ивановичемъ.

Церковное письмоводство принесло мнѣ свою пользу, дополнивъ мои познанія съ одного уголка, доселѣ мнѣ чуждаго. Я велъ метрическія книги, писалъ приходо-расходныя, составлялъ клировыя, статистическія, оспенныя и разныя другія, словомъ всякія вѣдомости, возлагаемыя на причтъ, за исключеніемъ „исповѣдныхъ“, которыя возлагались на дьякона.

Запись метрикъ требуетъ особенной строгости, какъ и понятно. Это есть важнѣйшій актъ, основаніе всѣхъ правъ. „Что запись сія ведена нами своевременно; пропусковъ, подчистокъ и поправокъ въ ней нѣтъ...“ и проч. ежемѣсячно удостоверяется рукоприкладствомъ всего причта, который независимо отъ того подписывается подъ каждую статью о каждомъ родившемся, умершемъ, бракосочетавшемся. Книги пишутся въ двухъ экземплярахъ, изъ которыхъ одинъ, помѣченный по листамъ и зашнурованный, подается въ консисторію; ведется двойная нумерація, общая числу рожденій, браковъ и смертей, и частная по поламъ. Все, кажется, предусмотрено; но есть прорѣхи.

Начать съ того, что хотя предполагается запись „веденною своевременно“, но своевременность ничѣмъ не гарантирована и соблюдается, по крайней мѣрѣ соблюдалась, только въ малолюдныхъ приходахъ, а тамъ гдѣ всего и легче проскочить ошибокъ, гдѣ родившіеся

и умершіе считаются многими сотнями, книги составляются спустя время. Такъ было и у Флора и Лавра. На основаніи черновыхъ малограмотныхъ замѣтокъ дьячка, метрики переносились въ книгу только по полугодіямъ, ко времени ревизіи благочиннаго. Случалось, что Алексѣй Ивановичъ выведетъ своимъ красивымъ почеркомъ первыя двѣ или три статьи съ очевиднымъ желаніемъ продолжать такъ и далѣе, но тѣмъ и оканчивалось. Подойдетъ до послѣдняго дня, и засаживаюсь я. Поспѣшность вела къ ошибкамъ, и я, чтобъ не дѣлать подчистокъ и оговорокъ, прибѣгалъ къ способу, придуманному Собакевичемъ: вносилъ тоже „Елизаветъ Воробей“. Родилось у Степана и воспріемникомъ былъ Андрей; спутавшись и записавъ Аеанасія вмѣсто Андрея, или Сидора вмѣсто Степана, я писалъ вторыя статьи, уже точныя, оставляя первыя безъ оговороки, а иногда для баланса присочинялъ; каюсъ совершалъ грѣхи противъ статистики. Отдаленнаго уѣзда несуществующей волости и небывалаго села крестьяне Еремей Андреевъ и законная жена его Степанида Ѳеодорова родили у меня дѣтей мужскаго и женскаго пола и получали воспріемниковъ; не рождавшіеся дѣти умирали и хоронились то на Даниловскомъ, то на Калитниковскомъ кладбищѣ.

Кромѣ невиннаго подлога съ цѣлію правильнаго баланса или даже для возстановленія точности свѣдѣній и восполненія пропусковъ, могутъ совершаться и злоумышленные, особенно тамъ гдѣ, какъ у Флора и Лавра, подписывались статьи членами причта не читая. Расскажу одинъ дѣйствительный случай, гдѣ при полномъ соблюденіи формы, не смотря на всѣ предосторожности, предписанныя закономъ, подложно было сообщено лицу важное гражданское право.

Отставной офицеръ-помѣщикъ, молодыхъ лѣтъ, древней фамиліи. Мать его—барыня чистой крови, которая только съ ужасомъ можетъ себѣ представить *mésalliance*. К — ій (фамилія офицера) путешествуетъ по

Европѣ, ѣдетъ во Францію. Здѣсь въ одномъ провинціальномъ городѣ знакомится съ семействомъ, доводящимся сродни фамиліи Бонапартовъ (это было при Людовикѣ Филиппѣ). Въ семействѣ дѣвица; какъ начался романъ, объ этомъ мнѣ не передано, но любовь увлекла молодого человѣка далѣе предѣловъ, допускаемыхъ честью, а дѣвица увлекшись отдалась ему. К—ій же посмотрѣлъ на свой романъ, какъ на шалость, оставилъ вскорѣ городъ и Францію.

Живетъ онъ въ Москвѣ съ матерью. Ничего не чаявшій, получаетъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ съ нарочнымъ посланнымъ письмо. Откуда? Отъ кого? Отвѣчаютъ: съ Кузнецкаго моста, изъ меблированныхъ комнатъ.

„Я здѣсь, и съ твоимъ ребенкомъ, писалось въ письмѣ; мнѣ остается или умереть или возвратиться съ моимъ позоромъ во Францію“.

Какая тема для романа! Молодая дѣвушка знаменитой во Франціи фамиліи, на послѣднихъ мѣсяцахъ беременности, ѣдетъ въ Москву искать бросившаго ее, но клявшагося безъ сомнѣнія въ вѣчной любви и честныхъ намѣреніяхъ. Переписки между ними не было; она ѣхала на удачу; слыхала отъ него о родныхъ его и матери; знала, что онъ съ Москвою переписывался, въ Москву она и поѣхала. Но онъ могъ быть на этотъ разъ въ деревнѣ или даже путешествовать. Какія надежды и какіе планы бродили въ головѣ пораженной ужасомъ дѣвушки? Сколько мужества нужно имѣть, чтобы бросить семью и одной, безъ провожатыхъ, пуститься въ такую даль и въ положеніи, которое могло среди пути быть застигнуто катастрофой! Однако она доѣхала; отыскала вѣроломнаго. Разрѣшилась она чрезъ нѣсколько дней по пріѣздѣ.

Молодой человѣкъ былъ пораженъ этимъ героизмомъ любви; прежняя нѣжность проснулась; онъ устыдился своего поступка и рѣшился его загладить. Но какъ?

Въ близкихъ отношеніяхъ находился онъ къ брату Александру.

— Конечно вы должны жениться, совѣтовалъ ему братъ.

— Ну, да. Только устройте. Вы понимаете, нужно такъ, чтобы матушка не узнала, чтобы ей сообщить о бракѣ, какъ о совершившемся уже фактѣ.

Устроить было и не трудно. Документы у К-аго и его невѣсты были въ порядкѣ. Онъ былъ совершеннолѣтній; она, какъ иностранка, освобождалась отъ нѣкоторыхъ формальностей, хотя нѣкоторымъ лишнимъ и подвергалась. Поручители готовы; въ числѣ ихъ былъ и родной братъ жениха и французскій консулъ. Приняты были предосторожности, чтобы избѣгнуть огласки. Хотя бракъ совершенъ былъ въ ближайшей приходской церкви, въ трехъ шагахъ отъ дома матери; прислуга могла попасть въ число зрителей: но воспользовались тѣмъ, что въ церкви на этотъ разъ производились постройки; она была постоянно отперта; архитекторъ и подрядчикъ то и дѣло навѣщали ее; прибытіе нѣсколькихъ постороннихъ не могло возбудить опаснаго любопытства въ сосѣдяхъ.

Но что дѣлать съ ребенкомъ? На Кузнецкомъ мосту, въ меблированныхъ комнатахъ онъ рожденъ, нигдѣ не записанъ и не крещенъ. Отдать въ чужія руки, отречься запрещала проснувшаяся совѣсть отца и глубокая нѣжность матери.

Держать при себѣ и воспитывать? Но какъ объяснить бабушкѣ происхожденіе дитяти?

Необходимо узаконить ребенка и представить его бабушкѣ, какъ законнорожденное, но скрытое до времени, какъ и бракъ изъ опасенія ея гнѣва.

Исполнить задуманную хитрость помогла форма метрики, несовершенная при всѣхъ предосторожностяхъ. Рожденіе и крещеніе, не смотря на существенное различіе обоихъ актовъ, записываются въ одной статьѣ. Крещеніе, самое совершеніе его и день, въ который оно совершено, удостоверяются поименованіемъ свидѣтелей (воспріемниковъ) и рукоприкладствомъ священника, со-

вершавшаго таинство, и причта ему содѣйствовавшаго. О днѣ же рожденія, равно и о родителяхъ, записывается со словъ, на вѣру. И такъ, въ дѣлѣ К-аго, задача состояла только въ томъ, чтобы крестить ребенка послѣ брака. Священникъ занесетъ этотъ фактъ въ соотвѣствующее число, при чемъ въ волѣ родителей будетъ и о днѣ рожденія показать, что онъ послѣдовалъ также по совершеніи брака. А чтобы не было слишкомъ явной улики о давнемъ рожденіи, рѣшили крестить даже подальше отъ мѣстожителства. Наняты лошади; морозъ или вьюга вынудили ночевать въ селѣ около дороги, и здѣсь ребенокъ былъ крещенъ. Священникъ былъ предувѣдомленъ разумѣется.

— Да чтожъ! Я и не обязанъ смотрѣть въ зубы крещаемому. Моя обязанность крестить и не допустить подлога въ родителяхъ, когда подлинныя родители мнѣ достовѣрно извѣстны. Съ этой стороны чисто. А что ребенокъ явился на свѣтъ нѣсколькими недѣлями или даже мѣсяцами раньше, нежели родители показываютъ, судить объ этомъ и возбуждать дѣло не моя обязанность.

Такъ разсуждалъ священникъ и не безъ основанія.

Ребенокъ былъ женскаго пола да скоро и умеръ. Со-наслѣдникъ, родной братъ мужа, зналъ о заговорѣ. Въ имущественныхъ правахъ не нанесено никому ущерба. За то нравственная обязанность выполнена, честь и миръ семьи сохранены. Старуха-мать, разумѣется, простила, всему повѣрила и полюбила невѣстку и внучку. Однако тотъ же пробѣлъ въ метрическихъ записяхъ можетъ вести и къ предвосхищенію гражданскихъ правъ.

Не слѣдуетъ ли вмѣнить причтамъ въ обязанность, чтобы удостовѣрялись и въ днѣ рожденія крещаемыхъ? Но тогда метрическія записи теряютъ свой подлинный смыслъ. Онѣ записи церковныя; церковь отмѣчаетъ поступающихъ въ нее, а вступаютъ въ церковь не тѣлеснымъ рожденіемъ, а духовнымъ, крещеніемъ. Государство только пользуется этою записью для своихъ цѣлей, избавляя себя отъ труда содержать особыхъ аген-

товъ-регистраторовъ. Для него тѣмъ удобнѣе облегчать себя въ веденіи метрической регистратуры, что „лишенныхъ вѣроисповѣданія“ (Confessionslos) оно не признаетъ, какъ другія государства. Такимъ образомъ регистратура рожденій, браковъ, смертей и остается на духовенствѣ, за исключеніемъ немногихъ случаевъ, когда вѣроисповѣданіе, къ которому принадлежитъ рождаемый, брачащійся или умирающій, не признано государственною властію, а съ тѣмъ вмѣстѣ не признано, понятно, и его духовенство; за регистратуру тогда берется гражданская администрація.

Однако справедливо ли и цѣлесообразно ли такъ дѣло поставлено? Второе рожденіе, духовное, предполагается только христіанскими исповѣданіями; а въ другихъ его нѣтъ, и нѣтъ у нихъ самага духовенства; ламамъ, ахунамъ и раввинамъ законъ приписываетъ значеніе среди единовѣрцевъ, котораго они по закону своей вѣры не имѣютъ. И напрасно: государство официальнымъ полномочіемъ усиливаетъ ихъ власть противъ своихъ интересовъ. Оно тѣмъ даетъ не одно покровительство, но дѣятельную поддержку каждому исповѣданію со стѣсненіемъ личной совѣсти до извѣстной степени. Высокопреосвященный Веніаминъ въ своей запискѣ о миссіонерствѣ убѣдительно поясняетъ, какимъ образомъ закрѣпляется продолженіе языческихъ суевѣрій и затрудняется распространеніе христіанства и русской народности неправильнымъ присвоеніемъ достоинства, а съ нимъ и власти духовныхъ лицъ ламамъ. Тоже съ раввинами. Дѣтъ шестнадцать назадъ получилъ всеобщую огласку споръ въ Петербургѣ между евреемъ, у котораго родился мальчикъ, и раввиномъ. Родители-евреи не желали, чтобы ребенокъ подвергался обрѣзанію; раввинъ безъ того не давалъ метрическаго свидѣтельства. Положимъ, родитель на этотъ разъ, кажется, одолѣлъ, но потому что это былъ Гинцбургъ, а всякій другой вынужденъ былъ бы покориться и закрѣпить ребенка лишнимъ осязательнымъ узломъ въ религіозныхъ особенностяхъ юдаизма.

У духовенства нехристіанскихъ исповѣданій по справедливости и здравому смыслу должно быть отнято право, приписанное ему неосновательнымъ сравненіемъ его съ христіанскимъ священствомъ. Если для раскольниковъ записи ведутся полиціей, почему не вести ей же для магометанъ, евреевъ, язычниковъ? А затѣмъ необходимо ли предоставлять гражданскую силу записямъ даже псевдзовъ и пасторовъ? При громадномъ, подавляющемъ большинствѣ православнаго народонаселенія, ради единства, а частію и въ политическихъ видахъ, можетъ быть полезно было бы и метрику католиковъ съ протестантами сосредоточить въ рукахъ гражданской администраціи. Въ Западномъ краѣ и въ Балтійскихъ губерніяхъ отнята была бы лишняя сила у элементовъ, коренному населенію и даже государственной власти непріязненныхъ.

Веденіе приходо-расходныхъ книгъ познакомило меня съ колоссальнымъ обманомъ, который совершался на пространствѣ имперіи завѣдомо для всѣхъ, не исключая правительства. По закону, тогда существовавшему (придуманному Сперанскимъ), вся прибыль отъ церковной продажи свѣчей должна была поступать въ Святѣйшій Синодъ на содержаніе духовно-учебныхъ заведеній,—„на пользу церкви“, какъ значилось въ заголовкѣ графы. Теоретически было справедливо: храмъ не лавочка; коммерческая нажива профанируетъ вѣру и противна слову Христа, изгнавшаго торжниковъ изъ дома молитвы; пусть храмъ содержится на подаянія, собираемая въ „кошелекъ“ и „кружку“. Но на дѣлѣ ни одинъ храмъ кошелечковыми и кружечными сборами содержать не можетъ. Отсюда обманъ, къ которому вынуждены были прибѣгнуть причты со старостами: количество проданныхъ свѣчей, а слѣдовательно и прибыль съ нихъ показывались въ меньшемъ количествѣ; равно утаивалось и количество огарковъ, остававшихся отъ зажигаемыхъ свѣчей. Наблюдалось одно: лишь бы сумма, отчисляемая „на пользу церкви“, оказывалась не мень-

ше отосланной прошлымъ годомъ; хоть на одну копейку, да будь больше. Иначе потребуютъ объясненій, наряжено будетъ слѣдствіе. Я забавлялся и возвышалъ иногда доходъ всего на одну четверть или даже на одну седьмую копейки; продолжись законъ хотя на сто лѣтъ, раззореніе не велико, придется черезъ сто лѣтъ заплатить лишняго одинъ рубль, а то и того менѣе. Но бывали въ иныхъ церквахъ старосты, прибавлявшіе по десяткамъ и даже сотнямъ рублей сразу. Не для соблюденія правды это совершалось, а для полученія медали. Доходы показывались все таки въ уменьшенномъ количествѣ противъ дѣйствительнаго, и объ этомъ, помимо старосты, извѣстно было причту, ходатайствовавшему о наградѣ, принимавшему ходатайство архіерею, и самому Синоду, представлявшему старосту къ медали. Кто кого обманывалъ? А между тѣмъ выдавались порядкомъ пшуровыя книги, производился ежемѣсячно и записывался фиктивный счетъ денегъ, книги въ каждое полугодіе отправляемы были на ревизію. И въ нихъ все было ложно, насочинено отъ первой строки до послѣдней.

Когда я ихъ сочинялъ, младшій зять Алексѣя Ивановича, служившій въ казенной палатѣ контролеромъ, занимался другимъ сочиненіемъ: составлялъ счетныя книги для полиціи, подлежащія его контролю. О, Русь! О, бумажное царство формы! Весь губернской контроль занимался подобною работою: онъ не контролировалъ, а сочинялъ книги, подлежащія контролю и получалъ жалованье за это, не отъ казны конечно, а отъ тѣхъ, кого законъ предполагалъ контролируемыми, и въ чиновничьемъ міровоззрѣніи этотъ доходъ считался „честнымъ“, не смѣшивался со взяточничествомъ. Это-де не болѣе какъ помощь въ счетоводствѣ: когда же тутъ частному приставу вычислять осьмушки и полуосьмушки дровъ или полуфунты масла, требующія цифръ съ дробными, и сводить итоги! Не контролера, такъ другаго онъ долженъ просить о помощи въ мудреной цифири. За то книги теперь въ порядкѣ, ко времени поданы,

проконтролированы, и законъ къ обоюдному удовольствію соблюденъ.

Большинство старостъ и причтовъ въ намѣренно-уменьшенномъ количествѣ представили церковный свѣчной доходъ при самомъ первоначальномъ показаніи, когда опрашивали ихъ еще передъ изданіемъ закона объ отчисленіи прибылей: чуяли они, что спрашиваютъ ихъ не къ добру. Но были недогадливые и поплатились. „Эта церковь, кажется, богата“, спрашивалъ я у Алексѣя Ивановича, указывая на какую нибудь.—Нѣтъ, отвѣчалъ онъ; почти весь свѣчной сборъ приходится ей отсылать; если бы не староста помогалъ изъ своихъ средствъ, въ пору бы ее закрывать. Или рассказывалось о другой, какъ стало наконецъ ей не въ моготу, и она начала уменьшать оброкъ, подвергаясь всѣмъ непріятностямъ дознанія и слѣдствія. Но слѣдствіе велось легко; епархіальная власть знала объ истинномъ побужденіи и ему сочувствовала: непосильная дань послѣ фиктивного слѣдствія отмѣнялась, и приходо-расходныя книги усваивали общую обманную форму.

При ложномъ показаніи доходовъ должны были и расходы показываться ложно, само собою разумѣется. Получая черновыя записи отъ старосты, я сообразно данной мнѣ инструкціи соображалъ, во-первыхъ, стоитъ ли такой-то расходъ заносить въ книгу. Напримѣръ, о наймѣ пѣвчихъ можно умолчать. Но вотъ церковь ремонтирована, иконостасъ позолоченъ, новое паникадило куплено,—на свѣчные доходы, понятно. Тогда придумываются „доброхотныя даванія“ и „пожертвованія“ на такой-то опредѣленный предметъ отъ неизвѣстныхъ или отъ старосты, а расходъ разбивается на части, чтобы не превысить суммы, дозволенной къ расходованію безъ разрѣшенія. Такимъ образомъ пишешь: „на позолоту иконостаса у такой-то иконы“ (а позолоченъ весь иконостасъ) неизвѣстнымъ пожертвовано сто пятьдесятъ восемь рублей шестьдесятъ шесть копѣекъ съ половиною (въ воровскихъ сче-

тахъ дроби обыкновенно показываются, для лучшаго увѣренія въ точности). И такъ далѣе, по частямъ. А о паникадилѣ будетъ внесено въ опись: „старостою церковнымъ пожертвовано паникадило вѣсомъ столько-то, изъ такого-то металла“.

Однако доходы не вполне затрачивались. Приходъ Флора и Лавра былъ изъ богатѣйшихъ, и староста ежегодно показывалъ остатки въ нѣсколько тысячъ. Что съ ними дѣлать? Размѣстить ихъ приходъ по „пожертвованіямъ“ и „даяніямъ“ можно; но законъ болѣе полтора рубля наличными деньгами запрещаетъ держать въ церковномъ ящикѣ. Со взносомъ же въ банкъ староста и причтъ лишаются распоряженія своими деньгами; о каждой копейкѣ послѣ нужно просить разрѣшенія; да покажи, для чего ее надобно вынуть. Слѣдовательно весь остатокъ, свыше полутора рубля, остается просто утайтъ; въ такомъ смыслѣ и дана мнѣ инструкция. Я исполнилъ; но по истеченіи перваго же года увидалъ, къ какимъ ужаснымъ послѣдствіямъ приводитъ утайка. Я ожидалъ, что староста черновую запись слѣдующаго года начнетъ тѣмъ остаткомъ, который былъ имъ показанъ въ записяхъ прошлаго. Напротивъ онъ начинаетъ съ полутора рубля, которые мною выведены въ показной книгѣ; о пяти тысячахъ дѣйствительнаго остатка, значившагося въ черновой записи, ни помина. Остатокъ, правда, снова выведенъ въ нѣсколько тысячъ, но уже отъ доходовъ нынѣшняго года. Я къ Алексѣю Ивановичу. Это прямая кража, говорю ему. Позвольте, я выведу полный остатокъ, четыре тысячи, какъ у него показано; внесете въ сохранную казну, и будетъ лежать до того, какъ приступите къ постройкѣ церкви. Церковь не будетъ нуждаться; на ежегодные расходы будетъ хватать; видите, второй годъ поскольку остается за всѣми расходами.

— Нѣтъ, оставь, отвѣчалъ честнѣйшій іерей. Воровства тутъ не можетъ быть. Кондратій Степановичъ (не называю подлиннаго имени, не хочу омрачать памяти

несчастнаго) ни копѣйки не попользуется; я знаю, онъ мой сынъ духовный.

Изъ того что староста не каялся на духу въ присвоеніи церковныхъ денегъ, духовникъ заключилъ, что присвоенія и не было. Почтенна, умилительна эта вѣра въ таинство! Но меня младенческая довѣрчивость чистой души не разубѣдила. Я съ новымъ вниманіемъ пересчиталъ записи нынѣшняго года, сличилъ ее съ запискою прошлаго, которую сохранила мнѣ память, принялъ въ соображеніе всѣ несомнѣнные доходы, не допускающіе утайки (напримѣръ арендную плату), вѣроятное количество прочихъ доходовъ по соображенію съ доходами другихъ церквей и наконецъ—дѣйствительные расходы; убѣжденіе составилось непоколебимое, что деньги церковныя крадутся ежегодно и притомъ въ болѣе значительномъ размѣрѣ нежели показывались старостою остатки. Года черезъ три или около того староста умеръ; на мѣсто его поступилъ другой. Доходы мгновенно возросли, дали возможность приступить даже къ сооруженію новой обширной церкви. И для этого старосты въ первые года два я велъ книги. Ясно было для меня, что староста, какъ новичекъ, сразу не успѣлъ понять возможности въ обширныхъ размѣрахъ помогать своей коммерціи церковными деньгами; можетъ быть и совѣсть стѣсняла. Но послѣ онъ исправился: въ дальнѣйшіе года онъ сталъ показывать остатки уже не въ прежнемъ количествѣ. Никакихъ причинъ между тѣмъ не видѣлось, почему бы умаляться доходамъ; церковь не пустѣла, народонаселеніе и число домовъ въ приходѣ росло; расходы же ординарные не прибавлялись противъ прежняго. Трудно было удержаться отъ заключенія: не устоялъ сердечный и онъ противъ совѣсти. Да и сколько героизма въ самомъ дѣлѣ потребно, чтобы воздержаться коммерческому человѣку отъ оборота капиталомъ, притекающимъ къ нему въ безконтрольное распоряженіе!

Продолжаютъ ли вестись при церквахъ *оспенныя* вѣ-

домости доселъ? Вотъ было сочиненіе! Всѣ безъ исключенія цифры были придуманныя, а подавались вѣдомости аккуратно; особый священникъ назначенъ былъ отъ епархіальнаго начальства, который принималъ вѣдомости, сводилъ итоги, подавалъ по начальству отчеты, получалъ за это награды. Начальство въ свою очередь препровождало фантастическіе отчеты въ Петербургъ. Сколько труда, сколько бумаги, и только одно лганье! Да и дѣло ли причта и какая ему возможность слѣдить за оспопрививаніемъ?

LV.

ЛѢтний день.

Почему, когда я вспоминаю про Зацѣпскую свою жизнь, мнѣ первымъ представляется всегда лѣтній, а не зимній день? Потому вѣроятно, что полного дня отъ ранняго утра до полной ночи мнѣ удавалось быть свидѣтелемъ болѣе всего во время вакаціи, — когда притомъ и у самого по временамъ не находилось дѣла: и читать нечего, и письменной работы никакой себѣ не задавъ. Другіе каникулярные періоды, святки и свѣтлая недѣля, вносили пертурбацію въ обычный порядокъ моей новой семьи. Алексѣй Ивановичъ занятъ службою и хожденіемъ по приходу, продолжавшимся по нѣскольку дней въ оба праздника. Каждый день, за исключеніемъ перваго, непременно гости, тотъ или другой изъ многочисленной родни. Бывали гости даже въ деревенскомъ смыслѣ, то есть пріѣзжіе изъ городовъ, располагавшіеся по нѣскольку дней совсѣмъ какъ въ гостинницѣ; таковы были двое братьевъ старшаго зятя, служившіе въ уѣздныхъ городахъ, одинъ учителемъ уѣзднаго училища, другой мелкимъ канцелярскимъ чиновникомъ. Кромѣ того застрѣвалъ и ночевывалъ какой-нибудь изъ

многочисленныхъ племянниковъ, явившійся днемъ, но засидѣвшійся до ночи.

Не по мнѣ были эти праздничные дни! Для всѣхъ набѣглыхъ родныхъ дома я былъ чужой. Въ святки я еще утѣшалъ себя работою по составленію приходо-расходныхъ книгъ или вѣнчиковыхъ вѣдомостей; но за окончаніемъ ихъ, предпочиталъ уходить куда-нибудь, бродилъ по городу, дополняя свое изученіе Москвы. Первые дни и Рождества и Святой были особенно томительны, тѣмъ болѣе что и уходить было неприлично и сѣсть за дѣло какъ-то совѣстно. Не смотря на всю ихъ праздничность и обязательное веселіе, тоска сжимала сердце. Привычный порядокъ уже разстроился, образовалась пустота, которую однако наполнить нечѣмъ. А при взглядѣ на беззаботную веселость разряженнаго простонародья, на порхающихъ извозчиковъ съ отправителями визитовъ брала даже злость. Визитовъ некому дѣлать и не отъ кого принимать, присоединиться къ этимъ добродушнымъ веселящимся не могу, не примутъ, да и не развеселить меня ихъ забава. Въ домѣ тишина, ожиданіе, скоро ли батюшка воротится изъ прихода; затѣмъ обѣдъ и сонъ обоихъ, хозяйина и хозяйки. Скучно!

Скученъ, но не томителенъ по крайней мѣрѣ былъ обыкновенный, *лѣнивый* день. Лѣнивый онъ былъ и располагалъ къ лѣни: пустота, дремота духовная обязательно дѣйствовала, подзывала къ себѣ въ невозмутимую растительную жизнь.

Утро. Матушка (такъ я называлъ Надежду Алексѣевну), если я сходилъ внизъ, неизмѣнно сидѣла въ кухнѣ на лавкѣ противъ печки; можетъ быть чистить картофель или рыбу, а чаще занимается бесѣдою съ какимъ-нибудь изъ разнощиковъ. Чтò онъ принесъ: ягоды, рыбу или что другое, Надежда Алексѣевна либо торгуется, либо отказывается брать, тогда какъ разнощикъ настаиваетъ.—Нѣтъ, ужъ возьмите.—Не нужно мнѣ, у меня еще отъ прошлаго осталось.—Да возьмите, я вамъ

оставлю; возьмите по чемъ хотите, денегъ не платите. Разнощики вѣрятъ въ легкую руку Надежды Алексѣевны и какъ будто по наряду являлись къ ней, прося неотступно что-нибудь купить. Побывавшій разъ разнощикъ дѣлался уже неизмѣннымъ посѣтителемъ. Удивительный предразсудокъ! Тѣмъ не менѣе я съ нимъ встрѣчался не на Зацѣпѣ только; а на Зацѣпѣ, когда, заинтересованный повѣрьемъ, обращался я за разъясненіемъ къ разнощикамъ, всѣ увѣряли, что если только „матушка“ возьметъ, то лотокъ его скоро будетъ пустъ; что это вѣрно, что это замѣчено. На чемъ основано повѣрье, и много ли въ немъ дѣйствительности?

Но всѣ кухонныя приготовленія кончены, и Надежда Алексѣевна идетъ въ спальню на обычное мѣсто у окна, передъ дубовымъ, древнимъ, предревнимъ столикомъ. Въ рукѣ у нея платокъ носовой и неизбежная четырехугольная квадратная серебряная табакерка, очень грубой работы, должно быть временъ далѣе Екатерины, и въ добавокъ такъ плохо затворявшаяся, что положить ее въ карманъ, не просыпавъ табаку, было бы мудреною задачею.

Съела Надежда Алексѣевна и за что-нибудь принялась, за штопанье большею частью или за чулокъ, какъ голосъ изъ гостиной:

— Надежда!

— Что?

— Дай рюмочку.

Это Алексѣй Ивановичъ. Онъ лежитъ навзничъ на диванѣ, поставленномъ классически по срединѣ стѣны. На лѣво отъ него фортепіано; прямо, между окнами, полукруглый столъ въ простѣнкѣ; надъ нимъ высокое узкое зеркало; то и другое краснаго дерева. На право кресла, предъ самымъ диваномъ овальный столъ. Двѣ стѣны и надъ диваномъ въ томъ числѣ увѣшаны картинами. Надъ диваномъ большая картина, изображающая Моисея младенца, показываемаго Фараону. Мнѣ было объяснено, что по отзывамъ художниковъ эта

картина оригинальная и замѣчательная. Я долженъ былъ повѣрить, потому что плохо разумѣлъ живопись и цѣнить ея искусство не способенъ.

— Надежда!

— Что-о?

— Дай рюмочку.

Надежда Алексѣевна поднимается и съ очень легкимъ, едва слышнымъ „охъ“ отправляется со связкою ключей черезъ гостинную въ залу; тамъ въ углу, въ фальшивой печи—шкафъ, въ которомъ между прочимъ стояла бутылъ. Надежда Алексѣевна отпираетъ шкафъ, наливаетъ рюмку, беретъ закуску, икру большею частію съ ломтикомъ бѣлаго хлѣба, и подаетъ супругу. Тотъ, не оставляя лежачаго положенія, выпиваетъ. Надежда Алексѣевна возвращается на свое мѣсто за свою работу. А супругъ можетъ быть задремлетъ, а можетъ быть и такъ будетъ лежать въ молчаніи. Это его постоянная привычка и постоянное положеніе. Если не сидитъ за обѣдомъ или за чаемъ, то лежитъ непременно на своемъ диванѣ. Приходъ гостей, понятно, его подниметъ. Воспитало эту привычку первоначально утомленіе отъ приходскихъ трудовъ, утренняя, обѣдная и послѣ нихъ нѣсколько требъ на нѣсколькихъ верстахъ разстоянія; затѣмъ—болѣзнь ноги, когда-то простуженной и запущенной. Но съ четверть часа, а то и полчаса добрыхъ прошло. Снова голосъ:

— Надежда!

— Что тебѣ?

— Дай рюмочку.

Новое хожденіе въ шкафъ по прежнему рецепту, съ новымъ легкимъ вздохомъ. Но когда повторится тоже и еще чрезъ полчаса, и опять чрезъ полчаса, Надежда Алексѣевна проговоритъ наконецъ: „Да будетъ тебѣ, Алексѣй Ивановичъ!“ и получаетъ добродушный смѣхъ въ отвѣтъ, со словами: „дай рюмочку! Ха, ха, ха!“

Такъ проходитъ до обѣда. Соскучилось Алексѣю Ива-

новичу просить „рюмочку“, и онъ обращается съ вопросомъ „который часъ“ и „не пора ли обѣдать“, при чемъ рюмочка подносится ему по положенію.

Послѣ обѣда Алексѣй Ивановичъ засыпаетъ настоящимъ образомъ вплоть до чая. Послѣ чая отправляется на диванъ, лежитъ, если не позвали на потребу, и иногда тоже требуетъ рюмочки, разъ и другой, теперь значить уже передъ ужиномъ, за которымъ слѣдуетъ сонъ не на диванѣ, а на постелѣ въ спальнѣ.

Старикамъ кладъ, когда кто-нибудь придетъ къ нимъ изъ постороннихъ или даже изъ своихъ. Приходитъ Павелъ Троицкій съ трубкою на длинномъ чубукѣ, шутить со „старѣйшиною“ и передаетъ ей новости монастырскаго двора.

Спускаюсь я. Въ гостинной слышатъ мой приходъ.

— Ну, что, братъ, Никитичъ Петровичъ (такъ звалъ меня Алексѣй Ивановичъ шутя). Онъ кличетъ меня и обращается съ вопросомъ о политическомъ происшествіи какомъ-нибудь, о которомъ слышалъ, или о событіи въ духовенствѣ.

— Говорять—передвижка архіереевъ. Не слыхатъ ли чего о такомъ-то?

Называетъ архіерея. Я отвѣчаю какъ умѣю. Заявлялъ бы разговоръ, да не знаешь, съ чего и какъ. Обращаешься къ его воспоминаніямъ, стараешься вызвать его на разсказъ о прошломъ. Иногда удается, но часто получаешь очень лаконическіе общіе отвѣты, показывающіе, что голову трудитъ воспоминаніемъ старику не охота. Становится его жалко, но не знаешь, какъ помочь, чѣмъ занять. А въ другое время мои нервы содрагаются, я чувствую боль; это бываетъ, когда упомянешь о лицѣ или происшествіи, о которыхъ, знаю непременно, послѣдуетъ отзывъ, сто разъ мною слышанный и въ стереотипно неизмѣнныхъ выраженіяхъ. „Тайнники митрополита...“ скажетъ онъ медленно, съ разстановкой, когда упомянешь имя одного изъ двухъ протоіереевъ, извѣстныхъ тогда въ Москвѣ и

пользовавшихся благоволеніемъ Филарета. Или, при упоминаніи объ Иванѣ Грозномъ, непременно ждешь и непременно услышишь столь же важно, почти таинственно произнесенный отзывъ: „онъ былъ... пьяный человѣкъ“. Я разъ было съ нимъ даже поспорилъ, что это вовсе не характеристическая черта Іоанна и не понимаю де, откуда вы это взяли, требую и приношу Карамзина исторію, чтобы его убѣдить. Но ни къ чему это не повело, не смотря на все довѣріе старика ко мнѣ, и я со страхомъ ожидаю, какъ бы при серіозномъ разговорѣ съ кѣмъ-нибудь не было произнесено имени Іоанна Грознаго. Произнесено, и я уже трепеталъ и съ болью нервовъ вынуждался слышать въ сотый, въ тысячный разъ повтореніе тѣхъ же словъ, съ той же интонаціей, съ тѣмъ же выраженіемъ лица. О, человѣкъ, какою однако ты бываешь машиною!

Забавляешься лакомствомъ, стоящимъ на коммодѣ въ спальнѣ, опустошаешь тарелку или поднось, ѣшь до оскомины. Совѣстно станетъ. Подсаживаешься къ „матушкѣ“. Неизмѣнная просьба въ неизмѣнныхъ выраженіяхъ.

— Скажи мнѣ что-нибудь.

Почти столько же раздражало меня и это стереотипное требованіе, какъ и неизмѣнные изреченія Алексѣя Ивановича. Но съ Надеждой Алексѣевной ладить было легче; ее скорѣе можно было завести на разговоръ о вопросахъ о прошломъ ли, о современномъ ли,—послѣднее по части хозяйства, или же о знакомыхъ и родныхъ. Алексѣй Ивановичъ прислушивался изъ гостинной къ ея разговорамъ или къ моимъ, когда я находилъ что-нибудь сказать способное заинтересовать по моему мнѣнію. Ея рассказы иногда поправлялъ или дополнял лаконическими изреченіями, посылаемыми все-таки изъ гостинной.

— Нѣтъ, это было ужъ послѣ смерти Николая Федоровича.

— Да нѣтъ, полно, что ты толкуешь! возражаетъ

Надежда Алексѣевна, доказываетъ вѣрность своей хронологіи и продолжаетъ рассказъ.

Бывало, что мои рассказы въ спальнѣ заинтересовываютъ старика, и онъ хотя слышалъ почти все, просить повторить ему въ гостинной и спрашиваетъ дополнительныхъ подробностей.

То приходитъ кухарка Авдотья Евтѣевна съ отчетомъ о покупкахъ, съ рыночными новостями, съ донесеніями и предположеніями объ удоѣ коровъ, объ индюшечьихъ циплятахъ, и о томъ, не сходить ли къ огороднику за спаржей. Такого рода зелень доставлялась большею частію даромъ. Огородникъ—арендаторъ земель частію прицта, то есть церковныхъ, частію собственной земли Алексѣя Ивановича, который владѣлъ ею на оригинальномъ правѣ. Предмѣстникъ его, священникъ, точнѣе—наслѣдники его передали Алексѣю Ивановичу, что при землѣ огородной церковной есть земля де обѣленная, принадлежащая священнику на частномъ правѣ, не угодно ли ее купить. Алексѣй Ивановичъ заплатилъ, кажется, тридцать рублей и сдѣлался собственникомъ безъ всякаго документа, на словѣ, котораго впрочемъ никто не оспаривалъ; арендаторы нанимали, договаривались и платили, признавая въ священникѣ собственника и отличая эту землю отъ церковной.

„Да гдѣ же эта земля и сколько ея?“ добивался я и у Алексѣя Ивановича и у Надежды Алексѣевны; но тщетно. Ни тотъ ни другая не могли мнѣ опредѣлить ни того ни другаго. Любопытно, что случилось теперь съ этою таинственною собственностью, безъ плана и документовъ, безъ опредѣленнаго мѣстоположенія. Перешла ли она къ преемникамъ Алексѣя Ивановича и оформлено ли право, или же присоединилась по молчаливому соглашенію къ церковнымъ ли землямъ, къ ямскимъ ли?

Изъ разговоровъ Надежды Алексѣевны я почерпнулъ много, и вспоминая теперь, дивлюсь ея замѣчательной наблюдательности. Вышла она замужъ молодой дѣви-

цей и къ своей „маменькѣ“ въ деревню ѣздила всего разъ послѣ замужества (въ 12 году); но съ такими подробностями она передавала всѣ мелочи дворянскаго хозяйства и разныя происшествія помѣщичьяго быта, свидѣтельницами которыхъ была въ дѣвочкахъ, что въ пору было бы человѣку, въ зрѣлыхъ лѣтахъ серьезно изучавшему деревню. Я кое-что зналъ по книгамъ, но Надежда Алексѣевна, какъ будто была старостой, посвятила меня во всѣ тайны оброка и барщины и во всѣ снабженія помѣщичьяго хозяйства, всѣ выгоды, которыя дворянамъ давались и которыми они не умѣли пользоваться. Съ большимъ сочувствіемъ передавала она о какомъ-то мелкопомѣстномъ старикѣ-сосѣдѣ, тихонькомъ, услужливомъ, котораго едва отличали отъ мебели, когда онъ являлся къ столбовымъ сосѣдямъ; но который не въ очень продолжительное время составилъ себѣ значительное состояніе, сталъ крупнымъ помѣщикомъ, не переставая быть по прежнему низкопоклоннымъ, и вывелъ дѣтей своихъ въ люди удачнѣе богачей сосѣдей. Онъ не упускалъ аукціоновъ и высматривалъ имѣнія. Свое маленькое заложилъ и купилъ съ торговъ другое съ переводомъ долга. Доходовъ не проживалъ, а въ каждомъ купленномъ устраивалъ хозяйство. Гдѣ мужики обнищали, тамъ возстановлялъ ихъ хозяйство и по поправкѣ накладывалъ на нихъ высокій оброкъ; отпускалъ охотно на волю за большія деньги, и пріобрѣтая имѣніе за имѣніемъ, сдѣлался помѣщикомъ подъ тысячу душъ, притомъ округливъ одно изъ помѣстій выгоднымъ промѣномъ съ сосѣдомъ.

Преподавала мнѣ Надежда Ивановна о пчеловодствѣ, опять съ поясненіемъ, что лишь бы не тратился помѣщикъ на карточную игру, на безумные пиры да на охоту, то стоитъ каждому обернуться, и потекутъ доходы. Какая-то изъ ихъ сосѣдокъ выручала до семидесяти тысячъ рублей (ассигнаціонныхъ) со пчелъ. Надежда Алексѣевна не упускала прибавить, что много при этомъ значитъ удача и умѣнье выбрать человѣка для

ухода. При счастьѣ каждый улей можетъ прибавить въ годъ два, три улья новыхъ, не считая меда и воска. Но бываетъ, отъ небреженія и губять.

На коммодѣ лежатъ орѣхи. Припоминаетъ Надежда Алексѣевна объ орѣховыхъ кустарникахъ, росшихъ на дворѣ ея благодѣтельницы, замѣчательныхъ крупнымъ зерномъ и тонкою кожею. Очень просто, отъ чего это, поясняла она: земля на задворкѣ жирная, и кусты защищены отъ вѣтра. Но взять эти орѣхи—не повѣришь, что они отъ обыкновенныхъ лѣсныхъ.

Повѣствовала она, какъ у нихъ выливали грибные помои постоянно на одно мѣсто, на луговину, и какъ черезъ нѣсколько лѣтъ луговина сдѣлалась необыкновенно грибною, хотя сортъ грибовъ былъ и не тотъ, отъ которыхъ сливали помои; не лѣсные, но и не шампиньоны, тѣмъ не менѣе съдобные.

Съ живымъ интересомъ слушалъ я эти рассказы. Между прочимъ тогда же запала мнѣ мысль, которую нахожу основательною до сихъ поръ. Помѣщикье хозяйство щеголяло оранжереями и теплицами. Что онѣ дали странѣ и чѣмъ послужили прогрессу? Какому-нибудь любителю можетъ быть и удалось выгнать новый видъ орхидей или пестролистныхъ розъ. Но кромѣ новости въ декоративномъ садоводствѣ какой отъ того толкъ? Какія услуги въ культурѣ полезныхъ растений оставлены въ преемство вольнонаемному хозяйству? Улучшались сѣмена выпискою изъ-за границы. Здравый смыслъ говорить, что прежде чѣмъ акклиматизовать растенія чужой почвы, нужно бы улучшать мѣстныя, искони свойственныя климату. Лѣсные орѣхи, брусника, клюква, рябина, вотъ произведенія туземныя. Опытъ улучшения орѣховъ, правда, случайнаго, былъ же, по словамъ Надежды Алексѣевны; слѣдовательно можно достигнуть того же искусствомъ. Брусника, клюква, рябина терпки; но яблоки лѣсныя тоже горьки и кислы. Культура нашла возможнымъ облагородить яблоки: отчего пересадкою, прививкою и вообще

извѣстными наукою способами не облагородить и клюкву съ рябиной? Успѣхъ тѣмъ возможнѣе, что во Владимірской губерніи растетъ рябина, такъ называемая Невѣжинская, о которой говорятъ, и притомъ люди съ агрономическимъ образованіемъ, что ее можно подавать, какъ десертъ, и лакомиться ею безъ сахара. Наконецъ, грибовъ почему не разводить искусственно? Разводятъ; но шампиньоны, отъ того что они употребляются въ иностранной кухнѣ; а лѣсное произрастеніе, употребляемое всѣмъ народомъ, потребление котораго простирается на миллионы рублей,—на его искусственную культуру не подумали приложить рукъ. Между тѣмъ отысканіе практическихъ приемовъ къ разведенію съѣдобныхъ грибовъ, помимо увеличенія производительности вообще, обогатило бы хозяина. Сравнительно грибы у насъ очень дорогой продуктъ.

Сама Надежда Алексѣевна въ тѣхъ предѣлахъ, которые были для нея доступны, вела разумно хозяйство. Между прочимъ она, не обращаясь ни къ чьему пособию, выстроила два дома, первоначально у Симеона Столпника, потомъ на Зацѣпѣ. Она знала цѣну каждому дереву, сама покупывала ихъ на базарѣ, когда была молода. Съ плотниками разговаривала, обнаруживая свѣдѣнія, хоть бы и десятнику въ пору; и она любила толковать о постройкахъ. Собесѣдникомъ ея, кромѣ меня, которому впрочемъ приходилось только поучаться и слушать, бывалъ плотникъ Андрей, строившій нѣкогда Надеждѣ Алексѣевнѣ домъ, а теперь прихаживавшій обыкновенно предъ началомъ рабочаго времени, во первыхъ навѣдаться, нѣтъ ли работы, а во вторыхъ получить ночлегъ и столъ, которые по старой памяти отводились ему даромъ до пріисканія гдѣ-нибудь дѣла. Алексѣй Ивановичъ добродушно смѣялся при строительныхъ разговорахъ своей жены, изъ которыхъ ни слова не понималъ, и обращаясь къ Андрею съ улыбкой спрашивалъ:

— Ну, ты что *почешь*?

Этотъ вопросъ показывалъ, что Алексѣй Ивановичъ запомнилъ твердо одну фразу плотника, о которой сообщилъ мнѣ, какъ о замѣчательной особенности говора:

„Я почѣсть всю ночѣсь вечерося не спалъ“.

Особенность дѣйствительно замѣчательна прибавленіемъ *ся* въ *ночѣсь* и *вечерось*. Но плотникъ и слово „почѣсть“ произносилъ какъ „почесъ“ и получилъ отсюда кличку отъ Алексѣя Ивановича.

LVI.

Житейская филозофія.

Въ гнѣздахъ, гдѣ я воспитывался не только подъ Дѣвичимъ, но и въ провинціальной Коломнѣ, слѣдили за теченіемъ общественной мысли и жизни: газеты и журналы читались по мѣрѣ выхода, пусть и не всѣ немедленно. Во всякомъ случаѣ мы не „отставали отъ времени“, употребляю это опошленное выраженіе; общественный пульсъ бился, сознаніе общественное отражалось; мы были его участниками. Зацѣпа ничего не получала, за исключеніемъ обязательныхъ Губернскихъ и Полицейскихъ Вѣдомостей, и не искала получать. Все родство Богдановыхъ также погружено было исключительно въ практическій бытъ. Для меня было новостью жить въ такомъ мірѣ. Внѣшнимъ образомъ я зналъ, что есть семейства, гдѣ ничего не читаютъ, о литературѣ не хотѣли знать, для которыхъ наука представляется только школою, неизбѣжною для полученія аттестата. При встрѣчахъ, мимолетныхъ знакомствахъ, я прилаживался къ этому строю, но также мимоходомъ. А теперь мнѣ пришлось жить въ немъ и узнать его въ полнотѣ, въ системѣ, въ гармоніи.

Филозофія, которую исповѣдывалъ этотъ кругъ, впро-

чемъ не формулируя своихъ положеній, сокращалась въ два слова: *мѣсто* и *доходъ*. Духовенство, чиновники, лѣкаря, вотъ изъ кого состоялъ кругъ. „Мѣсто получилъ“, „мѣста ищетъ“, „доходъ“ большой или скудный,—вотъ единственный существенный интересъ, единственная точка зрѣнія на міръ, съ которою близко или далеко связана вся жизнь.

Я узналъ здѣсь, что существуютъ мѣста на службѣ „благородныя“ и „неблагородныя“. Последнихъ неблагородными прямо не называли, но и названія благородными къ нимъ не примѣнено. Благородное есть то мѣсто государственной службы, гдѣ брать взятки не введено, то есть невозможно; гдѣ чиновникъ живетъ однимъ жалованьемъ или и постороннимъ доходомъ, но честнымъ. Контролеръ, составляющій для контролирующихъ отчеты, получаетъ доходъ честный, также и полицейскій врачъ, хотя жалованья онъ получаетъ менѣе кучера. Но „благодарность“, получаемая чиновникомъ, не мараетъ его, въ казенной ли палатѣ, въ комиссаріатѣ ли. При казенномъ жалованьи получать жалованье отъ откупщика тоже непостыдно, законно даже и справедливо. Но „бездоходная“ должность при достаточномъ жалованьи во всякомъ случаѣ есть самое высшее, и о такомъ положеніи какъ въ Опекунскомъ совѣтѣ, гдѣ „доходовъ“ нѣтъ, да еще есть пятилѣтія, можно только мечтать, какъ о недостижимомъ счастьи, удостоиться котораго можно развѣ при сильной протекціи.

Я познакомился съ системой дѣленія московскихъ приходовъ, опять съ точки зрѣнія доходности. Богатые, бѣдные и средніе; среднимъ приходомъ назывался дающій священнику три тысячи рублей (по тогдашнему ассигнаціонному счету). Бываютъ приходы чистые и сѣрые, купеческіе, дворянскіе и смѣшанные. Сѣрые опоясываютъ Москву, и они всѣ многолюдные, начиная съ Василя Неокесарійскаго и до Казанской у Калужскихъ воротъ. Безъ труда они даютъ доходъ большой и принадлежать къ самымъ богатымъ. Но имъ почти

не уступаютъ и нѣкоторые центральные и притомъ совсѣмъ малочисленные, съ пятью, шестью или даже двумя домами всего. За то тамъ есть церковные дома, съ дохода которыхъ часть, обыкновенно половина, идетъ причту. У самого причта на церковной землѣ собственные дома, иногда и лавки, также доходныя, равняющіяся доходностью иному цѣлому приходу.

„Чистые“ приходы, купеческіе и дворянскіе, имѣютъ каждый свою характеристику. Какъ Опекунскій Совѣтъ для чиновника, такъ дворянскій приходъ, въ особенности многолюдный, считается счастьемъ для священника. Здѣсь священнику не предстоитъ унижаться, отца духовнаго почитаютъ, и онъ можетъ быть увѣренъ, что даже со смертію его ни жену его, ни дѣтей не забудутъ. Здѣсь притомъ уроки, здѣсь *случай*, то есть люди, чрезъ которыхъ можно устроить сыновей или зятьевъ на службу. Не то въ купеческихъ приходахъ. Въ нихъ попъ батракъ, поденьщикъ, стоящій на задѣльной платѣ; богатый прихожанинъ что нибудь сдѣлаетъ для тебя, но съ видомъ, говорящимъ или даже прямо со словами: „а ты чувствуй и понимай!“—„Да ты посмотри, что я тебѣ далъ!“ сказалъ одинъ прихожанинъ, принявъ священника со святыней, какъ почетнаго гостя, то есть въ шелковомъ халатѣ; въ этомъ кругу понятія о приличіи обратныя: обыкновенно въ сибиркѣ или сюртукѣ, а для гостя надѣваетъ халатъ“. „Да ты посмотри, что я тебѣ далъ!“ Онъ награждалъ прежде рублевкою, а теперь расщедрился пятеркою. Пользуясь купцомъ, пока онъ у тебя въ приходѣ, но на сохраненіе сердечныхъ отношеній и вообще на сердечныя отношенія не надѣйся, хотя бы ты былъ отцемъ духовнымъ. Коммерческій взглядъ купцомъ переносится и на отношенія къ духовному отцу. Церкви въ дворянскихъ приходахъ рѣдко бываютъ украшены богато, но духовенство по мѣрѣ силъ награждается; въ купеческихъ церковь блеститъ, колоколь гудитъ чуть не тысячепудовой: но не заключайте отсюда, чтобы о причтѣ приложена была

равномѣрная заботливость, развѣ изъ тщеславія будетъ что оказано.

Не перечисляю другихъ подробностей, тѣмъ болѣе что съ паденіемъ крѣпостнаго права вѣроятно онѣ измѣнились, но характеристика проходила до мелочей, какая именно статья сколько даетъ въ каждомъ приходѣ. „Здѣсь икона“, скажутъ объ одномъ приходѣ; молебновъ много служатъ, ее и по домамъ возятъ. „Вы говорите, маленькій приходъ? Онъ не большой, а дома-то все дворянскіе; въ каждомъ служатъ всенощныя на дому, да домахъ въ шести молебны по первымъ числамъ каждаго мѣсяца, да передъ отъѣздомъ въ деревню и при пріѣздѣ, да уроки домахъ въ трехъ: вотъ и считайте; маленькій-то онъ, маленькій!“

И предо мной проходили живые экземпляры, часто съ отпечаткомъ на себѣ прихода, въ которомъ кто состоитъ. Въ послѣдствіи я дополнилъ эти наблюденія и убѣдился, что вопреки пословицѣ бываетъ не таковъ приходъ, каковъ попъ, а на оборотъ: въ одномъ священникъ загрубѣваетъ, засыпаетъ, въ другомъ выглаживается и просвѣтляется. Алексѣй Ивановичъ, танцоръ и весельчакъ съ молодю, пописывавшій проповѣдки и почитывавшій въ зрѣломъ возрастѣ, опустился и сталъ разнообразить день воззваніемъ: „Надежда, дай рюмочку“—отъ того что попалъ въ сѣрый приходъ. „Слова не съ кѣмъ сказать!“ говорилъ онъ мнѣ нѣсколько разъ и потомъ самъ началъ тосковать, что получилъ пристрастіе къ рюмкѣ. Онъ началъ лѣчиться у какого-то знахаря. Лѣченіе оказалось удачнымъ; Алексѣй Ивановичъ отказался отъ рюмочки совсѣмъ. Онъ посвѣжѣлъ, пободрѣлъ, сталъ полнѣть, но продержался, кажется, не болѣе года съ чѣмъ-то. Отправился куда-то съ утра, долго не возвращался и наконецъ пріѣхалъ подъ вечеръ. „Майскій день! День майскій!“ было его первымъ словомъ, когда онъ переступилъ порогъ, и одинъ звукъ его голоса сказалъ Надеждѣ Алексѣевнѣ, что супругъ разрѣшилъ: двоюродный племянникъ, тоже священникъ,

увлекъ его на прогулку подъ Симоновъ и уговорилъ выпить для компаніи.

Лѣчатъ отъ пьянства, отъ запоя, и вылѣчиваютъ нѣ-
которыхъ. Что это, психологическое дѣйствіе или фи-
зіологическое; рѣшимость ли тутъ главный дѣятель, съ
воображеніемъ, настроеннымъ „я де лѣчусь“; или есть
медикаменты дѣйствительно, которые выбиваютъ вкусъ
къ вину и позывъ на него? Меня занимаетъ выраже-
ніе, слышанное не отъ одного изъ пристрастныхъ къ
вину, и повторяемое тѣмъ и другимъ и третьимъ буквально:
„червякъ завозился“. Отсюда и метафорическое: замо-
рить червячка“, употребляемое правда не о питьѣ толь-
ко, а и о пищѣ. Но пристрастные къ выпивкѣ увѣряли ме-
ня, что они чувствуютъ именно какъ бы червячка, который
точить, сосетъ и успокаивается лишь по принятіи ал-
коголя. Теперь, когда съ легкой руки Пастера, вездѣ
находятъ микробовъ и бактерій и ими объясняютъ едва
не всѣ болѣзни, приходитъ мысль: червякъ пьяницъ не
есть ли дѣйствительный червякъ, лишь микроскопиче-
скій, такой же паразитъ, какъ глисть круглый или
плоскій, и также командующій несчастнымъ, который
его въ себѣ носить? Невѣроятнаго нѣтъ, тѣмъ болѣе
что для многихъ явленій пьянства, запоя въ особенно-
сти, удовлетворительнаго объясненія не имѣется. Не
странное ли явленіе эта періодичность болѣзни и эта
неспособность сдержатъ себя съ наступленіемъ ея сро-
ка, не смотря на все свое желаніе?

Старшій братъ Алексѣя Ивановича, Басманскій про-
тоіерей Василій Ивановичъ, представлялся въ моихъ гла-
захъ тѣмъ, чѣмъ былъ бы Алексѣй Ивановичъ, если бы
не попалъ въ тину сѣраго прихода и если бы готовое
обезпеченіе не избавляло его отъ заботъ о средствахъ.
Но братья походили одинъ на другаго. Такого же ма-
ленькаго роста, Василій Ивановичъ и въ разговорахъ
соблюдалъ ту же важность, и даже еще болѣе таин-
ственную, нежели братъ. Когда они вдвоемъ бесѣдова-
ли о чемъ-нибудь, со стороны можно было подуматъ,

по поговоркѣ, что они рѣшаютъ „судьбу Европы“, хотя бы разговоръ шелъ о погодѣ или о томъ, много ли было духовенства въ послѣднемъ крестномъ ходу. Педантическая аккуратность была также качествомъ Василія Ивановича, и опять въ еще болѣе усиленной степени. Мнительность была крайняя, до того тревожная, что назначенный благочиннымъ, онъ нашелъ невозможнымъ исправлять эту должность, а чрезъ нѣсколько лѣтъ попросилъ митрополита объ увольненіи. Опасенія неисправностей въ благочиніи, страхъ, соблюдена ли самимъ во всемъ точность, повергала его почти въ болѣзнь, не давала спать ночей.

Василій Ивановичъ принадлежалъ къ именитому духовенству тогдашней Москвы. Кромѣ обычныхъ отличій онъ украшенъ былъ брилліантовымъ крестомъ, „кабинетскимъ“, то есть пожалованнымъ вѣдь обычнаго представленія черезъ Синодъ. Удостоенныхъ такого отличія было въ Москвѣ тогда только двое, и Василій Ивановичъ обязанъ этимъ ходатайству императрицы Маріи Ѳеодоровны, которой онъ былъ лично извѣстенъ и которая оказывала ему особенное благоволеніе. По словамъ Алексѣя Ивановича, она называла брата его „мой священникъ“ и разъ остановила изъ-за него цѣлый крестный ходъ, увидавъ „своего священника“ въ ряду другихъ и выразивъ желаніе отрекомендовать его Августѣйшему сыну, императору Александру Павловичу, который тутъ же находился.

Василій Ивановичъ былъ прежде законоучителемъ Екатерининскаго института, едва ли не первымъ по его основаніи: вотъ что дало ему извѣстность и снискало монаршее благоволеніе. Епархіальное начальство въ свою очередь на небывалое дотодѣ мѣсто законоучителя въ небывалое еще учебное заведеніе озаботилось представить лучшую изъ педагогическихъ силъ, которымъ располагало: Василій Ивановичъ въ Славяно-Греко-Латинской Академіи былъ учителемъ риторики, слѣдовательно въ тогдашней Академической іерархіи первымъ лицомъ

въ учительскомъ персоналѣ послѣ префекта. Выслуживъ свой срокъ въ институтѣ, онъ получилъ мѣсто въ Басманскомъ приходѣ, первомъ тогда въ Москвѣ, — разумѣется по доходамъ, потому что съ этой единственной точки зрѣнія и судилось о приходѣ.

Мнѣ любопытенъ былъ этотъ обломокъ „старого образованія“, одинъ изъ лучшихъ его представителей. Помимо классическаго латинскаго, который былъ свой для академиковъ, Василій Ивановичъ знакомъ былъ съ новѣйшими, а нѣмецкимъ владѣлъ въ совершенствѣ. Надежда Алексѣевна, не долюбивавшая деверя, подсмѣивалась, что какъ мужъ ея болтать по французски, такъ и деверь по нѣмецки выучились, шляясь въ молодости по Кузнецкому мосту, откуда до ихъ родительскаго дома у Евпла на Мясницкой было не далеко. Но Василій Ивановичъ точно также ничего уже не читалъ теперь и ничѣмъ не интересовался общественнымъ; житейская философія овладѣла совершенно и имъ. Пять сыновей и пять дочерей; ихъ нужно пристроить, и притомъ достойно отца, — вотъ о чемъ забота. Отсюда и экономія, которую Надежда Алексѣевна принимала за скарденничество. Въ первый годъ житья на Зацѣпѣ я не удостоивался ни малѣйшаго вниманія, ни даже слова отъ важнаго протоіерея. Но чѣмъ дальше подвигался по учебной лѣстницѣ, тѣмъ болѣе сходилась спѣсь, не по уваженію впрочемъ къ моимъ достоинствамъ: а я переходилъ въ вѣроятнаго „жениха“; невѣсть же на рукахъ еще три!

Обратная характеристика „каковъ приходъ, таковъ попъ“ на Васильѣ Ивановичѣ отразилась можетъ быть выпуклѣе, нежели на комъ-нибудь, и первый мнѣ указалъ на это братъ Александръ. — „А ты не видишь, что онъ, тершись около дамъ, самъ сдѣлался дамою?“ И дѣйствительно, его важность напоминала нѣсколько архіерейскую, которая съ своей стороны напоминаетъ дамскую. Это не гордость, а опасеніе неприличнаго, съ привычкою быть предметомъ ухаживанія. Сочетаніе

природной важности съ нѣжною деликатностью, нажитою постояннымъ обращеніемъ съ дамами, и представляло комическій элементъ, дававшій Павлу Успенскому передразнивать своего протопопа. При священнослуженіи эта комическая черта особенно выдавалась: Василій Ивановичъ не только читалъ, но и возгласы произносилъ разговорнымъ тономъ, притомъ съ оттѣнкомъ предупредительной нѣжности. „Нѣсколько лѣтъ служилъ для дѣвицъ и заговорилъ по ихнему“, прибавлялъ братъ, въ поясненіе передразнивъ басманскаго протопопа, не менѣе искусно, чѣмъ Павелъ Успенскій, сынъ Басманской просвирни.

Главный контингентъ родныхъ и знакомыхъ Зацѣпы состоялъ впрочемъ изъ свѣтскихъ: вдова брата-лѣкаря, помѣщица изъ купчихъ; зять, мужъ сестры, Петръ Ивановичъ, бывшій квартальный, типическое лицо, заслуживающее особой для себя главы; многочисленные племянники и племянницы, не говоря о зятяхъ.

Въ числѣ племянниковъ (зять невѣстки-помѣщицы) былъ лѣкарь, трагическая судьба котораго заслуживаетъ нѣсколькихъ словъ. Нѣсколько лѣтъ тянулъ онъ ляжку сверхштатнаго лѣкаря при полицейской части, въ надеждѣ когда-нибудь добраться и до штатнаго; а быть „штатнымъ“ манна небесная. Покойный Иноземецъ раззнакомливался съ тѣми изъ слушателей, которые брали должность при полиціи. Вступая въ полицію, врачъ уже подписывалъ себѣ приговоръ, какъ помощнику страждущихъ и какъ человѣку науки. Но житейская философія разсуждала не такъ, и десятки молодыхъ врачей терлись въ сверхштатныхъ, мечтая пробраться въ штатные, и притомъ лучшей Части. Части, какъ и приходы, не одинаково хлѣбны: гдѣ больше актовъ, тамъ доходнѣе.

Проходятъ годы, одинъ и другой и третій: отъ кого, черезъ кого продвинется Алексій Моисеевичъ и гдѣ вакансія? Вакансія наконецъ опросталась, и Алексій Моисеевичъ получилъ мѣсто, разумѣется по рекоменда-

ціи. Рекомендовавшимъ былъ Высотскій, знаменитый тогда въ Москвѣ врачъ, а къ Высотскому прошелъ Алексій Моисеевичъ чрезъ посредство Алексія Ивановича, дочь котораго лѣчилась у Высотскаго: за посредничество между больной и знаменитымъ докторомъ и ухватился Алексій Моисеевичъ; оно его и вывезло. Получена была въ вѣдѣніе одна изъ лучшихъ частей, Срѣтенская. А лучшею частью считалась она потому, что въ ней дома терпимости, оброчная статья каждый. Блаженствовать бы; цѣль достигнута; наживайся и дослуживайся до срока, когда купивъ имѣніе или домъ на благопріобрѣтенныя, можно доживать остальные годы спокойно и безъ практики и безъ должности. Но подвернулось происшествіе, все ниспровергшее. Алексій Моисеевичъ былъ тотъ врачъ, котораго засудили и отставили отъ должности, вмѣстѣ съ чинами полиціи, за избіеніе студентовъ въ публичномъ домѣ. Это было въ 1856 или вѣрнѣе въ 1855 году. Студенты разбушевались въ непотребномъ домѣ и ихъ поколотили. Но то былъ самый разгаръ почтенія къ студенту и ненависти и презрѣнія къ полиціи, которыми прониклось общество въ началѣ царствованія. Поднялось дѣло. Какъ! бить нагайками и кого? Студента, „молодое поколѣніе“, надежду общества! И кто же, полиція! Полицію повыгнали со службы и Алексія Моисеевича, какъ ея потворщика: зачѣмъ онъ не нашелъ на студентскихъ спинахъ знака побоевъ, или призналъ ихъ болѣе легкими, нежели было на дѣлѣ.

Каждый полицейскій врачъ, понятно, поступилъ бы также и не могъ иначе поступить, потому именно что онъ полицейскій. Его бы также выгнали изъ службы на другой день, когда бы онъ вздумалъ свидѣтельствомъ своимъ и подводить свое начальство подъ непріятность. Слѣдовательно врачъ былъ только несчастень, что попалъ на такой случай, или не предусмотрителенъ, что не догадался за себя послать сверхштатнаго на составленіе акта: пуля бы миновала. Алек-

сѣй Моисеевичъ не вынесъ горя и безчестія; вскорѣ же послѣ своего отрешенія, кажется менѣе нежели черезъ годъ, умеръ.

Эта студенческая побѣда надъ полиціей при пособіи вознегодовавшаго общества была въ своемъ родѣ знаменательна, тѣмъ болѣе что послужила эпохой, съ которой студенчество начало зазнаваться болѣе и болѣе, приведя себя однако за тѣмъ и къ Дрезденскому и Охотнорядскому избіеніямъ. Помимо участія къ попавшемуся Алексѣю Моисеевичу, я и тогда смотрѣлъ скептически на пылъ либеральнаго негодованія по поводу происшествія въ непотребномъ домѣ. Меня удивляло и досадовало, что общество оскорбилось нагайками, погулявшими по студенческимъ спинамъ, а не огорчилось буянствомъ студентовъ и не устыдилось за нихъ, что ареною героизма своего они выбрали публичный домъ. Меня напротивъ возмущала болѣе всего эта черта студенческаго поведенія, и не высоко себя зарекомендовывало въ глазахъ моихъ общество, благословлявшее молодежь на подвиги во всѣхъ отношеніяхъ грязные. „Какой прецедентъ!“ думалъ я про себя и говорилъ въ слухъ кому приходилось. Самоуправная дерзость полиціи наказана; пусть это послужитъ ей урокомъ. А буяны-то и развратники, несомнѣнно вызвавшіе эту дерзость и навлекшіе сами на себя побои, остаются какъ бы и ни при чемъ? Ихъ считаютъ *только* жертвой. Да чего тутъ! Ихъ подвигъ считается благороднымъ и высокимъ, они герои.

Чѣмъ же питали духъ свой житейскіе философы, въ кругъ которыхъ я вступилъ? Картами. Я не говорю этимъ конечно ничего новаго и не указываю ничего особеннаго, потому что вся Россія такова; но я поражался сначала, что есть люди образованные, которые свободное отъ занятій время охотно, даже съ одушевленіемъ убиваютъ на карты, и принимая гостей, не находятъ для нихъ опять лучшаго препровожденія времени, какъ за карточнымъ столомъ. Садились за карты

и у Алексѣя Ивановича гости въ дни собраній, въ именины напримѣръ и другіе. Играли и свѣтскіе и духовные, въ коммерческія игры и въ азартныя; тогда находились и разговоры у самыхъ молчаливыхъ, относившіеся конечно къ картамъ же. Съ печальнымъ удивленіемъ смотрѣлъ я на одного изъ племянниковъ, носившаго синій воротникъ, что и онъ наравнѣ съ другими съ удовольствіемъ и охотою присаживается къ зеленому столу. Tu quoque! Я ожидалъ другаго отъ него: я полагалъ, что въ разговорѣ, если не съ кѣмъ нибудь, то со мной проговоритъ онъ о послѣдней книжкѣ журнала, гдѣ шли тогда занимавшія большинство статьи Искандера, или о публичныхъ лекціяхъ, производившихъ шумъ въ Москвѣ. Ничего не бывало: „пасъ“ и „семь въ червахъ“, вотъ что. Молодой человѣкъ тѣмъ не менѣе кончилъ курсъ кандидатомъ, но утонулъ затѣмъ въ какой-то канцеляріи, обратившись въ самаго обыкновеннѣйшаго чиновника.

Музыка, театръ, выѣздъ въ собранія (купеческій и нѣмецкій клубъ) на вечера. Это было, но не какъ потребность, а какъ внѣшняя принадлежность, требуемая приличіемъ. Мазурка на фортепіано или романсъ, вошедшій въ моду, съ аккомпаниментомъ, пожалуй, баса, учителя изъ народнаго училища, пріѣхавшаго на побывку, и тенора, чиновника изъ Опекунскаго Совѣта, съ высшимъ образованіемъ человѣка. О выѣздахъ въ собранія не говорю, потому что въ нихъ не участвовалъ, а въ театрѣ былъ приглашенъ, думаю, спустя мѣсяцъ по поступленіи на Зацѣпу. Пріѣхалъ старшій зять, лѣкарь изъ провинціального города, и взялъ ложу; мѣсто оставалось, и я былъ приглашенъ на нѣмецкую оперу. Давался *Карль Смѣлый*.

Театръ не произвелъ на меня особеннаго впечатлѣнія своимъ видомъ; и безъ того слишкомъ живо я представлялъ его по рассказамъ сестры; музыка тронула, но впечатлѣніе раздѣлить было не съ кѣмъ. Казалось, сидѣвшіе со мной болѣе довольны были тѣмъ, что они

отсиживаютъ визитъ, дающій возможность сказать: „мы были въ театрѣ“, нежели восхищались голосами или трогались содержаніемъ либретто и музыки. И мой ученикъ, бывшій съ нами же, восторгался по обыкновенію внѣшностью пѣвцовъ, театра, или „каково онъ пропѣлъ!“

Послѣ того я уже по собственному почину бывалъ нѣсколько разъ въ театрѣ на пьесахъ русскихъ, но не пристрастился къ нему, хотя сцена имѣла тогда Мочалова, Щепкина, Живокини, Садовскаго. Всѣхъ ихъ видѣлъ въ лучшихъ роляхъ, и Мочалова притомъ въ лучшіе его моменты, то есть въ моменты истиннаго вдохновенія, что съ нимъ не всегда случалось. Я оцѣнивалъ игру и наслаждался; но меня не тянуло повторить наслажденіе, какъ, знаю, тянетъ другихъ. Не берусь объяснить внутреннюю причину, но отчасти можетъ быть виноватъ недостатокъ зрѣнія и слуха; зрѣніе на столько слабо, что въ заднихъ рядахъ сидя, ничего не разбираю безъ бинокля, а съ биноклемъ, особенно въ переднихъ рядахъ, начинаю видѣть гримировку. Притомъ общее впечатлѣніе сцены при биноклѣ пропадаетъ. Слухъ также слабъ, и я многого не разбираю. Балетъ и опера, поэтому, зрѣнію и слуху моему болѣе доступны. Но ни однимъ изъ видовъ сценическаго искусства театръ меня все таки не увлекъ.

При всѣхъ оказываемыхъ мнѣ ласкахъ я чувствовалъ себя все таки чужимъ на Зацѣпѣ, и должно быть смотрѣлъ угрюмо. Заключаю изъ того, что меня употребляли какъ пугало. Безъ того не проходило, чтобы въ домѣ не гостилъ кто нибудь изъ малютокъ, дѣтей Марьи Алексѣвны, старшей дочери Алексѣя Ивановича. А мнѣ было 18, 19 лѣтъ; юноша былъ благообразный. Но когда двухлѣтній мальчикъ слишкомъ разкапризничаетъ, такъ что съ нимъ „сладу нѣтъ“, призывался я, какъ *ultima ratio*. Прихожу, и мнѣ достаточно посмотрѣть, только посмотрѣть: ребенокъ усмирится немедленно и вполнѣ. И вообще дѣти такого

возраста меня боялись, не подходили ко мнѣ, не заигрывали, не ласкались. Напротивъ, ощущали неловкость, и если случалось, я останавливалъ на нихъ пристальный взоръ, прятались за старшихъ, убѣгали, или же раздражались плачемъ.

Не знаю, какъ думали обо мнѣ тѣ изъ знакомыхъ и родныхъ, куда, случалось, провожалъ я Алексѣя Ивановича по его приглашенію. Въ рюмочкахъ я не участвовалъ, въ разговорахъ также; я не въ состояніи бывалъ наладить себя на обсуждаемыя темы. Молча разглядывалъ я стѣны, бралъ книгу, если оказывалась таковая по случаю, и забывая всякое приличіе, тутъ же начиналъ читать про себя. Или удовлетворялъ свою любознательность разспросами: объ обстоятельствахъ службы, о порядкахъ, о старыхъ временахъ. Это случалось особенно когда оставался съ глазу на глазъ съ собесѣдникомъ, и молчаніе становилось полнымъ неприличіемъ.

LVII.

Дядюшка Петръ Ивановичъ.

Я называю его дядюшкой, потому что онъ доводился дядей моему ученику; родная сестра Алексѣя Ивановича, Авдотья Ивановна, была за Петромъ Ивановичемъ. Они были бездѣтны и проживали около Сухаревой башни на квартирѣ. Квартиры мѣняли, но мѣстности нѣтъ. Разъ Петръ Ивановичъ купилъ даже домъ, но на углу Уланскаго переулка и Садовой; съ Сухаревой башней не разстался. Онъ не могъ разстаться. Его препровожденіе времени было въ погребѣ или лавкѣ Богданова у Сухаревой башни. Это былъ его клубъ и его обсервационный пунктъ. Другаго мѣста и другаго дѣла у него не было.

Онъ былъ отставной квартальный, какъ я сказалъ. Сынъ ли онъ былъ даточнаго солдата, доводился ли онъ какъ даточному солдату, не помню. Но говоря о происхожденіи Петра Ивановича, Надежда Алексѣевна упоминала о даточномъ, поясняя: „чего же ждать послѣ того?“ Самъ Петръ Ивановичъ не безъ гордости упоминалъ, что ему приходится двоюроднымъ братомъ Михаилъ Петровичъ Погодинъ; Погодинъ въ послѣдствіи, когда я съ нимъ познакомился, подтвердилъ это родство. Самъ Михаилъ Петровичъ, какъ извѣстно, происходилъ отъ крѣпостныхъ; слѣдовательно не удивительна близость Петра Ивановича къ даточному солдату.

— Почему же Петръ Ивановичъ не служить? Человѣкъ въ силѣ, хотя и съ просьбою.

— Его отрѣшили отъ службы, и уже не въ первый разъ. Наказывали его переводомъ изъ хорошаго квартала въ худшій; наконецъ выгнали.

— За что? любопытствовалъ я у „Матушки“.

— Жестокъ былъ очень; до смерти засѣкалъ. А тутъ было съ крѣпостнымъ человѣкомъ; не понималъ онъ что ли приказанія, кто его знаетъ. Вотъ его по жалобѣ помѣщика и отрѣшили отъ службы.

Меня заинтересовалъ квартальный, хладнокровно засѣкавшій до смерти. Кромѣ того Надежда Алексѣевна рассказывала чудеса о его сыскныхъ способностяхъ. По положенію своему въ домѣ Богдановыхъ, я не смѣлъ его спрашивать. Да и самъ онъ, когда пріѣзжалъ къ Алексѣю Ивановичу, болѣе молчалъ, ограничиваясь лаконическими изреченіями и напоминая мнѣ тѣмъ Собакевича, на котораго, какъ мнѣ казалось, походилъ онъ и наружностью. Онъ былъ высокаго роста и плотный, что называется — „ражій“ мужчина. Когда разгорячался въ разговорѣ и черные глаза его начинали сверкать подъ нахмуренными бровями, онъ былъ страшенъ, и я догадывался, что его въ былые времена должны были трепетать попадавшіе къ нему подъ руку. Только послѣ, спустя нѣсколько лѣтъ, когда обществен-

ное положеніе мое измѣнилось, я съ нимъ познакомился уже непосредственно, бывалъ у него въ гостяхъ, и въ одинъ-то изъ такихъ визитовъ рѣшился выпросить о его прошломъ, которое по разсказамъ было такъ замѣчательно.

Не смотря на непривѣтливую наружность, впрочемъ не отталкивавшую, онъ былъ добродушенъ, сострадателенъ, не отказывая въ помощи нуждающимся изъ крохъ, оставленныхъ ему квартальнымъ цареваньемъ. Былъ большой хлѣбосолъ; умѣлъ и любилъ хорошо поѣсть и покормить. Между прочимъ онъ былъ человѣкъ строгаго долга,—долга, какъ онъ его понималъ. Бездѣйствіе и неспособность современной полиціи возмущали его, и онъ не могъ говорить объ ней безъ негодованія.

— Развѣ это полиція! восклицалъ онъ. Какая это полиція? Офицеръ долженъ быть на своемъ посту. А гдѣ вы теперь увидите надзирателя? Ищите его въ конторѣ, а не то гдѣ хотите. А пойдите къ Сухаревой въ Воскресенье, гдѣ онъ? Тутъ-то его и нѣтъ. Зло беретъ. Пойду и вижу: жулики шныряютъ. Эхъ, говорю, кабы у меня, не было бы васъ тутъ. Смѣются; они меня знаютъ. У меня какъ? Когда я былъ въ Городской Части,—праздникъ, высокаторжественный день, въ Успенскомъ соборѣ служба архіерейская. И знаю я, что тамъ проворятъ. Всѣхъ знаю, кто таскаетъ и какъ таскаютъ, передній заднему, тотъ далѣе, а тотъ и вонъ изъ собора. И хватятся, да не отыщешь, часовъ тамъ или табакерки. Эту сволочь протуришь. А главнымъ у нихъ, знаю, Бриллиантовъ, чиновникъ; онъ командуетъ, показываетъ знаки, кому и какъ. Стоитъ онъ, какъ будто настоящій, въ мундирѣ еще. Я подхожу: пожалуйста, говорю, здѣсь вамъ не мѣсто. Онъ было ргачиться; а я ему: „уйдите добромъ; не то худо, выведу, и вы знаете за что“.

— Ну, что же?

— Пошелъ, разумѣется. Мошенники! Знали, что по-

тачки не жди отъ меня, и знали, что я всѣхъ знаю. Ну, и былъ порядокъ. Да развѣ и здѣсь на рынкѣ было ли бы жулья хотя одна душа, если бы порядокъ? обратился онъ снова къ Сухаревой бабшѣ.

Ясно, что у него на душѣ наболѣло ежедневное созерцаніе безпорядковъ, которые по его мнѣнію ничего не стоило истребить.

— А говорятъ, вы много излавливали преступниковъ, спросилъ я.

— Да, отвѣчалъ онъ довольно равнодушно.

— Надежда Алексѣевна рассказывала, что вы отличились и награждены были за это особенно.

— Какъ же! Вотъ.

Петръ Ивановичъ полѣзъ въ конторку и досталъ листъ—какъ бы его назвать?—похвальнымъ, что ли, удостоившій, что квартальный поручикъ Андреевъ въ теченіе одного такого-то мѣсяца изловилъ и представилъ до двухъ сотъ бѣглыхъ и безпаспортныхъ. Не помню, кѣмъ изъ начальственныхъ лицъ подписанъ былъ этотъ листъ.

— Да это что? съ искреннимъ или притворнымъ небреженіемъ сказалъ Петръ Ивановичъ. Это пустое! Это еще когда я былъ поручикомъ, въ началѣ службы. Я былъ тогда въ Новинской части.

— Двѣсти человекъ, да въ одинъ еще мѣсяцъ, это не пустое, помилуйте, возразилъ я. Не даромъ же вамъ листъ выдали.

— Да такъ, пустое. Вотъ я вамъ скажу, бывали вы въ Живорыбномъ ряду и видѣли, какъ торговецъ черпакомъ беретъ рыбу и подаетъ вамъ? Вотъ все равно и это.

Я сильно заинтересовался. Отъ Надежды Алексѣевны слышалъ я, что Петръ Ивановичъ отличался необыкновенными поимками преступниковъ.

— Вѣдь бѣглые прячутся, продолжалъ я, живутъ Богъ знаетъ гдѣ. Какъ же...

— Эхъ, да вѣдь то-то и есть, что это глупый народъ;

отъ того и попадаетъ, что прячется. Знаешь, гдѣ онъ пребываетъ, и берешь. Этихъ двухъ сотъ человѣкъ гдѣ я набралъ? Больше на берегу.

Я выразилъ удивленіе.

— Да такъ. Сказывалъ я вамъ, что я былъ тогда въ Новинской части. По берегу-то Москвы рѣки лѣсъ лежитъ сплавной, привезенъ. Вотъ они между полѣньями-то и бревнами тамъ и укрываются; ночью особенно. Никто тамъ не видитъ. Оно и точно: кто туда ночью пойдетъ? А сторожу что? Ничего у него не трогаютъ. Да если бы онъ и увидалъ что, такъ молчи, а то не сносишь головы. Ну, а я знаю; и пойду, бывало, обходомъ шарить между бревнами-то и тесомъ, и наберу: готовы только веревки. Все это пустое; все это можно вывести. А теперь, посмотрите вы, подумайте; и обхода-то настоящаго не дѣлаютъ.

Къ Петру Ивановичу снова подступала желчь. Я поспѣшилъ отвести его мысли отъ современныхъ кварталныхъ.

— Мнѣ сказывала Надежда Алексѣевна, что вы по виду узнавали преступниковъ...

— Какъ же не узнать? Вѣдь вотъ я вамъ говорилъ, что когда хожу по рынку, то вижу,—не въ то время конечно, когда онъ уже лѣзетъ въ карманъ; а я вижу, что это за человѣкъ. Становится ужъ очень досадно, когда и городской, смотришь, тутъ же торчитъ. И говоришь ему: что же ты, ворона, зѣваешь? Развѣ не видишь, это кто?

— Что же, беретъ тогда городской или прогоняетъ?

— Ждите! Ничего: ворона, какъ и есть, дуракъ и больше ничего. Развѣ такихъ нужно держать въ полиціи?

И у Петра Ивановича снова сверкнули глаза. Если бы попался ему въ ту минуту городской ротозѣй, онъ бы его, мнѣ казалось, въ клочья изорвалъ.

— Такъ вы и узнавали? (Я все ладилъ къ прошедшему).

— Да. Когда я служилъ въ Городской части, мое мѣсто было противъ Лобнаго, у Глаголя. Офицеръ долженъ быть на своемъ посту, повторилъ онъ опять внушительно. Можетъ полицеймейстеръ, Оберъ-Полицеймейстеръ проѣхать; я тутъ на лицо всегда, всегда можно найти; а то теперь ищите надзирателя; да и не найдете...

Я перебиваю его, предвидя, что онъ снова разразится въ негодованіяхъ.

— Конечно, конечно, поддакиваю. Это значитъ, съ которой стороны у Лобнаго, къ Никольской ближе?

— Ну, да, у Глаголя, я вамъ говорю. Сидишь, купцы обступягъ. А знаете ли, тутъ внизу, такъ народъ и снуютъ впередъ и назадъ, мимо Василя Блаженнаго. Ну, для шутки, увидишь кого и скажешь: а знаете ли, господа, кто прошелъ? Вотъ, видите, въ картузъ?

«— Видимъ. Кто же его знаетъ?

«— Это бѣглый дворовый человѣкъ.

«— Ну!

«— Хотите на дюжину?

«— Извольте. По рукамъ.

«— Я сейчасъ: Городовой!

И Петръ Ивановичъ восклицаетъ это зычнымъ полицейскимъ голосомъ.

«— Городовой, взять его! Беретъ, продолжаетъ Петръ Ивановичъ, опуская голосъ; беретъ, приводитъ.

«— Ты что за человѣкъ? (Петръ Ивановичъ заговорилъ опять полицейскимъ голосомъ).

«— Мѣщанинъ.

«— Откуда?

«— Изъ Весегонска.

«— Паспортъ гдѣ?

«— Въ Рогожской, въ обозѣ.

«— Врешь! (и у Петра Ивановича глаза засверкали). Ты бѣглый дворовый человѣкъ.

«— Виновать.

«— Вяжи ему руки.

„А мы, съ улыбкой самодовольствія тихо докончилиъ Петръ Ивановичъ, идемъ къ Бубнову выпивать пари“.

— Почему же однако вы узнавали?

— Да видно это.

— Какъ же это видно? И видно, что дворовый чело-
вѣкъ?

— Непремѣнно.

Надежда Алексѣевна дѣйствительно сказывала мнѣ, что Петръ Ивановичъ не только узнавалъ преступни-
ковъ, но опредѣлялъ родъ преступленія, и мнѣ въ
высшей степени интересно было теперь анализировать
основанія, по которымъ отгадывалъ Петръ Ивано-
вичъ профессію наблюдаемыхъ субъектовъ. Но усилія
мои были тщетны.

— Почему же вы узнаете?

— Да такъ, по лицу видно, сказалъ Петръ Ива-
новичъ мягко и съ нѣкоторою даже нѣжностію. На
лицѣ написано: знаете, совѣсть у каждаго есть, и
видишь.

Меня такое объясненіе, разумѣется, не могло удо-
влетворить. Разговоръ происходилъ, когда я состоялъ
уже на службѣ въ Академіи; у Петра Ивановича я
былъ теперь на правахъ почетнаго гостя. Онъ жилъ
тогда въ одной изъ Мѣщанскихъ, въ уютной свѣтлень-
кой квартирѣ, въ верхнемъ этажѣ деревяннаго но-
ваго дома. Неоклеенныя стѣны обдавали сосновымъ за-
пахомъ.

— А вотъ что, Н. П., обратился ко мнѣ дядюшка.
Закусимъ-ка. Не угодно ли, игру могу рекомендовать,
балыкъ тоже, смотрите-ка; не найдете такого. Угодно
вамъ полынной или померанцевой?

Какъ гастрономъ, Петръ Ивановичъ зналъ толкъ въ
провизіи. Лучше его дѣйствительно никто не купить;
зернистая икра оказалась превосходною.

— Однако какъ же это? Вы говорите: совѣсть го-
ворить...

— Да вы сперва закусите, а я вамъ потомъ расска-

жу, какъ я двухъ воровъ поймалъ и золотые часы за нихъ получилъ и триста рублей въ подарокъ. Слышали вы объ этомъ?

— Да, да, слышалъ. Какъ же это было?

— Пожалуйста закусите.

Я повиновался.

— Это было въ самый сочельникъ, наканунѣ Рождества, морозъ большой, началъ Петръ Ивановичъ. Я служилъ тогда въ Новинской части (она тогда еще была). А правило мое: быть на посту. На лежанкѣ лежать или въ конторѣ торчать, на то писарь есть...

Я чувствовалъ, что начнется филиппика.

— И такъ, перебилъ я его, вы изловили двухъ воровъ?

— Ну, да; ну, да. Я объ этомъ вамъ и рассказываю. А надо вамъ знать, наканунѣ мы получили секретное предписаніе, что одного помѣщика обокрали на триста тысячъ рублей двое дворовыхъ людей и скрылись. Ну, понятно не стануть они тамъ ждать, пробормоталъ, какъ бы въ скобкахъ, понизивъ голосъ, Петръ Ивановичъ. Приказано, стало быть, слѣдить. Сажу я на другой это день, въ сочельникъ, на углу, на Смоленскомъ рынкѣ, у лавокъ. У меня, знаете, правило было всегда: на углу, на перекресткѣ; видите, я вамъ сказывалъ, что когда служилъ я въ Городской части, то противъ Лобнаго мѣста...

Я боялся, что повторить мораль: „офицеръ долженъ быть на своемъ посту“.—Но прошло мимо.

— И здѣсь тоже на перекресткѣ, продолжалъ Петръ Ивановичъ. А напротивъ трактиръ; я какъ разъ противъ него; морозъ, я вамъ сказывалъ, сильный. Вижу вдругъ: подъѣзжаютъ къ трактиру сани тройкой, двое сидятъ, кушаками *поднасами*. Думаю, они!

— Да почему жъ они? перерываю я.

— Какъ же! Сани открытыя, тройка, кушаками *поднасами*...

Мнѣ осталось покориться такому объясненію.

— Сани остановились. Одинъ побѣжалъ въ трактиръ. Они; это вѣрно, думаю.

— Почему же?

— Да какъ же! Остановились и одинъ побѣжалъ въ трактиръ... Я сказалъ городовому присмотрѣть за саними, а самъ въ трактиръ слѣдомъ. А тотъ стоитъ у буфета, пилъ водку, рассчитывается. Ну, конечно, и другой придетъ, въ этотъ ли или другой трактиръ; холодно, нельзя не погрѣться, путь дальній. Ты, я спрашиваю, кто такой? Не помню, что онъ мнѣ сказалъ. Не отпирайся, братецъ, говорю ему; товарищъ твой сознался; ты оттуда-то и ѣдешь съ воровскимъ добромъ. Повинился. А пока я былъ въ трактиръ, тотъ по лошадямъ, и удралъ. Понялъ, видѣлъ, что я пошелъ въ трактиръ. Но городской-то не дремалъ, я ему поручилъ; подъ Новинскимъ и того остановили, не успѣлъ далеко уѣхать. Городской-то былъ смышленный, проворный; знаете, теперешній бы городской...

— Такъ оказались они самые? перебилъ я.

— Конечно тѣ самые, не много успѣли и спустить. Вотъ за это я и получилъ золотые часы; баринъ прислалъ триста рублей, тотъ что обокрали, и отъ начальства благодарность.

Я вижу, что на счетъ физиономии ничего не добыюсь; повернулъ разговоръ въ другую сторону. Пришлось однако по этому поводу выпить полынной или померанцевой рюмку, закусить и похвалить балыкъ. А кстати подали рябчика, очень вкуснаго.

— Вы въ какихъ же Частяхъ служили?

— Да въ разныхъ: вотъ въ Городской больше, а потомъ въ Арбатской, задумчиво отвѣчалъ бывшій квартальный.

— Въ Городской-то, я думаю, вамъ было хорошо; тамъ большіе доходы, говорятъ.

— Ну, конечно, всякій уважаетъ. Сколько лавокъ, сколько подворій! Ну, а если кто какъ, такъ мы его научимъ.

— То есть какъ же это?

— Да вотъ какъ. Было Гусятниковское подворье. Народу перебываетъ тамъ пропасть, товару тьма; ну, и контрабанды тоже. За всѣмъ вѣдь и не усмотрить содержатель. Да это ничего, а вотъ ни копѣйки отъ него не сходило. Вотъ мы и нагрянули на него съ ревизіей да съ обыскомъ. Само собой: поищешь, такъ всегда найдешь тамъ просроченный паспортъ, тотъ совсѣмъ безъ вида, а то и контрабанда; она ли нѣтъ ли, да подозрительно. Ну, и написали на него! Писарь пишетъ, а мы говоримъ: Иванъ Григорьичъ (дядюшка называлъ подлинное имя, которое я забылъ), знай праздники! А ты пиши, пиши, говоримъ писарю. Тотъ пишетъ, а мы: Иванъ Григорьевичъ, знай праздники, почитай угодниковъ.

— Дорого ему обошлось! прибавилъ затѣмъ Петръ Ивановичъ послѣ минутной задумчивости. За то потомъ шелковый сталъ. Ну, да мы обывателей не обижали, наставительно прибавилъ дядя. Все въ удовольствіе сдѣлаемъ, а ужъ кражъ или чего такого, это прибави Богъ. Вотъ теперь, слышали вы, обокрали магазинъ?

Петръ Ивановичъ напомнилъ о случаѣ, который недавно описанъ былъ въ газетахъ.

— Такъ какъ же это можно? Значитъ, и обхода не дѣлалось! Да послѣ того весь городъ перекрадутъ.

Петръ Ивановичъ готовъ былъ расходиться.

— Но вѣдь и въ ваше время было не безъ того, замѣтилъ я.

— Было; за то мы и накрывали. Вамъ сказывали, какъ меня цѣлыя двѣ улицы воры тащили?

— Да.

— Такъ видите, дѣло было такъ. Я иду обходомъ, вижу: окно въ домѣ отворено. Стой! Какъ! Значитъ воры? А тутъ, внизу уже караулятъ товарищи; это—принимать вещи, которыя будутъ имъ видать. Свистнули что ли, знакъ ли какой подали: всѣ бѣжать. Я въ до-

гонку; схватилъ двоихъ, а они меня; повалили. Да вѣдь со мной сладить трудно. Они вырываются отъ меня, я отъ нихъ, да такъ цѣлые два переулка по Зарядью проволокли.

— Кто же кого отпустилъ?

— Я не выпустилъ, и будочники явились. Воры знали, что я рта не развѣваю; шалостей не очень было. Да за то и тяжело было служить... У!... прибавилъ дядя, качнувъ головой.

— Чѣмъ же тяжело?

— Отвѣтственность! Александръ Сергѣевичъ Шульгинъ былъ добрый генералъ, но ужъ у него смотри. Да и накладно въ Городской части, начетисто.

— Куда же вы платили? На что тратили?

— Да вотъ на что: провизія тутъ отличная, вина, да и чего хочешь. Бывало прочтаетъ генералъ въ газетахъ или услышитъ: свѣжую зернистую икру привезли къ такому-то. Сейчасъ нарядъ къ Бубнову; заказать сколько тамъ дюжинъ шампанскаго, пять, десять, бургонскаго тамъ еще или какого, устрицъ: завтракъ чтобъ былъ богатый; полицеймейстера еще пригласить такого-то, да такого-то еще частнаго; ну, и я тутъ, какъ мѣстный надзиратель. Да бывало, рублей по сту такъ съ брата и сойдетъ. Раскошеливайся... Ну, да съ меня-то не брали, меланхолически заключалъ, понизивъ голосъ, Петръ Ивановичъ послѣ нѣсколькихъ минутъ молчанія.

— Или вотъ къ цыганкамъ. Приказъ: винъ тамъ, десерту, чего, чего! Кто исполняетъ? Я. Пойдешь по погребамъ, забереешь. Поѣдемъ, кутежъ идетъ, дымъ коромысломъ. А вѣдь чего это стоитъ? Разъ этакъ сосчитали на шесть сотъ рублей со всѣхъ-то сошло... Ну, да съ меня-то, положимъ, не брали, опять понизивъ голосъ, заключилъ Петръ Ивановичъ послѣ небольшой паузы.

— А въ Арбатской части вѣроятно было хуже?

— Тамъ вѣсть нечего было; что въ Арбатской, что въ

Пречистенской. Тамъ господа одни; всѣмъ угоди, а то и съ мѣста вышвырнуть. Одними людьми одолѣють.

— Какими людьми?

— Какъ же! Присылають человѣка: высѣчь. Другой присылаетъ дѣвку: высѣчь. Долженъ исполнить, а не всегда угодишь; на тебя же пожалуются. Разъ я своихъ пять рублей затратилъ, поблагодарилъ, кто надумилъ вора найти.

Я упрашиваю рассказать, какъ это было.

— Да такъ. На Тверскомъ бульварѣ, не по этой сторонѣ, гдѣ оберъ-полицеймейстеръ, а по той что къ Садовой, есть домъ; принадлежалъ онъ господину, вы его не могли знать, времени давно—надворному совѣтнику Дмитрію Павловичу Голохвастову.

Въ то время какъ дядя рассказывалъ это, Д. П. Голохвастовъ былъ попечителемъ Московскаго университета, и уже не надворнымъ совѣтникомъ. Но я не сталъ возражать и кивнулъ головою въ удостовѣреніе, что я дѣйствительно не имѣю понятія о Д. П. Голохвастовѣ.

— Требуется онъ меня къ себѣ. — Являюсь. У меня, говоритъ, покража; вы должны найти.

«— Воровъ отыскивать есть наша обязанность; но позвольте, говорю, узнать, при какихъ обстоятельствахъ, гдѣ совершилась кража, и что украдено.

«— Украдено изъ коммоды, вещей тысячъ на семьдесятъ.

«— Позвольте посмотреть.

«Ведетъ меня, показываетъ коммодъ. А знаете ли,» прибавилъ Петръ Ивановичъ конфиденціальнымъ тономъ и съ разстановкою: «Ни-ка-кой воръ ни-ко-гда чисто своего дѣла не сдѣлаетъ».

«— Вотъ я смотрю. Должны быть слѣды; ну, гдѣнибудь, какіенибудь. Никакихъ, ни царапины, чисто. Я и говорю: имѣете вы, Дмитрій Павловичъ, на кого подозрѣніе? — Ни на кого! — Не подозрѣваете-ли кого изъ людей? — Я въ своихъ людяхъ увѣренъ; ни одинъ не тронетъ господскаго добра! — А вѣдь ясное дѣло,

продолжалъ Петръ Ивановичъ, что если украдено, то воръ былъ домашній.

— Такъ вы не находите ничего нужнымъ мнѣ больше осмотрѣть?

— Ничего; а вы должны найти, иначе отвѣтите.

«Обидно мнѣ стало, а дѣлать нечего, ушелъ. Видите, вотъ какая Арбатская часть; гроша доходовъ нѣтъ, а тутъ Святымъ Духомъ находи воровъ. Не найдешь— поѣдетъ къ генералу. Что ему? Ему слово сказать, и съ мѣста слетишь. А онъ съ нимъ въ клубъ, и вездѣ, въ обществѣ, тамъ и здѣсь, свои люди.»

— Такъ и не нашли? тревожно спросилъ я, беспокоясь, уже не за этотъ ли случай его оставили.

— Нѣтъ, нашелъ, успокоительно проговорилъ Петръ Ивановичъ. Но вѣдь я вамъ и говорилъ, что самому стоило пять рублей.

— За поимку?

— Да. Пошелъ я оттуда печальный. Думаю, что же дѣлать? Потребуется генералъ, никакихъ отговорокъ не приметъ. А мнѣ родить что-ли? Откуда возьму пропажу? Иду эдакъ, а у просвирни живетъ гадалка, видѣть меня въ окно и кличетъ: зайди, Петръ Ивановичъ! Зайду, думаю, и то; что она скажетъ?

— Что такъ запечалился? говорить.

«Я рассказываю.

— А вотъ что, совѣтуетъ она, выпей-ка сперва для бодрости; а я тамъ скажу тебѣ, какъ поступить.

«Подумалъ я: генералъ потребуется. Ну, что же! Скажу: для пользы службы выпилъ рюмку, ваше превосходительство!

— Выпили. Гадалка мнѣ и говорить: по твоему, люди украли?

— Разумѣется, говорю: свои люди.

— Ну, такъ вотъ что: иди ты назадъ и потребуй, чтобы тебѣ показали людей непременно. Вотъ и все. Посмотришь ихъ и узнаешь. Хуже тебѣ не будетъ отъ этого.

«И то, думаю: хуже не будетъ, все равно поѣдетъ жаловаться.

«Прихожу. Докладываютъ. Говорю: воля ваша, Дмитрій Павловичъ, а позвольте мнѣ осмотрѣть вашихъ людей. У! Вспылилъ, закричалъ, наговорилъ дерзостей, что и люди-то у него лучше меня. Я на своемъ стою: вы желаете, чтобъ я отыскалъ пропажу; позвольте осмотрѣть людей.

«Согласился наконецъ, отвелъ залу. Собрали людей. Всѣ? я спрашиваю. Отвѣчаютъ: всѣ. А много ихъ было, съ полсотни. Я затворилъ дверь».

Петръ Ивановичъ продолжалъ затѣмъ рѣчь съ особенною торжественностью, медленно:

«Вотъ, оглянулъ я ихъ сперва мелькомъ. Потомъ сказалъ: становитесь въ рядъ. Разставилъ какъ солдатъ. Стали.

«Тогда я подошелъ къ первому и сталъ ему смотрѣть въ глаза. Смотрю эдакъ съ минутой, съ полторы, можетъ быть и меньше, не говоря ни слова; понюхаю табачку.

«Ничего!

«Подхожу ко второму. Также молча смотрю въ глаза, столько же времени.—Ничего!

«Подхожу дальше къ третьему, потомъ къ четвертому; все также молчу и смотрю, и все по столько же времени.

«Подхожу къ пятому, смотрю. Вижу, какъ будто въ лицѣ что-то есть. Но я вида не показалъ; простоялъ передъ нимъ столько же, сколько передъ другими, и такъ обошелъ всѣхъ...

Да вы бы выкушали, прерываетъ себя дядя, какъ французскій романистъ, на самомъ интересномъ мѣстѣ. Наливаетъ рюмку.

— Нѣтъ, благодарю, кушайте вы.

— Нѣтъ, кушайте, настаиваетъ хозяинъ.

Я понимаю, что послѣ долгаго разсказа ему самому нужно перевести духъ и промочить горло; прихлебываю.

— Рябчикъ—чудо! говоритъ Петръ Ивановичъ, выпивъ рюмку и закусывая. Такимъ образомъ, говорю, я

обошелъ всѣхъ и ни въ комъ кромѣ пятаго ничего не замѣтилъ. Начинаю сызнава. Опять подхожу къ первому, опять ко второму, опять къ третьему. Дошелъ до пятаго: румянецъ на скулахъ показался. Опять я не подалъ вида; опять прошелъ всѣхъ, опять стою предъ каждымъ по стольку же. Иду въ третій разъ.

— Ну, да это вору попытка просто! воскликнулъ я не удержавшись.

— Конечно; да за то вѣрно; вотъ увидите. Прохожу въ третій разъ. Опять также молча, опять предъ каждымъ по стольку же, и опять кромѣ пятаго ни у кого ничего; а у него на вискахъ потъ. Я прошелъ всѣхъ по прежнему, и потомъ подошелъ къ нему: ты любезный, говорю, останься; а вы всѣ уходите, обратился къ остальнымъ.

«— Ну, признавайся, ты обокралъ своего господина. Куда дѣлать вещи?»

«— Нѣтъ.

«— Чего нѣтъ! Признавайся. Все равно, далеко спрятать ты не успѣлъ, домъ обыщемъ, покража найдется, и тебѣ очень, очень худо будетъ. А если самъ укажешь, гдѣ положилъ, я даю слово попросить твоего господина, чтобъ не такъ строго тебя наказалъ.

«Повалился въ ноги. Виноватъ!»

«— Гдѣ же?»

«Подъ застрехой на чердакѣ».

Тогда я отворяю дверь и говорю: Дмитрій Павловичъ, пожалуйста; вотъ вашъ воръ, а вещи онъ вамъ укажетъ подъ застрехой на чердакѣ. Я же прошу васъ, накажите его не такъ строго; я ему это обѣщалъ. Прощать его конечно нельзя: онъ мало того что укралъ, да еще обманулъ довѣренность своего господина; но за признаніе и раскаяніе можно снизить въ наказаніи.

— Чѣмъ же кончилось? спрашиваю я.

— Какъ чѣмъ? Вещи нашлись.

— Нѣтъ, а поблагодарилъ ли васъ Дмитрій Павловичъ?

— Хоть бы плюнулъ, хоть бы слово сказалъ. Я говорю вамъ, что самъ заплатилъ пять рублей. Это я гадалкѣ пятирублевую: на, тебѣ, говорю, за совѣтъ, за то что надоумила. Да чего! Знаете ли? Не послушалъ и моей просьбы: вору никакой пощады, ни малѣйшей жалости! Вѣдь это что? Я толкую себѣ такъ: онъ больше всего обозлился, что предо мной осрамился, послѣ того какъ хвастался людьми. Вотъ они, господа! Вотъ вамъ и Арбатская часть, о которой вы изволите спрашивать.

Болѣе я не сталъ вывѣдывать. Послѣдній способъ, примѣненный къ пропажѣ у Голохвастова, самъ по себѣ ясенъ. Но „на лицѣ написано“, „совѣсть говоритъ“, — такіе отвѣты показываютъ, что почтенный Петръ Ивановичъ самъ не могъ отдать себѣ отчета, не могъ сознательно разложить черты, по которымъ распознавалъ бѣглаго, и притомъ каторжника и двороваго, или вора и убійцу. Можетъ быть поддалась бы анализу и эта поимка двухъ „на тройкѣ *подпасныхъ*“. Вѣроятно такъ было въ его головѣ: какіе де люди могутъ и куда ѣхать на тройкѣ въ открытыхъ санихъ, наканунѣ праздника, въ сочельникъ? Они подпоясаны, слѣдовательно не проѣзжаютъ лошадей, а ѣдутъ въ даль; это доказывается и тѣмъ, что заѣхали въ трактиръ. И такъ далѣе. Объясненіе, которымъ ограничивался Петръ Ивановичъ: „на тройкѣ, въ открытыхъ санихъ, кушаками подпасаны“ было частію тѣхъ признаковъ, по которымъ онъ судилъ и которыхъ не въ силахъ былъ сформулировать.

Во всякомъ случаѣ Петръ Ивановичъ Андреевъ былъ замѣчательнымъ полицейскимъ, и полицейскому вѣдомству слѣдовало бы искать и воспитывать такихъ ищеекъ, которыя бы по аттестату, написанному на лицѣ, могли узнавать преступника и отгадывать видъ преступленія. Года четыре назадъ мнѣ пришлось говорить съ однимъ жандармскимъ офицеромъ. Я передалъ ему извѣстное мнѣ о дядюшкѣ Петрѣ Ивановичѣ и спрашивалъ: есть ли теперь такіе? Тотъ отвѣтилъ утверди-

тельно и даже прибавилъ, что самъ по одному наружному виду узналъ преступника, покушавшагося на взрывъ желѣзной дороги, и руководимый первоначально этимъ чутьемъ, выслѣдилъ и арестовалъ его. Можетъ быть Петры Ивановичи не умираютъ дѣйствительно, хотя мы ихъ и не видимъ.

LVIII.

Игра судьбы.

Счастье ли мое такое, что на жизненной дорогѣ попадались существа, рѣзко отмѣченныя бытомъ, характеромъ, судьбой? Или вѣчное духовное одиночество, а отсюда нѣкоторое отдаленіе отъ окружающаго давали мнѣ подмѣчать особенности, ускользавшія отъ вниманія самихъ дѣятелей мірка, въ которомъ я вращался? Тотъ же Петръ Ивановичъ, отставной квартальный, вѣчный гость Богдановскаго погреба, отличный знатокъ провизіи, знавшій въ ней вкусъ и умѣвшій, гдѣ и какъ покупать лучшее, что онъ для другихъ? Прошелъ, какъ и всѣ, ничѣмъ не отличенный: мало ли отставныхъ чиновниковъ и квартальныхъ въ частности? Одинъ какъ другой. Меня поразило даръ физиономистики, которымъ надѣленъ былъ Петръ Ивановичъ, и я его эксплуатировалъ, испытывалъ, заставлялъ разсказать происшествія съ интересовавшей меня стороны. А не одному мнѣ было извѣстно и о похвальномъ листѣ, ему пожалованномъ, и о часахъ подаренныхъ за поимку воровъ. Но для большинства знавшихъ важно было то, что вотъ человѣку выпала удача, а не то чѣмъ удача была достигнута. А можетъ быть и сотни еще, мимо которыхъ прошелъ и я не глядя, каждый прожилъ особенную въ чемъ нибудь внутреннюю ль, внѣшнюю ли исторію, хотя пошлая наружность и не отличаетъ ихъ отъ пошлаго окружающаго.

Петръ Ивановичъ былъ квартальный. Кромѣ событий, свидѣтельствовавшихъ о его сыскномъ чутьѣ, въ разсказахъ своихъ мнѣ онъ отчасти обнажилъ свою душу, невольно, не думая ее показывать; обнаружилъ нравственный кодексъ, внушавшій ему беречь обывателя отъ воровъ и вмѣстѣ учить того же обывателя почтенію къ праздникамъ; возмущаться, что начальство вынуждаетъ къ складчинѣ на дорогіе обѣды и тѣмъ же разомъ находить въ порядкѣ вещей, что этотъ самый обѣдъ ему, квартальному, обходился на чужой счетъ.

Какое, подумаешь, противорѣчіе! А меньшее ли противорѣчіе въ катихизисѣ офицера-героя, прогремѣваго на весь свѣтъ подвигами безстрашія въ битвѣ или самоотверженія въ осадномъ сидѣннѣ, а въ наступившее замиреніе обирающаго народъ по системѣ Сквозника-Дмухановскаго, или того хуже—во время самой войны обкрадывающаго солдатъ, полуголодныхъ, больныхъ, раненыхъ? Всеу свѣту извѣстно, до чего обыкновенная такая непослѣдовательность, повидимому невѣроятная. Разберите же душу такого офицера!

Душа квартальнаго! Разкажу о случаѣ, который не со мною былъ, но который также обнажилъ душу другаго квартальнаго, и притомъ съ другой стороны. Чѣмъ живетъ квартальный?—Доходами, разумѣется... Нѣтъ, а чѣмъ живетъ его душа? У Петра Ивановича по отношенію къ преступникамъ было чувство охотника; оно есть источникъ наслажденія борьбою, безкорыстнаго, идеальнаго. Не у всѣхъ квартальныхъ оно есть; но кромѣ прозаическаго услажденія утробы и кармана, шевелится же у нихъ и для души нѣчто въ утѣшеніе.

Было освященіе церкви. Студентъ съ пріятелемъ, тоже изъ синихъ воротниковъ, отправился и вошелъ въ олтарь, чтобы не тѣсниться съ народомъ, который въ такіе дни едва вмѣщается въ храмъ. Квартальный подходитъ къ молодымъ людямъ и вѣжливо, мягкимъ,

тономъ просить удалиться: присутствіе ихъ будетъ мѣшать священнодѣйствующимъ. Студенты вышли. Вотъ и все. Кажется, ничего болѣе.

Наступаетъ вечеръ. Тѣ же студенты сидятъ въ квартирѣ одного изъ нихъ; а квартира отдѣлена лишь тонкой перегородкой отъ помѣщенія, занимаемаго писаремъ квартала. Слышать они: входитъ квартальный, и по голосу его замѣтно, что за угощеніемъ не постоялъ храмоздатель. Квартальный басилъ, подражая протодіакону:

„Вое-на-чаль-ни-комъ, градо-на-чаль-ни-комъ....“

— А намъ, Петя, многолѣтіе возглашали нынче!... Говоритъ квартальный и продолжаетъ басыть: „Вое-на-чаль-ни-комъ, градо-на-чаль-ни-комъ...“

— Тамъ въ олтарѣ студенты стояли. Я имъ сказалъ: „пошли вонъ!“ (Квартальный произнесъ это слово повелительнымъ рѣзкимъ тономъ)... Вышли.... „Вое-на-чаль-ни-комъ, градо-на-чаль-ни-комъ.....“

И такъ, вотъ процессъ, пережитый душею квартального, во время церемоніи. „Захочу и выгоню; и пойдутъ; ученые люди повинуются“. Стражъ благочинія усаждается властью, которою онъ облеченъ. А затѣмъ еще полнѣе усаждается торжественною почестью: ему, ему въ числѣ другихъ здравствовалъ протодіаконъ, возглашая многолѣтіе „градоначальникомъ“. Да не онъ ли одинъ, изъ присутствовавшихъ сверхъ частнаго пристава, и былъ „градоначальникъ“ на церемоніи?

Этимъ замѣчаніемъ о недостаточности границъ между обыкновеннымъ и чрезвычайнымъ начинаю рассказъ объ особенной судьбѣ старшей дочери Алексѣя Ивановича. Судьба ея была особенная, но въ самой особенности не была ли обыкновенною?

Съ пеленокъ, какъ читатели уже знаютъ, Марья Алексѣевна взята была благодѣтельницею Надежды Алексѣевны, ея крестной матерью. Надежда Ѳедоровна не надышала на свою восприемную внучку. Не на положеніи куклы, которою утѣшаются, которую любятъ,

но которую держать между дѣвичьей и спальней, лишь нѣсколько отличая отъ Палашекъ и Матрешекъ,—Машенька сосредоточила на себѣ всю любовь, заботливость, почти обожаніе „барышни“, уже заканчивавшей вѣкъ. Для Машеньки исключительно и живетъ „бабушка“; ей готовить состояніе, копить остатки отъ доходовъ, немалыхъ при пятистахъ или болѣе душахъ. Машенька не отличена отъ родныхъ племянницъ и даже предпочтена имъ. И должно отдать справедливость питомицѣ: она была вполне достойна той, почти страстной нѣжности, которую питала къ ней „бабушка“. И наружность и душевныя качества ея были равно прекрасны. Правильныя, чрезвычайно миловидныя черты лица, мягкій голосъ и столь же мягкія манеры, и къ этому душа столь же мягкая, деликатная, покорная. Я зазналъ ее во второй порѣ молодости и въ возрастѣ, приближавшемся къ старости: ни раза я не замѣтилъ никогда ни рѣзкаго движенія, ни рѣзкаго голоса, тѣмъ менѣе рѣзкаго поступка; и мнѣ ясно, почему ее боготворила бабушка, видѣла въ ней порошинку, заслуживающую, чтобъ ее холить и беречь, бояться, чтобы самое легкое дуновение ея не коснулось.

Слѣдуя за вѣкомъ, не захотѣла бабушка лишить боготворимую внучку и умственного воспитанія; нужно, чтобъ ея крошки, будущей наследницы, не погнушались самый знатный женихъ, чтобъ каждый за честь почелъ, если его удостоить вниманіемъ. Надежда Ѳедоровна обратилась въ Екатерининскій институтъ съ просьбою доставить лучшую воспитательную силу, какою располагало заведеніе; за вознагражденіемъ она не постоитъ. Отпущена ли была какая изъ классныхъ дамъ, или уже послѣ гувернантка Марьи Алексѣевны поступила въ классныя дамы института, если не въ инспектрисы, этого до меня не дошло; но достоверно, что она была классной ли дамой, инспектрисой ли, и это указываетъ мѣру заботливости, какую прилагала „бабушка“ къ своей пріемной внучкѣ.

Фамилія воспитательницы удержана моею памятью, но я не назову ее. Съ умомъ и образованіемъ, сколько понимаю теперь, она соединяла характеръ, немногимъ уступающій характеру извѣстной Булахъ. Она не думала помрачать разсудка своей питомицы, подобно Булахъ; напротивъ приложила стараніе передать ей свои знанія и умственное развитіе; но у нея былъ братъ, и она не упустила сердцу питомицы разставить паутины, чтобъ лакомый кусокъ, бывшій у нея на рукахъ, не ушелъ отъ нея замужествомъ. Четырнадцать, пятнадцать лѣтъ была Машенька, ее вывозили уже по сосѣдямъ, и многіе за нею увивались. Воспитательница нашла полезнымъ представить Надеждѣ Ѳедоровнѣ и своего брата-офицера. Какъ вела она интригу, неизвѣстно, да и знать не нужно: умная женщина сумѣла представить брата въ привлекательномъ свѣтѣ; онъ самъ не упустилъ стараній понравиться, и бабушка уже рѣшалась благословить внучку; но уважая родительскія права, не преминула сообщить и Надеждѣ Алексѣевнѣ съ Алексѣемъ Ивановичемъ о представляющейся партіи. Родители оказались менѣе легковѣрными: навели справки. Свѣдѣнія оказались не въ пользу намѣченнаго жениха: онъ славился, какъ клубный игрокъ, и притомъ не безупречнаго поведенія.

Послѣ такого открытія, понятно, Надежда Ѳедоровна отложила свое намѣреніе, можетъ быть и съ сожалѣніемъ: искусительница продолжала жить при ней и не думала отступаться отъ своего плана, хотя видимо и покорилась. Подробности мнѣ неизвѣстны, но изъ нѣкоторыхъ обстоятельствъ заключаю, что она поощряла переписку между своею питомицею и братомъ, и кажется, рѣшила устроить побѣгъ или похищеніе: нужно было только дождаться „лѣтъ“, то есть когда исполнится Марѣ Алексѣевнѣ шестнадцать. Но неожиданное обстоятельство опрокинуло замыселъ. Не ждавшіе и не гадавшіе Зацѣпскіе родители въ одинъ осенній день увидѣли подѣхавшій къ ихъ воротамъ дормезъ

шестерней, со все́ми признаками дальняго барскаго путешествія: баулами, дорожными сундуками и кучею людей на козлахъ, на запяткахъ, на переднихъ выносныхъ.—„Что значить? маменька пріѣхала!“

Нѣтъ, не маменька пріѣхала; „маменька“ скончалась и зарыта, а привезли Машеньку съ ея воспитательницею, съ ея гардеробомъ и со всею челядью, которая ходила за нею при покойной „барышнѣ“. Надежда Ѳедоровна скончалась внезапно, „наскоро“, отъ холеры, и наслѣдники попросили питомицу покойной отправиться къ родителямъ. Конечно безъ намѣренія насмѣяться, но въ тонѣ, который для родителей звучалъ злѣйшей ироніей, письмо, вмѣстѣ съ извѣщеніемъ о кончинѣ Надежды Ѳедоровны, предлагало Машенькѣ оставить при себѣ прислугу, которая за ней ходила, и —даже лошадей.

Но Машенька была объявленной наслѣдницей? Да, и завѣщаніе было написано, подписано и засвидѣтельствовано. Да хранилось-то завѣщаніе въ коммодѣ самой бабушки, и не шестнадцатилѣтней дѣвочки, неопытной и притомъ безконечно робкой и покорной, заявлять было о своихъ правахъ нагрянувшимъ наслѣдникамъ. А воспитательница предпочла сыграть роль, которая представлялась выгоднѣйшею: при извѣстномъ несогласіи родителей, желанный бракъ, даже посредствомъ похищенія, обращался въ бесполезную затѣю.

Одинъ изъ наслѣдниковъ (ихъ оказалось много, за отсутствіемъ ближайшихъ кровныхъ, перемершихъ притомъ безъ потомства) пріѣзжалъ чрезъ нѣсколько времени на Зацѣпу „для объясненій“. Не отрицалъ существованія завѣщанія, но выражалъ сомнѣніе въ его подлинности: рука покойницы не похожа. Свидѣтель, (чуть ли не священникъ) по его словамъ, тоже отрекается отъ подписи. Не согласится ли Алексѣй Ивановичъ на сдѣлку? Алексѣй Ивановичъ выпрямился, на сколько позволялъ ему его малый ростъ, и съ тою медленностью, которая свойственна была его рѣчи въ

важныхъ случаяхъ, произнесъ: „своею дочерью я не торгую и оскорблять память благодѣтельницы нашей себѣ не позволю. Не хотите вы признать завѣщанія,— воля ваша. Я дѣла начинать не стану, успокойтесь; а подаянія отъ васъ не приму“.

Съ небольшими сравнительно деньгами, выданными въ попыхахъ при отправкѣ въ Москву, вовсякомъ случаѣ значительно превосходившими дорожныя издержки, такъ и осталась на рукахъ у родителей боготворимая Машенька. Часы, которые всего за нѣсколько недѣль до смерти подарила бабушка своей питомицѣ, и тѣ остались было у княгини, одной изъ наслѣдницъ. Княгиня до сіятельнаго титула воспитывалась вмѣстѣ съ Машенькой, была съ ней на „ты“, считалась ея другомъ, бывши почти ровесницею. Перебирая вещи, княгиня однако вспомнила, кому были подарены часы, и возвратила.

И лошади съ экипажемъ, и люди отпущены; поблагодарили и Анну Павловну за проводы. Настала для Марьи Алексѣевны новая жизнь, не бѣдственная правда, Алексѣй Ивановичъ съ Надеждою Алексѣевной, по своему положенью, были даже богаты; но что значила жизнь въ домѣ московскаго священника, съ одною, много двумя прислугами, сравнительно съ барскими хоромами и цѣлымъ полчищемъ дворни? Марья Алексѣевна не умѣла, да! не умѣла ни обуться, ни одѣться, ни причесать голову, и туалетъ ея, въ которомъ помогали ей теперь сестры, въ первое время извлекалъ у нея ежедневно слезы,—не объ утекшемъ богатствѣ, а объ неумѣньи исполнять столь простыя вещи. При первой попыткѣ она гребнемъ только выдирала себѣ съ болью волосы; застегнуться оказалось мудреною наукой. Наконецъ она не умѣла... ходить! По полу она ходила, и притомъ только по ровному; на неровныхъ половицахъ спотыкалась, а на дворѣ и на улицѣ даже падала. Сохранился трагикомическій разсказъ о томъ, какъ родители, прилагавшіе все усиліе, на сколько было въ ихъ

средствахъ, внушить Машенькѣ забвеніе объ ея сиротствѣ, купили ей самую дорогую шляпку, съ виноградомъ (стекляннымъ, разумѣется), какъ требовала послѣдняя мода. Отправилась Машенька въ церковь обновить изящный уборъ; счетомъ до церкви ровно двадцать шаговъ. Но и тѣхъ она не прошла, упала; шляпка свалилась и отъ винограда осталось битое стекло.

Года три или четыре прожила Марья Алексѣевна въ домѣ родителей, приучившись потомъ сама ходить за собою. Родители оказывали ей все вниманіе, сестры съ братомъ всю любовь. Сватались женихи, одинъ за другимъ, по памяти деревенской; хотя богатство ушло, но наружныя и внутреннія достоинства оставались не менѣе привлекательными. Находились и въ Москвѣ желавшіе ея руки; партіи представлялись на столько выгодныя, что никакая другая поповна не могла бы и помыслить о подобныхъ. Но Марья Алексѣевна упорно отказывала и виднымъ помѣщикамъ и не менѣе виднымъ инженерамъ. Почему? Потому ли, что наружность ихъ не привлекала сердца? Ея рѣдкая скромность не выдавала тайны; но можно изъ послѣдующаго догадываться, что первая любовь, въ которой ее воспитали, глубоко пустила корни. Можетъ быть она надѣялась на возвратъ ею; можетъ быть поклявшись нѣкогда въ *вѣчной* любви (первая любовь всегда бываетъ вѣчною) рѣшилась сдержать слово, не смотря на его измѣну.

Въ приходѣ Алексѣя Ивановича жилъ одинъ домашній учитель, бывшій студентъ Медико-хирургической Академіи, не кончившій курса и добывавшій безбѣдный хлѣбъ уроками по купеческимъ домамъ. Къ Алексѣю Ивановичу онъ былъ вхожъ, тѣмъ болѣе что и батюшкины дѣти отчасти не миновали его уроковъ. Въ одинъ зимній мясоѣстъ къ Николаю Тимоѣевичу (имя учителя) пріѣхалъ на побывку лѣкарь изъ Свеаборга, нѣкогда товарищъ по Академіи, не имѣвшій ни души знакомыхъ въ Москвѣ. Женитьба была одною изъ цѣлей его поѣздки и его надеждою. Увидѣлъ пріѣзжій

гость Марью Алексѣвну въ церкви.— „Посватай“.— Высоко братъ берешь. Посмотри на себя, кто ты и что ты, что въ тебѣ и на тебѣ, и что у тебя; и живешь-то ты Богъ знаетъ гдѣ. Сватались такой-то и такой-то, остались съ носомъ. NN неотступно ухаживалъ, больше года, партія завидная; и тому отказано.

Гость однако настаивалъ, и хозяинъ, скрѣпя сердце, согласился: прежде всего попросить батюшку съ семействомъ на чай. Это было за обыкновеніе, и всею семьею, съ тремя дочерьми и малолѣткомъ сыномъ, отправились Алексѣй Ивановичъ и супруга. Когда возвратились домой, много было смѣха въ семьѣ на неуклюжую наружность пріѣзжаго лѣкаря, на его мундиръ съ черной портупеей, на угловатыя манеры, и односложные отвѣты съ повтореніями и запинаями: „да, да, да!“ „вотъ, вотъ...“ и т. п.

На другой же день утромъ явился къ Алексѣю Ивановичу Николай Тимоѣевичъ просить позволенія привести съ собой гостя, намекнувъ при этомъ и о его желаніи просить руки Марьи Алексѣвны. Подивился про себя Алексѣй Ивановичъ, но просилъ пожаловать къ обѣду. Младшія дочери во время обѣда едва удерживались отъ смѣха, и матушка сама кусала губы, морщась по адресу надсаживавшихся отъ усилія удержать смѣхъ. Обѣдъ кончился, и пріѣзжій гость немедленно же въ сепаратной аудіенціи у родителей сталъ просить руки старшей дочери „Это отъ нея зависитъ“, отвѣчали родители. Одна изъ младшихъ дочерей тутъ подвернулась, и ее отправили „на верхъ“, къ Машенькѣ, сообщить предложеніе. Съ хохотомъ отправилась посланница и едва переводя духъ отъ смѣха сообщила: „а знаете, Машенька, что выдумалъ *этотъ*? Вѣдь онъ къ Вамъ сватается. Не вѣрите? Право...“ И хохотъ снова прервалъ ея слова.

— Чему же ты смѣешься? отвѣтила старшая сестра кротко по своему обыкновенію, но серіозно и почти строго. Смѣшнаго тутъ ничего нѣтъ; я согласна за него выйти.

Вѣстница окаменѣла. Поражены были и родители. Гостямъ сказали, что отвѣтъ на предложеніе они получаютъ можетъ быть завтра.

— Машенька! Что ты дѣлаешь? Неужели это правда? Ты соглашаешься? Не говоримъ объ его наружности; сама ты вчера на нее смѣялась. Но подумай, чѣмъ вы будете жить при ничтожномъ жалованьи корабельнаго врача? И притомъ ѣхать въ такую даль, за тысячу слишкомъ верстъ отъ насъ, разлучиться со всеми родными....

Машенька плакала, отвѣчала, что ей разстаться съ домомъ будетъ очень тяжело, но что она рѣшилась. Наружность ничего не значить; бѣдность она перенесетъ. Говорятъ же, онъ добрый человѣкъ; потому она надѣется его полюбить и будетъ счастлива.

Сколько доводовъ, предостереженій, слезъ ни истощали родители и сестры, Машенька была непреклонна: согласна, иду за него..

Повиновались родители; передали отвѣтъ. А срокъ отпуску свеаборгскому врачу наступалъ. Черезъ нѣсколько дней, наканунѣ масленицы, онъ былъ обвинчанъ и изъ церкви прямо перешелъ на житье съ новобрачной въ домъ тестя. А еще черезъ нѣсколько дней глухой тарантасъ повезъ молодыхъ супруговъ въ Свеаборгъ. Марья Алексѣевна этого не помнила: ее положили въ повозку безъ чувствъ, почти бездыханную.

Что такое? Ни я, ни изъ кровныхъ родныхъ никто не рѣшался потомъ никогда допрашивать объ этомъ душевномъ переворотѣ, объ этой неожиданной и невѣроятной рѣшимости. А сама Марья Алексѣевна, при своей врожденной скромности, тѣмъ менѣе находила нужнымъ пускаться въ объясненіе; говаривала только, что не скоро привыкла къ мужу; что въ отсутствіе его, при частыхъ отлучкахъ, требовавшихся службою, она въ однихъ слезахъ проводила время, не давая мужу однако даже догадываться о своемъ душевномъ состояніи. Она была къ нему внимательна, а онъ души въ ней не

тономъ просить удалиться: присутствіе ихъ будетъ мѣшать священнодѣйствующимъ. Студенты вышли. Вотъ и все. Кажется, ничего болѣе.

Наступаетъ вечеръ. Тѣ же студенты сидятъ въ квартирѣ одного изъ нихъ; а квартира отдѣлена лишь тонкой перегородкой отъ помѣщенія, занимаемаго писаремъ квартала. Слышать они: входитъ квартальный, и по голосу его замѣтно, что за угощеніемъ не постоялъ храмоздатель. Квартальный басиль, подражая протодіакону:

„Вое-на-чаль-ни-комъ, градо-на-чаль-ни-комъ....“

— А намъ, Петя, многолѣтіе возглашали нынче!... Говоритъ квартальный и продолжаетъ басыть: „Вое-на-чаль-ни-комъ, градо-на-чаль-ни-комъ...“

— Тамъ въ олтарѣ студенты стояли. Я имъ сказалъ: „пошли вонъ!“ (Квартальный произнесъ это слово повелительнымъ рѣзкимъ тономъ)... Вышли.... „Вое-на-чаль-ни-комъ, градо-на-чаль-ни-комъ.....“

И такъ, вотъ процессъ, пережитый душею квартального, во время церемоніи. „Захочу и выгоню; и пойдутъ; ученые люди повинуются“. Стражъ благочинія усаждается властью, которою онъ облеченъ. А затѣмъ еще полнѣе усаждается торжественною почестью: ему, ему въ числѣ другихъ здравствовалъ протодіаконъ, возглашая многолѣтіе „градоначальникомъ“. Да не онъ ли одинъ, изъ присутствовавшихъ сверхъ частнаго пристава, и былъ „градоначальникъ“ на церемоніи?

Этимъ замѣчаніемъ о недостаточности границъ между обыкновеннымъ и чрезвычайнымъ начинаю рассказъ объ особенной судьбѣ старшей дочери Алексѣя Ивановича. Судьба ея была особенная, но въ самой особенности не была ли обыкновенною?

Съ пеленокъ, какъ читатели уже знаютъ, Марья Алексѣевна взята была благодѣтельницею Надежды Алексѣевны, ея крестной матерью. Надежда Ѳедоровна не надышала на свою восприемную внучку. Не на положеніи куклы, которою утѣшаются, которую любятъ,

но которую держатъ между дѣвичьей и спальней, лишь нѣсколько отличая отъ Палашекъ и Матрешекъ,—Машенька сосредоточила на себѣ всю любовь, заботливость, почти обожаніе „барышни“, уже заканчивавшей вѣкъ. Для Машеньки исключительно и живетъ „бабушка“; ей готовить состояніе, копить остатки отъ доходовъ, немалыхъ при пятистахъ или болѣе душахъ. Машенька не отличена отъ родныхъ племянницъ и даже предпочтена имъ. И должно отдать справедливость питомицѣ: она была вполне достойна той, почти страстной нѣжности, которую питала къ ней „бабушка“. И наружность и душевныя качества ея были равно прекрасны. Правильныя, чрезвычайно миловидныя черты лица, мягкій голосъ и столь же мягкія манеры, и къ этому душа столь же мягкая, деликатная, покорная. Я узналъ ея во второй порѣ молодости и въ возрастѣ, приближавшемся къ старости: ни раза я не замѣтилъ никогда ни рѣзкаго движенія, ни рѣзкаго голоса, тѣмъ менѣе рѣзкаго поступка; и мнѣ ясно, почему ея боготворила бабушка, видѣла въ ней порошокъ, заслуживающую, чтобъ ея холить и беречь, бояться, чтобы самое легкое дуновеніе ея не коснулось.

Слѣдуя за вѣкомъ, не захотѣла бабушка лишить боготворимую внучку и умственнаго воспитанія; нужно, чтобъ ея крошки, будущей наслѣдницы, не погнушались самый знатный женихъ, чтобъ каждый за честь почелъ, если его удостоятъ вниманіемъ. Надежда Ѳедоровна обратилась въ Екатерининскій институтъ съ просьбою доставить лучшую воспитательную силу, какою располагало заведеніе; за вознагражденіемъ она не постоитъ. Отпущена ли была какая изъ классныхъ дамъ, или уже послѣ гувернантка Марья Алексѣевна поступила въ классныя дамы института, если не въ инспектрисы, этого до меня не дошло; но достоверно, что она была классной ли дамой, инспектрисой ли, и это указываетъ мѣру заботливости, какую прилагала „бабушка“ къ своей пріемной внучкѣ.

Фамилія воспитательницы удержана моею памятью; но я не назову ее. Съ умомъ и образованіемъ, сколько понимаю теперь, она соединяла характеръ, немногимъ уступающій характеру извѣстной Булахъ. Она не думала помрачать разсудка своей питомицы, подобно Булахъ; напротивъ приложила стараніе передать ей свои знанія и умственное развитіе; но у нея былъ братъ, и она не упустила сердцу питомицы разставить паутины, чтобъ лакомый кусокъ, бывшій у нея на рукахъ, не ушелъ отъ нея замужествомъ. Четырнадцать, пятнадцать лѣтъ была Машенька, ее вывозили уже по сосѣдямъ, и многіе за нею увивались. Воспитательница нашла полезнымъ представить Надеждѣ Ѳедоровнѣ и своего брата-офицера. Какъ вела она интригу, неизвѣстно, да и знать не нужно: умная женщина сумѣла представить брата въ привлекательномъ свѣтѣ; онъ самъ не упустилъ стараній понравиться, и бабушка уже рѣшалась благословить внучку; но уважая родительскія права, не преминула сообщить и Надеждѣ Алексѣевнѣ съ Алексѣемъ Ивановичемъ о представляющейся партіи. Родители оказались менѣе легковѣрными: навели справки. Свѣдѣнія оказались не въ пользу намѣченного жениха: онъ славился, какъ клубный игрокъ, и притомъ не безупречнаго поведенія.

Послѣ такого открытія, понятно, Надежда Ѳедоровна отложила свое намѣреніе, можетъ быть и съ сожалѣніемъ: искусительница продолжала жить при ней и не думала отступаться отъ своего плана, хотя видимо и покорилась. Подробности мнѣ неизвѣстны, но изъ нѣкоторыхъ обстоятельствъ заключаю, что она поощряла переписку между своею питомицею и братомъ, и кажется, рѣшила устроить побѣгъ или похищеніе: нужно было только дождаться „лѣтъ“, то есть когда исполнится Марѣ Алексѣевнѣ шестнадцать. Но неожиданное обстоятельство опрокинуло замыселъ. Не ждавшіе и не гадавшіе Зацѣпскіе родители въ одинъ осенній день увидѣли подѣхавшій къ ихъ воротамъ дормезъ

шестерней, со всеми признаками дальняго барскаго путешествія: баулами, дорожными сундуками и кучею людей на козлахъ, на запяткахъ, на переднихъ выносныхъ.—„Что значить? маменька пріѣхала!“

Нѣтъ, не маменька пріѣхала; „маменька“ скончалась и зарыта, а привезли Машеньку съ ея воспитательницею, съ ея гардеробомъ и со всею челядью, которая ходила за нею при покойной „барышнѣ“. Надежда Ѳедоровна скончалась внезапно, „наскоро“, отъ холеры, и наслѣдники попросили питомицу покойной отправиться къ родителямъ. Конечно безъ намѣренія насмѣяться, но въ тонѣ, который для родителей звучалъ злѣйшей ироніей, письмо, вмѣстѣ съ извѣщеніемъ о кончинѣ Надежды Ѳедоровны, предлагало Машенькѣ оставить при себѣ прислугу, которая за ней ходила, и —даже лошадей.

Но Машенька была объявленной наслѣдницей? Да, и завѣщаніе было написано, подписано и засвидѣтельствовано. Да хранилось-то завѣщаніе въ коммодѣ самой бабушки, и не шестнадцатилѣтней дѣвчонкѣ, неопытной и притомъ безконечно робкой и покорной, заявлять было о своихъ правахъ нагрянувшимъ наслѣдникамъ. А воспитательница предпочла сыграть роль, которая представлялась выгоднѣйшею: при извѣстномъ несогласіи родителей, желанный бракъ, даже посредствомъ похищенія, обращался въ бесполезную затѣю.

Одинъ изъ наслѣдниковъ (ихъ оказалось много, за отсутствіемъ ближайшихъ кровныхъ, перемершихъ притомъ безъ потомства) пріѣзжалъ чрезъ нѣсколько времени на Заѣпу „для объясненій“. Не отрицалъ существованія завѣщанія, но выражалъ сомнѣніе въ его подлинности: рука покойницы не похожа. Свидѣтель, (чуть ли не священникъ) по его словамъ, тоже отрекается отъ подписи. Не согласится ли Алексѣй Ивановичъ на сдѣлку? Алексѣй Ивановичъ выпрямился, на сколько позволялъ ему его малый ростъ, и съ тою медленностью, которая свойственна была его рѣчи въ

важныхъ случаяхъ, произнесъ: „своею дочерью я не торгую и оскорблять память благодѣтельницы нашей себѣ не позволю. Не хотите вы признать завѣщанія,— воля ваша. Я дѣла начинать не стану, успокойтесь; а подаянія отъ васъ не приму“.

Съ небольшими сравнительно деньгами, выданными въ попыхахъ при отправкѣ въ Москву, во всякомъ случаѣ значительно превосходившими дорожныя издержки, такъ и осталась на рукахъ у родителей боготворимая Машенька. Часы, которые всего за нѣсколько недѣль до смерти подарила бабушка своей питомицѣ, и тѣ остались было у княгини, одной изъ наслѣдницъ. Княгиня до сіятельнаго титула воспитывалась вмѣстѣ съ Машенькой, была съ ней на „ты“, считалась ея другомъ, бывши почти ровесницею. Перебирая вещи, княгиня однако вспомнила, кому были подарены часы, и возвратила.

И лошади съ экипажемъ, и люди отпущены; поблагодарили и Анну Павловну за проводы. Настала для Марьи Алексѣевны новая жизнь, не бѣдственная правда, Алексѣй Ивановичъ съ Надеждою Алексѣевной, по своему положенью, были даже богаты; но что значила жизнь въ домѣ московскаго священника, съ одною, много двумя прислугами, сравнительно съ барскими хоромами и цѣлымъ полчищемъ дворни? Марья Алексѣевна не умѣла, да! не умѣла ни обуться, ни одѣться, ни причесать голову, и туалетъ ея, въ которомъ помогали ей теперь сестры, въ первое время извлекалъ у нея ежедневно слезы,—не объ утекшемъ богатствѣ, а объ неумѣньи исполнять столь простыя вещи. При первой попыткѣ она гребнемъ только выдирала себѣ съ болью волосы; застегнуться оказалось мудреною наукой. Наконецъ она не умѣла... ходить! По полу она ходила, и притомъ только по ровному; на неровныхъ половицахъ спотыкалась, а на дворѣ и на улицѣ даже падала. Сохранился трагикомическій разсказъ о томъ, какъ родители, прилагавшіе все усиліе, на сколько было въ ихъ

средствахъ, внушить Машенькѣ забвеніе объ ея сиротствѣ, купили ей самую дорогую шляпку, съ виноградомъ (стекляннымъ, разумѣется), какъ требовала послѣдняя мода. Отправилась Машенька въ церковь обновить изящный уборъ; счетомъ до церкви ровно двадцать шаговъ. Но и тѣхъ она не прошла, упала; шляпка свалилась и отъ винограда осталось битое стекло.

Года три или четыре прожила Марья Алексѣевна въ домѣ родителей, приучившись потомъ сама ходить за собою. Родители оказывали ей все вниманіе, сестры съ братомъ всю любовь. Сватались женихи, одинъ за другимъ, по памяти деревенской; хотя богатство ушло, но наружныя и внутреннія достоинства оставались не менѣе привлекательными. Находились и въ Москвѣ желавшіе ея руки; партіи представлялись на столько выгодныя, что никакая другая поповна не могла бы и помыслить о подобныхъ. Но Марья Алексѣевна упорно отказывала и виднымъ помѣщикамъ и не менѣе виднымъ инженерамъ. Почему? Потому ли, что наружность ихъ не привлекала сердца? Ея рѣдкая скромность не выдавала тайны; но можно изъ послѣдующаго догадываться, что первая любовь, въ которой ее воспитали, глубоко пустила корни. Можетъ быть она надѣялась на возвратъ *ею*; можетъ быть поглявшись нѣкогда въ *вѣчной* любви (первая любовь всегда бываетъ вѣчною) рѣшилась сдержать слово, не смотря на его измѣну.

Въ приходѣ Алексѣя Ивановича жилъ одинъ домашній учитель, бывшій студентъ Медико-хирургической Академіи, не кончившій курса и добывавшій безбѣдный хлѣбъ уроками по купеческимъ домамъ. Къ Алексѣю Ивановичу онъ былъ вхожъ, тѣмъ болѣе что и батюшкины дѣти отчасти не миновали его уроковъ. Въ одинъ зимній мясоѣстъ къ Николаю Тимоѣевичу (имя учителя) пріѣхалъ на побывку лѣкарь изъ Свеаборга, нѣкогда товарищъ по Академіи, не имѣвшій ни души знакомыхъ въ Москвѣ. Женитьба была одною изъ цѣлей его поѣздки и его надеждою. Увидѣлъ пріѣзжій

гость Марью Алексѣвну въ церкви.— „Посватай“.— Высоко братъ берешь. Посмотри на себя, кто ты и что ты, что въ тебѣ и на тебѣ, и что у тебя; и живешь-то ты Богъ знаетъ гдѣ. Сватались такой-то и такой-то, остались съ носомъ. NN неотступно ухаживалъ, больше года, партія завидная; и тому отказано.

Гость однако настаивалъ, и хозяинъ, скрѣпя сердце, согласился: прежде всего попросить батюшку съ семействомъ на чай. Это было за обыкновеніе, и всею семьею, съ тремя дочерьми и малолѣткомъ сыномъ, отправились Алексѣй Ивановичъ и супруга. Когда возвратились домой, много было смѣха въ семьѣ на неуклюжую наружность пріѣзжаго лѣкаря, на его мундиръ съ черной портупеей, на угловатыя манеры, и односложные отвѣты съ повтореніями и запинаями: „да, да, да!“ „вотъ, вотъ...“ и т. п.

На другой же день утромъ явился къ Алексѣю Ивановичу Николай Тимоѣевичъ просить позволенія привести съ собой гостя, намекнувъ при этомъ и о его желаніи просить руки Марьи Алексѣвны. Подивился про себя Алексѣй Ивановичъ, но просилъ пожаловать къ обѣду. Младшія дочери во время обѣда едва удерживались отъ смѣха, и матушка сама кусала губы, морщась по адресу надсаживавшихся отъ усилія удержать смѣхъ. Обѣдъ кончился, и пріѣзжій гость немедленно же въ сепаратной аудіенціи у родителей сталъ просить руки старшей дочери „Это отъ нея зависитъ“, отвѣчали родители. Одна изъ младшихъ дочерей тутъподвернулась, и ее отправили „на верхъ“, къ Машенькѣ, сообщить предложеніе. Съ хохотомъ отправилась посланница и едва перевода духъ отъ смѣха сообщила: „а знаете, Машенька, что выдумалъ *этотъ*? Вѣдь онъ къ Вамъ сватается. Не вѣрите? Право...“ И хохотъ снова прервалъ ее слова.

— Чему же ты смѣешься? отвѣтила старшая сестра кротко по своему обыкновенію, но серьезно и почти строго. Смѣшного тутъ ничего нѣтъ; я согласна за него выйти.

Вѣстница окаменѣла. Поражены были и родители. Гостямъ сказали, что отвѣтъ на предложеніе они получать можетъ быть завтра.

— Машенька! Что ты дѣлаешь? Неужели это правда? Ты соглашаешься? Не говоримъ объ его наружности; сама ты вчера на нее смѣялась. Но подумай, чѣмъ вы будете жить при ничтожномъ жалованьи корабельнаго врача? И притомъ ѣхать въ такую даль, за тысячу слишкомъ верстъ отъ насъ, разлучиться со всѣми родными....

Машенька плакала, отвѣчала, что ей разстаться съ домомъ будетъ очень тяжело, но что она рѣшилась. Наружность ничего не значить; бѣдность она перенесетъ. Говорятъ же, онъ добрый человѣкъ; потому она надѣется его полюбить и будетъ счастлива.

Сколько доводовъ, предостереженій, слезъ ни истощали родители и сестры, Машенька была непреклонна: согласна, иду за него.

Повиновались родители; передали отвѣтъ. А срокъ отпуску свеаборгскому врачу наступалъ. Черезъ нѣсколько дней, наканунѣ масленицы, онъ былъ обвинчанъ и изъ церкви прямо перешелъ на житье съ новобрачной въ домъ тестя. А еще черезъ нѣсколько дней глухой тарантасъ повезъ молодыхъ супруговъ въ Свеаборгъ. Марья Алексѣевна этого не помнила: ее положили въ повозку безъ чувствъ, почти бездыханную.

Что такое? Ни я, ни изъ кровныхъ родныхъ никто не рѣшался потомъ никогда допрашивать объ этомъ душевномъ переворотѣ, объ этой неожиданной и невѣроятной рѣшимости. А сама Марья Алексѣевна, при своей врожденной скромности, тѣмъ менѣе находила нужнымъ пускаться въ объясненіе; говаривала только, что не скоро привыкла къ мужу; что въ отсутствіе его, при частыхъ отлучкахъ, требовавшихся службою, она въ однихъ слезахъ проводила время, не давая мужу однако даже догадываться о своемъ душевномъ состояніи. Она была къ нему внимательна, а онъ души въ ней не

чаялъ; для общества же офицеровъ она была яснымъ солнцемъ.

Тоска однако сквозила во всѣхъ ея письмахъ къ роднымъ. Съ какою жадностью они читались! Съ какимъ вниманіемъ приглядывались ко всему, что шло отъ любимѣйшей дочери! Когда я поступилъ на Зацѣпу, уже больше пяти лѣтъ прошло со времени замужества Марьи Алексѣевны, но старики съ любовію обращались къ рассказамъ о Свеаборгѣ, о финляндскихъ обычаяхъ, о финнахъ и шведахъ, о безошлинныхъ товарахъ, тамъ получаемыхъ, вынимали дочернія письма, нѣкогда полученные, и заставляли любоваться необыкновенною тониною почтовой заграничной бумаги и самымъ начертаніемъ писемъ: бумага исписывалась вдоль, а потомъ и поперекъ, по писанному, — отъ полноты чувствъ, не умѣщавшихся на листѣ.

Не выдержали ни родители ни дочь. Годъ съ небольшимъ прошелъ, и Марью Алексѣевну съ мужемъ упростили переѣхать въ Москву. Службы для него въ Москвѣ не предвидѣлось; но не можетъ же быть, найдется мѣсто; а пока домъ родителей къ услугамъ. И они переѣхали; онъ бросилъ службу.

Не на веселое же житіе и промѣняли они свое изгнаніе. Старики были рады, ласковы, ни въ чемъ не отказывали. Но цѣлыхъ четыре года прошло, прежде чѣмъ зятю отыскали мѣсто, и притомъ именно тестъ съ тещей, найдя черезъ знакомыхъ дорогу къ медицинскому начальству. А частной практики у зятя не было: онъ былъ вообще „неискательный“, и все примѣненіе врачебнаго искусства ограничивалось у него лѣченіемъ огородниковъ и ямщиковъ, притомъ безмезднымъ, да и лѣкарствами-то иногда, на собственный счетъ купленными. Между тѣмъ одинъ за другимъ пошли дѣти. При моемъ поселеніи на Зацѣпу, назначеніе Дмитрія Александровича (какъ звали мужа Марьи Алексѣевны) врачомъ въ уѣздный городъ только что состоялось, и она съ троими дѣтьми еще проживала у родителей

нѣсколько недѣль, прежде чѣмъ ее проводили. Да и то дѣти были не всѣ увезены. Дѣдъ съ бабушкой удержали одного, и затѣмъ во все время замужества Марьи Алексѣевны, не переводилось на Зацѣпѣ безъ ребятъ; первыя попеченія о новорожденныхъ лѣтъ до трехъ, четырехъ лежало на старикахъ, и они находили въ томъ утѣшеніе.

„Во время замужества“, сказалъ я, потому что черезъ шесть лѣтъ новаго мѣстожителства Марья Алексѣевна овдовѣла и снова переселилась къ родителямъ, у которыхъ и оставалась до ихъ кончины. Съ кончиною мужа Марьи Алексѣевны связаны два обстоятельства, о которыхъ не могу умолчать.

Служила у нея одна пожилая дѣвушка изъ Москвы не то компаньонкою, не то экономкою, вѣрнѣе—и тѣмъ, и другимъ. „Худо!“ сказала она роднымъ Марьи Алексѣевны, пріѣхавъ разъ въ Москву на побывку. „Власѣевна, гадалка, на чаю высмотрѣла, что Дмитрій Александровичъ нынѣшнимъ годомъ умереть. Марья Алексѣевна будетъ жить въ какомъ-то большомъ городѣ, словно въ Москвѣ, а дѣти—въ большомъ, пребольшомъ домѣ“. — „О Дмитрій-то Александровичъ, прибавила Анна Секундовна, Власѣевна не сказала Марьѣ Алексѣевнѣ, а только мнѣ; а объ дѣтяхъ и объ ней самой сказала. Марья Алексѣевна такъ порадовались даже; не знаютъ, бѣдная, какая бѣда грозитъ“.

Это я слышалъ отъ Анны Секундовны въ 1847 году, зимою, а въ 1848 году лѣтомъ, мужъ Марьи Алексѣевны умеръ отъ холеры, она переехала въ Москву, и дѣти ея взяты были въ Воспитательный Домъ. Можетъ быть это есть случайное совпаденіе, во всякомъ случаѣ замѣчательное. Не умолчу, что любопытство во мнѣ было возбуждено, и я вскорѣ уговорилъ двухъ своихъ товарищей по академіи поѣхать къ Власѣевнѣ, адресъ которой я узналъ. Мы трое, каждый порознь, предложили ей свою судьбу на разгадку. Я помнилъ, что предсказаніе дочери Алексѣя Ивановича было высмотрѣно „на

чаю“, и потому потребовалъ, чтобы употребленъ былъ не другой, а этотъ способъ гаданья (Власьева предложила сначала на картахъ). Ворожея не отказала, но наговорила небылицы, ни на комъ изъ насъ не оправдавшіяся, и любознательные рубли, нами ей врученные, оказались потраченными даромъ.

Другой случай. По переѣздѣ въ Москву послѣ потери мужа, Марья Алексѣевна удостоилась неожиданнаго визита. Явился къ Зацѣпскимъ старикамъ старичекъ тоже, отрекомендовался дворецкимъ или прикащикомъ той княгини-наслѣдницы, о которой выше рѣчь была. Онъ освѣдомлялся, гдѣ можетъ найти Марью Алексѣевну, и удивился, что она овдовѣла и живетъ тутъ же въ Москвѣ, притомъ въ этомъ же домѣ. Мнѣ поручено, сообщалъ онъ, передать Марьѣ Алексѣевнѣ пять тысячъ рублей. Удивила такая поздняя память бывшей сверстницы—черезъ пятнадцать лѣтъ! Во всѣ пятнадцать лѣтъ не было никакихъ сношеній, ни переписки, ни съ нею, ни съ кѣмъ изъ бывшихъ знаемыхъ въ Епифани.

Неожиданнаго вѣстника пригласили откушать чаю. Разговорились; старики дивились. „Да вотъ что я доложу вашей милости, сказалъ между прочимъ посланецъ, понизивъ голосъ. „Покойница-то“ я очень докучала ея сіятельству. Все снилась, и „обидѣла ты, говорить, Машеньку (то-есть Марью-то Алексѣевну), обидѣла“. Это ужъ не разъ, говорятъ, было; намъ извѣстно. А въ послѣднее-то время особенно, дѣвушки сказывали, покойница, царство ей небесное, тревожила княгиню, все приставала. Такъ вотъ видите, ея сіятельство-то и пожелали исполнить волю бабушки. Покойница-то вѣдь ихъ любили, Марью-то Алексѣевну, души въ ней не чаяли. Мы помнимъ, изволю я вамъ доложить, прибавилъ дворецкій, въ утѣшеніе ли старикамъ, въ укоръ ли наслѣдникамъ, однихъ денегъ-то наличныхъ отказано было Марьѣ Алексѣевнѣ, мы знаемъ, сто тысячъ. Эти-то деньги, что я привезъ, можетъ и полная доля, что изъ

Марьи Алексѣевниныхъ досталось нашей-то княгинѣ, а можетъ и нѣтъ“.

Пожалуй, опять не болѣе какъ совпаденіе: совѣсть говорила, воплотилась въ сонномъ видѣніи; все это естественно. А почему неотступнѣ всего стала докучать совѣсть именно ко времени, когда обездоленная потеряла послѣднее, мужа-опору,—тутъ можно видѣть случайность.—Но случайность ли?—вопроса объ этомъ я не возьму на себя рѣшить.

LIX.

Донъ-Кихоты Просвѣщенія.

Тѣмъ временемъ я доканчивалъ свой семинарскій курсъ. Послѣдній годъ его ознаменованъ былъ происшествіемъ, доставившимъ не малое развлеченіе молодымъ богословамъ. Разъ вмѣстѣ съ ректоромъ, преподававшимъ на тотъ годъ Нравственное Богословіе, входитъ къ намъ пожилой мужчина въ бакенбардахъ и въ слѣдъ за молитвою садится рядомъ съ учениками на концѣ скамьи, ближайшей къ двери. Молча просидѣлъ онъ классъ и молча вышелъ за ректоромъ. Одинокій случай и не обратилъ бы на себя вниманія, но затѣмъ онъ сталъ ежедневно повторяться, и наконецъ неизвѣстный посѣтитель издалъ голосъ. Не помню по поводу какой-то нравственно-богословской формулы онъ всталъ, не то съ возраженіемъ, не то съ объясненіемъ, которое произнесъ громкимъ и до нѣкоторой степени ораторскимъ голосомъ, растягивая концы словъ. Выслушалъ ректоръ, выслушали мы, изумленные. Говорилъ человѣкъ какого-то другаго міра, словами для насъ непривычными и въ связи для насъ непонятной, хотя о предметѣ извѣстномъ, о которомъ сейчасъ шла рѣчь. Ректоръ поручилъ одному изъ учениковъ дать отвѣтъ; самъ прибавилъ нѣсколько словъ, уклончивыхъ во всякомъ случаѣ, потому

что и ему, какъ видится, связь мыслей новаго слушателя не была достаточно ясна.

Кто жъ это былъ? За чѣмъ? Какимъ путемъ попалъ? Нашлись ученики, его знающіе, которые объяснили, что это извѣстный фабрикантъ Прохоровъ, Ксенофонтъ (кажется такъ) Васильевичъ, владѣтель извѣстнаго дома на Вшивой Горкѣ, лицомъ къ Кремлю, господствующаго надъ мѣстностью, принадлежавшаго нѣкогда или Безбородкѣ или Строгову. Дошло до насъ и то, что право посѣщать богословскія лекціи испрошено было имъ у митрополита.

Новый нашъ соученикъ обращался потомъ и къ намъ въ междуклассное время съ рѣчами, именно рѣчами, а не разговорами. «Братіе», возглашалъ онъ обыкновенно, протягивая послѣднюю гласную, и затѣмъ начиналъ трактовать—о чемъ? Къ сожалѣнію, память мнѣ не сохранила; да я и не дослушивалъ никогда: онъ несъ такую нескладицу, что казалось, говорить на другомъ языкѣ.

Это былъ дѣйствительно другой языкъ, но не въ лингвистическомъ смыслѣ. Вѣроятно, рѣчь его и не была нескладицей, но всѣ понятія, добытыя имъ путемъ чтенія и размышленія, размѣстились въ такомъ порядкѣ, что мы, прошедшіе школу по учебникамъ, гдѣ тѣ же понятія имѣли извѣстныя научныя опредѣленія, не доискивались смысла. Большая часть изъ насъ подобно мнѣ и не удостоивали оратора вниманіемъ, уходили изъ залы при началѣ его рѣчи; оставалась небольшая кучка, съ единственною цѣлью пересмѣять потомъ, когда фраза и сочетаніе мыслей окажутся особенно дикими. Ораторъ не смущался и продолжалъ проповѣдовать, разъ прибѣгнувъ даже къ заискиванію. Умеръ одинъ изъ нашихъ товарищей. Прохоровъ нашелъ умѣстнымъ одѣлать провожавшихъ по стакану ли чая, по булкѣ ли хлѣба. Многихъ даже оскорбило такое *captatio benevolentiae*: «повидимому онъ ставитъ насъ на одну доску съ своими фабричными». Тѣмъ не менѣе, возвратившись съ похоронъ, Прохоровъ даже не въ нашей аудиторіи, гдѣ

слушалъ ректорскія лекціи, а въ залѣ среднего (философскаго) отдѣленія произнесъ рѣчь, послѣ обычнаго привѣтствія «братіе», начинавшуюся словами: «братъ нашъ Павелъ умеръ; тѣло его состояло изъ кислорода, водорода, углерода и азота, которые высвободились». Потрактовавши покойнаго съ химической точки зрѣнія, онъ перешелъ къ нравоученію: «а гдѣ его душа?» и проч...

Чудакъ! Да; вѣжливѣе и точнѣе сказать: «эксцентрикъ». Прохоровъ былъ по своему образованный человѣкъ и другъ народа. Если не ошибаюсь, онъ давалъ даже средства на изданіе назидательныхъ книжекъ. Въ числѣ произведеній его фабрики были нравоучительныя платки, то есть съ изображеніями и текстомъ; помнится, онъ ихъ и изобрѣлъ. Словомъ—фабрикантъ-миссіонеръ, и проникнутый этимъ призваніемъ, онъ искалъ и случаявъ и правъ учить народъ. Случай ему давался самъ собой въ видѣ рабочихъ; онъ собиралъ ихъ послѣ богослуженія и говорилъ проповѣди, вѣроятно еще менѣе понятныя для нихъ, чѣмъ были понятны намъ рѣчи, къ намъ обращенныя. Но этого ему мало было: онъ завидовалъ каждому студенту, становившемуся за аналой въ стихарѣ, лицомъ къ народу, а тѣмъ болѣе священнослужителю. Такъ пояснилъ мнѣ, лѣтъ черезъ двадцать послѣ того какъ Прохоровъ слушалъ лекціи въ семинаріи, священникъ, бывшій слушатель и потомъ сослуживецъ мой по Академіи; товарищу моему пришлось состоять съ оригинальнымъ фабрикантомъ въ частыхъ и близкихъ сношеніяхъ. Онъ же передавалъ мнѣ, что позволеніе слушать лекціи Богословія испрошено было Прохоровымъ именно въ надеждѣ удостоиться проповѣдника стѣснаго стихаря.

Разумѣется, опытъ скоро разочаровалъ почтеннаго фабриканта. Самъ ли онъ увидалъ, что нельзя начинать съ уроковъ Нравственнаго Богословія безъ подготовительныхъ свѣдѣній; внушилъ ли ему кто, что стихаря ему все-таки не получить; или просто онъ заскучалъ, не находя въ семинарскихъ стѣнахъ благодарнаго по-

прища: чрезъ нѣсколько недѣль, можетъ быть даже дней, онъ исчезъ и не показывался болѣе въ семинарію.

Приходилось мнѣ въ жизни потомъ зазнать не одного изъ такихъ эксцентриковъ, людей идеи во всякомъ случаѣ, честнѣйшихъ и одаренныхъ умомъ, даже не дюжиннымъ, но... нѣсколько помѣшанныхъ. Безъ прочнаго фундамента свѣдѣній, умъ ихъ спѣшилъ составлять выводы, создавалъ цѣлыя міросозерпанія, воображеніе уносило, и въ итогѣ оказывалось недоразумѣніе: ни онъ не понималъ окружающей жизни, ни его—окружающая жизнь; и практически большею частію не умѣли они прилаживаться къ даннымъ условіямъ: шары, выкинутые центробѣжною силою съ вертящейся доски, потому что не сумѣли помѣститься на надлежащемъ разстояніи отъ центра. И понятія у нихъ свои и логика своя; въ довершеніе—неуклонная прямолинейность. Говоришь, возражаешь. Онъ повидимому тебя слушаетъ, даже поддакиваетъ, отвѣчаетъ: „понимаю“. Но вы остановились, и какъ бы ни длинна была ваша рѣчь, — собесѣдникъ оканчиваетъ вторую половину фразы, которую четверть часа тому назадъ вы не дали ему договорить, прервавъ своею рѣчью.

Былъ довольно близкій мнѣ человекъ, два года прожившій со мною въ одной комнатѣ, въ послѣдствіи не безызвѣстный въ литературѣ: архимандритъ Ѳеодоръ, потомъ сложившій съ себя санъ и писавшій подъ своимъ свѣтскимъ именемъ Бухарева. Въ 1864 году, въ маѣ мѣсяцѣ, мнѣ пришлось быть въ Переславлѣ Залѣскомъ. Тамъ проживалъ Ѳеодоръ на испытаніи или увѣщаніи, которое положено было ему отъ Св. Синода, прежде чѣмъ разрѣшить ему снятіе сана. Лѣтъ двѣнадцать не видались мы. А я уже успѣлъ слышать, отъ мѣстныхъ мѣщанъ въ самый день пріѣзда, что вотъ у нихъ „Златоустъ“, и затѣмъ шли нескончаемыя похвалы силѣ его слова и назидательности, съ изложеніемъ самаго содержанія проповѣдей. Порадовался я за о. Ѳеодора и за Переславскій народъ. Я зналъ пылкую при-

роду моего однокашника и не сомнѣвался, что такимъ-то людямъ и умѣстно быть миссіонерами. Я поспѣшилъ свидѣться. Разговорились. Но съ первыхъ же словъ я нашелъ себя вынужденнымъ замолчать. Я увидалъ, что собесѣдникъ мой слишкомъ далеко шагнулъ послѣ того какъ четырнадцать и пятнадцать лѣтъ назадъ препирались мы съ нимъ, ходя по лаврской стѣнѣ, о томъ „что такое русскій расколъ“,—онъ на основаніи фантастическихъ построеній, я—на основаніи историческихъ данныхъ. Изъ келліи Никитскаго монастыря мы втроемъ отправились на прогулку. Спущено на воду судно, состоявшее изъ четырехъ бочекъ, съ накладенными по верхъ досками, и на нихъ скамьи. Вечеръ. Тихо стояло, едва колышась, Плещеево озеро; точками виднѣлись рыбацьи лодки. Мало обращая вниманія на мои нетерпѣливые вопросы объ озерѣ и окружающей мѣстности,—о мѣстномъ бытѣ, о способахъ ловли, породахъ рыбы и мѣстѣ сбыта; съ видимымъ неудовольствіемъ поглядывая на третьяго собесѣдника, удовлетворявшаго мои разспросы, о. Ѳеодоръ заговорилъ о современной богословской литературѣ, осуждалъ ея сухость и кривое направленіе, поясняя, что истинное христіанское богословіе раскрывается въ *Современникѣ*; пустился въ толкованіе христіанскихъ принциповъ, сознательно руководившихъ, по его мнѣнію, сотрудниками *Современника*. Послушать его, въ *Свистопляскѣ* былъ ключъ къ уразумѣнію православія. Разувѣрять было бесполезно. Человѣкъ ни одной книжки по Политической Экономіи не читалъ, или читалъ уже тогда, когда при чтеніи смыслъ строился на основаніи предвзятаго міровоззрѣнія; о социализмѣ зналъ по наслышкѣ. Брать на себя характеристику современныхъ русскихъ писателей, достаточно и доподлинно извѣстныхъ мнѣ по своему направленію, было бы неблагодарнымъ трудомъ. Мнѣ оставалось слушать и воспоминать со щемящимъ сердцемъ:

Вотъ онъ, Александръ Матвѣевичъ, нѣкогда, двадца-

тигѣтній юноша, вѣжливо почти съ заискивающимъ видомъ подходившій къ намъ вечерами поочередно, съ предложеніемъ читать молитвы на сонъ грядущимъ. Онъ въ Академіи былъ „старшимъ“ въ нашемъ номерѣ (комнатнымъ надзирателемъ), когда я былъ въ младшемъ отдѣленіи. Двадцати двухъ лѣтъ принимаетъ монашество. Душа набожная, пылкое сердце, живой умъ, перо легкое и бойкое, но... свѣдѣній никакихъ, за исключеніемъ семинарскихъ учебниковъ. Одинъ изъ его поднадзорныхъ, мой товарищъ, М. С. Б—скій, проговорилъ ему предостереженіе, когда онъ съ нами „прощался“. Это былъ трогательный обычай: студентъ, принимая иноческій образъ, предъ постриженіемъ обходилъ студенческіе номера, прощаясь съ „міромъ“. М. С. проводилъ его строгимъ, почти безжалостнымъ напутствіемъ, внушеннымъ впрочемъ любовію. „Возвращаться поздно; но подумали ль вы о страшномъ шагѣ, который опрометчиво совершаете? Вы дали себя увлечь инспектору. Посовѣтовались бы съ кѣмънибудь,—васъ убѣдили бы по крайней мѣрѣ повременить. Въ ваши лѣта, съ вашей пылкой душой, дай Богъ, чтобъ вы не сошли съ ума потомъ или не спились, когда наступитъ раскаяніе о непоправимомъ шагѣ“. Такъ приблизительно говорилъ Б—скій въ нашемъ присутствіи молча слушавшему кандидату въ постриженики; но говорилъ рѣзко, почти съ сердцемъ. Съ почтеніемъ къ М. С. Б—скому воспоминаю я объ этомъ мужествѣ братскаго участія. И съ какою точностію сбылось предвѣщаніе!

Оставили Бухарева, теперь іеромонаха Θεодора, при Академіи и поручили кафедрѣ Священнаго Писанія. На грѣхъ попались въ руки литографированныя лекціи по Всеобщей Исторіи Лоренца, и онѣ, талантливо изложенныя, стали для молодаго бакалавра-монаха вторымъ Евангеліемъ, по которому онъ изъясняетъ Библію. А тутъ еще подоспѣла Восточная война; съ Апокалипсисомъ и Лоренцемъ въ рукахъ, Θεодоръ толкуетъ судьбы міра; библейски оцѣниваетъ Наполеона III, Пальмерстона и лорда

Непира; (кромя Лоренца, другихъ историковъ онъ не читалъ, а новѣйшихъ языковъ не зналъ, да и въ древнихъ былъ слабъ). Прослышалъ Филаретъ, потребовалъ лекціи, вызвалъ бакалавра, уговаривалъ отечески, просилъ смирить гордость самомнѣнія, притомъ неосновательнаго. Θεодоръ смирился, но только по наружности, а Филаретъ вскорѣ же сбѣлъ заблудившагося монаха, представивъ его къ повышенію въ инспекторы Казанской Академіи. Несомнѣнно и тамъ умъ его колобродилъ. Распахнуть было свободнѣе: Филаретова глаза не было. Но я не слѣдилъ за казанскою дѣятельностью Θεодора. Онъ потомъ выплылъ на свѣтъ либеральнымъ духовнымъ цензоромъ въ Петербургѣ и наконецъ сложилъ санъ, оставаясь глубоко вѣрующимъ и искренно набожнымъ, но находя тѣмъ не менѣе, что истинный путь ко Христу (въ положительномъ, а не отрицательномъ смыслѣ) называется *Современникомъ* и вообще красною печатью западнаго направленія.

Поплавали мы. Я проводилъ Переславскаго Златоуста до келліи архимандрита въ Никитскомъ монастырѣ. Тамъ ждала дама, ученица Θεодора; (послѣ — супруга его, какъ я слышалъ). Благоговѣйный взоръ, устремленный на учителя, боязнь проронить каждое его слово.... Я уѣхалъ съ тяжелымъ чувствомъ.

Послѣ, уже издателемъ газеты, я получилъ отъ Александра Матвѣевича одну или двѣ статьи о какихъ-то общественныхъ вопросахъ; печатать я ихъ не нашелъ возможнымъ: складныя и горячо написанныя, онѣ лишены были, какъ и надлежало ожидать, всякаго пониманія дѣйствительности. Слышалъ я, что Бухаревъ и жилъ и умеръ истиннымъ подвижникомъ; и не удивительно: онъ былъ святая душа во всякомъ случаѣ.

Чтобы договорить объ о. Θεодорѣ все, скажу, что во время совмѣстнаго служенія нашего въ Академіи, онъ ѣздилъ изъ Троицы въ Ростовъ, между прочимъ молиться обо мнѣ. Въ Ростовѣ проживалъ нѣкто, кажется, изъ заштатныхъ священниковъ, „Петръ Юродивый“, слы-

пій угодникомъ и прозорливымъ. Къ нему-то обратился Θεодоръ, вмѣстѣ съ другомъ своимъ, тоже монахомъ-баккалавромъ и столь же одностороннимъ энтузіастомъ (Порфиріемъ): просили они молитвъ блаженнаго за себя да и за меня кстати. По слухамъ, дошедшимъ до нихъ отъ студентовъ, недостаточно меня выразумѣвавшихъ и во всякомъ случаѣ искажавшихъ содержаніе моихъ лекцій, они признали меня еретикомъ и отступникомъ.

Выслушалъ ихъ сердобольное моленіе угодникъ Божій: „да вы о себѣ-то молитесь больше и препобѣждайте гордость духовную, а не осуждайте другихъ“. Объ этомъ отвѣтъ, съ достойною уваженія откровенностью, передавали потомъ сами богомольцы.

Зналъ я и еще—настоящаго ученаго на этотъ разъ, но замолчаннаго отчасти и отчасти засмѣяннаго, доктора Ивана (помнится Андреевича) Зацѣпина. Чуть ли не состоялъ онъ чѣмъ-то прежде въ Медицинской Академіи. Свела меня съ нимъ цензура: нѣсколько томовъ его сочиненія, озаглавливавшаяся, помнится, *Опытъ Сближенія Медицинскихъ Наукъ съ Вѣрою*, не могли пройти въ печать при существованіи специальныхъ цензуръ, медицинской и духовной, отъ которыхъ были уже противопоставлены или ожидались препоны. Я разрѣшилъ ихъ печатаніе на свой страхъ, не обращаясь ни къ той ни къ другой специальной власти. Разрѣшилъ и книгу подъ заглавіемъ: *Вотъ каковы вы, нѣмцы, и вотъ каковы мы, русскіе*. Содержаніе книги съ этимъ прямымъ заглавіемъ было заимствовано изъ упомянутаго выше большаго труда и издано подъ псевдонимомъ Зацѣпина *Панезиизъ*. Понятно, я снискалъ благодарность доктора своимъ либеральнымъ отношеніемъ къ его труду: онъ посѣщалъ меня не рѣдко, просиживалъ со мной часы за шахматной игрой и охотно бесѣдовалъ. Онъ былъ замѣчательный игрокъ. Можетъ быть заключеніе мое и не вѣрно, основанное на томъ, что я - то слабо играю, какъ и другіе сдѣлавшіеся съ нимъ; во всякомъ случаѣ онъ постоянно оставался побѣдителемъ. Но замѣчательнымъ мнѣ казалъ

ся способъ его игры, по соотвѣтствію съ характеромъ всей его умственной дѣятельности. Игралъ онъ не только спокойно, но не задумывался ни надъ однимъ ходомъ на полсекунды. Едва поставилъ противникъ шашку, какъ уже отвѣтъ готовъ. Спокойное благодушіе, озаряемое необыкновенно ласковымъ взглядомъ, и было его отличительною чертою; а слово было проникнуто легкимъ юморомъ. Ученныя воззрѣнія его сложились, для меня это ясно было, подъ дѣйствіемъ борьбы, нѣкогда кипѣвшей въ медицинскомъ мірѣ, на службѣ и на кафедрѣ, между нѣмецкою и русскою партіею. Борьба эта представляетъ не малый историческій интересъ, и очень жаль, если сходящіе уже со сцены дѣятели врачебной науки, участвовавшіе въ ней или бывшіе очевидцами, не освѣтятъ ее для потомства. Основнымъ положеніемъ Зацѣпина было: что нѣмцы и вообще иностранцы не заслуживаютъ авторитета, которымъ пользуются въ медицинской наукѣ. Этому основоположенію сопутствовало высокое понятіе о русскомъ народѣ, его умственныхъ способностяхъ, характерѣ, бытѣ и вѣрѣ. Въ отрицательной половинѣ своихъ мнѣній, Зацѣпинъ по моему былъ побѣдоносенъ: критика его была мѣтка, оцѣнка теорій и практики знаменитыхъ и нѣмецкихъ и французскихъ свѣтилъ убійственна. Но въ положительныхъ мнѣніяхъ пристрастіе и преувеличеніе били въ глаза. Голословно онъ ничего не утверждалъ, все подкрѣплялъ изъ *Lancet'a* и другихъ англійскихъ, французскихъ и нѣмецкихъ изданій, но частные недостатки иностранцевъ онъ возводилъ въ общія черты, отдѣльнымъ случаямъ придавалъ типическое значеніе. Равно и наоборотъ, у русскаго все превосходно: весь бытъ его въ томъ видѣ, какъ онъ есть, соотвѣтствуетъ не только нравственнымъ идеаламъ общечеловѣчества, но даже строго-научной гигиенѣ. Онъ доказывалъ на примѣръ, что не только квасъ есть идеальный напитокъ, но посты въ томъ видѣ и въ тѣ сроки, какъ соблюдаетъ ихъ русскій народъ, самымъ точнымъ образомъ соотвѣтствуютъ требованіямъ климата и организма.

Какъ сказалъ я, Зацѣпинъ былъ частію замолчанъ, частію засмѣянъ; въ послѣднемъ упражнялись юмористическіе листки, сотрудники которыхъ, разумѣется, не трудились читать самыхъ книгъ, а довольствовались публикаціями, въ которыхъ самъ авторъ рекламировалъ свою книгу выдержками изъ нея. По моему онъ не заслуживалъ столь непріязненнаго приѣма. Самъ онъ впрочемъ ни сколько не обижался повальной насмѣшкой, которою его преслѣдовали, и спокойно, съ жалостью объяснялъ, не совсѣмъ безъ основанія, что это „плоды неосмысленнаго рабства предъ иностранцами и немѣнныя жить своимъ умомъ“.

Умолчать ли объ Лукашевичѣ, котораго я лично не зналъ, но котораго читалъ, между прочимъ и по обязанности цензора? Въ одномъ трудѣ своемъ (очень обширномъ) Лукашевичъ доказывалъ, что русскій и китайскій языкъ тождественны. Всѣ языки по его мнѣнію происходятъ отъ русскаго, только лишь намѣренно исковерканы другими народами. А китайцы такъ не умѣли даже закрыть слѣда; ихъ языкъ расшифровывать очень просто: стоитъ читать китайскія слова на выворотъ, съ конца, и получатся русскія. Все это доказывалось ученымъ образомъ; авторъ обладалъ обширною начитанностью. Когда Ю. Ѳ. Самаринъ пріѣхалъ въ концѣ сороковыхъ годовъ или началъ пятидесятыхъ въ Кіевъ на службу, багажъ его на нѣсколько дней запоздалъ, и онъ, скучая, обратился къ жившему около Кіева Ѳ. В. Чижову, съ просьбою прислать ему какихъ нибудь книгъ для чтенія. Чижовъ въ шутку отправилъ ему *Чаромутіе* Лукашевича. „Я читаю, передавалъ мнѣ потомъ Юрій Ѳедоровичъ, вчитываюсь, употребляю усиліе собрать смыслъ и наконецъ спрашиваю: я ли съ ума сошелъ или авторъ? Но книга имѣетъ всѣ признаки осмысленнаго ученаго изложенія. Всѣ слова знакомыя и предметъ извѣстный, но стоятъ они въ странномъ сочетаніи.“—Вотъ впечатлѣніе отъ сочиненій Лукашевича! Близкое къ тому было и впечатлѣніе отъ

рѣчей К. В. Прохорова. Дополнять ли, что приблизительно то же испытывается при чтеніи нѣкоторыхъ умствованій современнаго, въ другихъ отношеніяхъ знаменитаго писателя?

Знакомство съ подобными людьми обогатило мой психологическій опытъ и между прочимъ дало матеріалъ къ объясненію многихъ религіозныхъ движеній, особенно въ русскомъ народѣ. О. Ѳеодоръ Бухаревъ и К. Прохоровъ, при другихъ обстоятельствахъ, были бы родоначальниками секты, Зацѣпинъ и Лукашевичъ—новой ученой школы. А Левъ Толстой уже и становится главою новаго ученія. Между геніями и помѣшанными пролегаетъ очень неопредѣленная черта: не мною первымъ это сказано. Дѣло въ томъ, что творецъ-геній попадаетъ на точку, гдѣ его оригинальная мысль оказывается продолженіемъ разрозненныхъ усилій народа или даже человѣчества, воплощаетъ въ своемъ единичномъ умѣ ихъ чаянія. Другой же самостоятельный умъ напротивъ отрывается совсѣмъ отъ дѣйствительности и заканчиваетъ жизнь въ домѣ душевно-больныхъ. А въ серединѣ стоятъ оригиналы, достаточно сохранившіе смысла и воли, чтобы совсѣмъ не свихнуться, но не умѣвшіе войти въ общее теченіе и къ нему приладиться. Изъ нихъ выходятъ гг. Пашковы или оо. Ѳеодоры, смотря по обстоятельствамъ привлекающіе послѣдователей или остающіеся въ одиночествѣ. Въ графѣ Толстомъ представляется особый видъ эксцентричности: безпримѣрный пластикъ съ своихъ художественныхъ произведеній, онъ въ умствованіяхъ—о. Ѳеодоръ помноженный на К. В. Прохорова: та же скудость подготовительныхъ свѣдѣній, да въ добавокъ со слабою логикой при сильной фантазій.

Всѣмъ перечисленнымъ Донъ-Кихотамъ и имъ подобнымъ общая черта: непоколебимая самоуувѣренность, неспособность слушать и понимать возраженія; всѣ они Колумбы, открывающіе Америку.

Исходъ открытій, совершаемыхъ этими Колумбами въ области мысли, зависитъ не только отъ искренности и

полноты убѣжденія въ нихъ самихъ (условіе' необходимое), но главное отъ единства почвы, на которой стоятъ съ ними слушатели ихъ или читатели. „Нѣтъ, никогда вы не приведете въ чувство и не озарите этотъ дикій, жалкій народъ“: таковъ былъ нѣкогда споръ между студентами Троицкой Академіи, изъ которыхъ одинъ настаивалъ, что нищіе, докучающіе богомольцамъ, представляютъ матеріалъ, ожидающій проповѣдника, и что заняться духовнымъ перевоспитаніемъ этого жалкаго люда было бы доброе дѣло. Послѣдовало пари. М. В. Т—въ (въ послѣдствіи онъ принялъ монашество) напелъ нищенку и уговорилъ ее приходить къ нему по утрамъ, обѣщая ей за это платить (на первые только разы, какъ ему представлялось). Шло дѣло ладно по-видимому: нищенка приходила, слушала, отвѣчала, вздыхала, иногда прослезлялась. Проповѣдникъ приложилъ душу. Товарищи про себя посмѣивались, ожидая конца. Разъ, уже много дней спустя послѣ начала бесѣды, проповѣдникъ вошелъ въ особенный жаръ. Нищенка внимательно слѣдила за своимъ наставникомъ, но въ серединѣ рѣчи, въ минуту самаго патетическаго движенія, когда для выразительности невольно поднялъ онъ руку, она поспѣшно подставила свою,—воображая, что урокъ кончился, и время получить условленную подачку настало.—Проповѣдникъ призналъ себя проигравшимъ.

LX.

Три друга.

Въ одной изъ прежнихъ главъ я уже намекалъ на «друзей», которые не могли добиться отъ себя, чтобы называть другъ друга *ты*, хотя желали и даже уговаривались въ этомъ. Теперь время сказать о нихъ, потому что тѣсное сближеніе наше началось съ богослов-

скаго класса. Но предварительно передамъ эпизодъ, гдѣ завязывалась у меня тоже «дружба» и даже такимъ именемъ назвала себя; (трое, о которыхъ рѣчь выше и ниже, «друзьями» себя ни лично, ни заочно не величали, хотя посторонніе ихъ разумѣли не иначе).

По дорогѣ изъ семинаріи подѣ Дѣвичій, когда я былъ еще въ Философскомъ классѣ, однимъ изъ спутниковъ моихъ до поворота на Волхонку бывалъ мальчикъ - риторъ. Наружность этого кудряваго, голубоглазаго блондина располагала въ его пользу. На немъ не лежало отпечатка бурсаческой грубости; не было и прикащичьей развязности, которую московскіе поповичи принимали за хорошій тонъ. Разговаривались. Я узналъ, что это однако московскій поповичъ, и притомъ изъ лучшихъ учениковъ. Къ лучшимъ ученикамъ я всегда чувствовалъ нѣжность; а умная рѣчь, интересы не только выше бурсачки-семинарскихъ, но и вообще ученическихъ, большая начитанность, обнаруженные моимъ спутникомъ, окончательно меня покорили. Онъ тоже привязался ко мнѣ. Помимо дорожныхъ встрѣчъ устраивались нами нарочныя свиданія, по праздникамъ и въ каникулярныя недѣли; помню одно въ Нескучномъ саду, другое подѣ Новинскимъ. Завязалась переписка, первоначально условленная, помнится, краткостью встрѣчъ и невольнымъ домохдствомъ моего молодого «друга», жившаго должно быть подѣ строгой домашней дисциплиной. Переписка дышала нѣжностью и самыя отношенія наши подходили къ «обожанію» институтокъ. Своихъ писемъ содержанія я совершенно не помню; но его письма были наполнены тоской, недовольствомъ собою и окружающими, стремленіемъ полетѣть куда-то. Мнѣ и тогда представлялось это настроеніе неестественнымъ, страданія фиктивными, хотя несомнѣнно ощущаемыми. Теперь толкую такъ: начитанность и отсутствіе равныхъ по развитію сверстниковъ породили, какъ и во мнѣ, мечтательность, только направивъ ее не въ эпическую сторону, какъ у меня, а въ лириче-

скую: у меня картины политическія и географическія, у него—душевные состоянія. Предоставляю судить о вѣрности моего толкованія кратковременному другу моему самому; ибо онъ здравствуетъ. Провѣрить наши впечатлѣнія было бы можетъ быть даже не лишено интереса психологическаго и педагогическаго.

И этотъ другъ въ сердечномъ порывѣ требовалъ однимъ изъ писемъ перехода съ «вы» на «ты»; въ письмахъ мы и перешли, но въ разговорѣ не удалось. Не особенно длилась и переписка; едва ли продолжалась даже годъ. При поступленіи моемъ въ Богословскій классъ мы уже почти совсѣмъ разлучились, впрочемъ взаимно радуясь при каждой встрѣчѣ и обоюдно чувствуя себя родственными другъ къ другу. Помню, съ заѣзпской своей квартиры я даже навѣстилъ разъ своего друга въ его домъ. Затѣмъ жизнь развела насъ въ разныя стороны, не навсегда однако. Мы встрѣтились: я—студентъ духовной академіи, онъ—студентъ университета (оба—первые студенты). Я былъ у него съ визитомъ при каникулярной побывкѣ въ Москвѣ; онъ, въ случайную поѣздку къ Троицѣ, навѣстилъ студентовъ Академіи, бывшихъ своихъ товарищей по Семинаріи, при чемъ и меня вызвали. Это былъ уже не мальчикъ, страдавшій фиктивными печалями, а самоувѣренный юноша, чувствовавшій на себѣ и дававшій другимъ чувствовать сіяніе, которымъ озаряли его Грановскій, Кудрявцевъ и другіе, еще здравствующія знаменитости университета. «А на этомъ основаніи, говорилъ онъ мнѣ въ одно изъ этихъ свиданій о нашей бывшей нѣжной перепискѣ, могло создаться нѣчто серіозное». Я съ нимъ согласился.

Затѣмъ мы и снова встрѣтились, въ печати и на службѣ. Но повѣствованіе объ этомъ отвлекло бы меня отъ темы, выставленной въ заголовкѣ этой главы.

«Три друга», о которыхъ я намѣренъ сказать, были я, Василій Михайловичъ Сперанскій и Иванъ Николаевичъ Александровскій.

Василій Михайловичъ былъ моимъ соученикомъ въ Риторическомъ классѣ, и вышелъ изъ него вторымъ, когда я первымъ. Въ его-то сочиненіяхъ профессоръ находилъ преимущество мысли, отдавая мнѣ преимущество въ изложеніи. На два дальнѣйшіе годы мы были разлучены: изъ двухъ параллельныхъ отдѣленій Философскаго класса онъ былъ переведенъ въ первое, я во второе; Богословскій классъ насъ опять соединилъ. Какъ сказано выше, отсюда и начинается близость; до того было знакомство довольно поверхностное даже и Риторическомъ классѣ: здоровались, когда встрѣчались, вступали въ разговоръ, когда приходилось быть вмѣстѣ, но впечатлѣніями не дѣлились.

Съ Иваномъ Николаевичемъ я и познакомился только въ Богословскомъ классѣ; но въ Богословскій классъ онъ перешелъ, уже тѣсно сдружившись съ Василиемъ Михайловичемъ. За то отселъ мы начинаемъ быть трое соединенными, и въ Академіи еще тѣснѣе чѣмъ въ Семинаріи. Гдѣ было насъ двое, тамъ нужно было искать третьяго.

Я долженъ перервать свою рѣчь и повиниться въ грѣхѣ, въ недостаткѣ, не знаю какъ назвать, сознаніе котораго гложетъ меня, но котораго преодолѣть я не въ силахъ. Въ теченіе девятнадцати лѣтъ изданія газеты я ставилъ себѣ за непремѣнное правило, при кончинѣ людей, отмѣтившихся чѣмъ нибудь въ общественной жизни, поминать ихъ оцѣнкою ихъ дѣятельности, если имѣлъ о нихъ что сказать. И я исполнялъ этотъ долгъ свято. Но о четырехъ отошедшихъ замѣчательныхъ людяхъ я не сказалъ ничего, хотя на мнѣ-то болѣе всѣхъ и лежала эта обязанность, мнѣ-то изъ всѣхъ пишущихъ всего ближе и были извѣстны эти лица. Но именно потому, что память ихъ слишкомъ близка моему сердцу, руки останавливались и перо не поднималось. Кончина незабвеннаго Александра Васильевича Горскаго, учителя и сослуживца, свѣтившаго мнѣ съ каеедры, просвѣщавшаго въ товарищескихъ бесѣ-

дахъ, руководствовавшего и безмолвно жизнью, для слабыхъ силъ недостигаемую, чей образъ вдохновительно поднимался предо мною при всякомъ серьезномъ трудѣ, который приходилось начинать, если не совершать,—кончина, говорю, А. В. Горскаго послѣдовала, когда я нѣсколько лѣтъ уже былъ издателемъ газеты, и я... не обмолвился ни словомъ. Н. С. Тихонравовъ поминальною рѣчью по знаменитомъ ученомъ приподнял завѣсу, за которою таился отъ глазъ толпы необыкновенный дѣятель. Поражена удивленіемъ была публика. А открывшееся было—вѣрный обликъ Горскаго, но куда далеко не весь онъ! Закипѣли у меня воспоминанія, вставали случаи, цѣлыя новыя стороны характера и дѣятельности просились подъ перо; но... рука нѣмѣла.

Скончался преосвященный Веніаминъ, епископъ Рижскій, однокашникъ мой по Академіи. Эта душа хрустальной чистоты открыта была мнѣ со школьной скамьи. Долгія, долгія безсонныя ночи просиживали мы бесѣдуя, при чемъ младенческая простота Василия Матвѣевича (такъ въ мірѣ звали Веніамина) предоставляла мнѣ положеніе старшаго брата-руководителя. Въ важныхъ случаяхъ трудной обязанности пастыря новообращенныхъ эстовъ, въ затрудненіяхъ должности ректорской и потомъ епископской, въ смущеніяхъ по вопросамъ высшаго умственного порядка, онъ не переставалъ время отъ времени обращаться ко мнѣ. Скончался онъ, и я—ни слова; и тѣмъ мучительнѣе для меня объ этомъ воспоминаніе, что одинъ изъ подчиненныхъ почившаго архіерея, повидимому даже и родственникъ, письмомъ изъ Балтійскаго края напомнилъ мнѣ о моей обязанности почтить память усопшаго, столь близкаго мнѣ духовно; высказалъ ожиданіе и просьбу. Достопочтенный іерей или протоіерей остался, полагаю, сильно разочарованнымъ въ отзывѣхъ, слышанныхъ обо мнѣ отъ архипастыря; счелъ меня, можетъ быть, бездушнымъ эгоистомъ....

Тоже и съ упомянутыми двумя друзьями. Когда Васи-

лій Михайловичъ умеръ, я замѣтилъ окружающимъ о словѣ, произнесенномъ надъ его гробомъ: «хорошо, тепло, но мало; Василий Михайловичъ заслуживаетъ большаго». А сказали ли, написалъ ли я что нибудь?—Ни слова, и одинъ изъ бывшихъ слушателей моихъ, И. Д. Бердниковъ, обратился ко мнѣ даже съ укоромъ негодованія: «да вы же научили меня чтить Василя Михайловича; вы же мнѣ охарактеризовали его, какъ *иконное письмо*, и вы-то ничего не сказали!» Повиненъ, каюсь.

Такъ и нѣсколько недѣль назадъ тому проводилъ я до могилы Ивана Николаевича Александровскаго. Слезы подступали ко мнѣ, когда я слушалъ надъ могилою рѣчи гимназистовъ, рѣчи студентовъ, бывшихъ учениковъ покойнаго. Слезы подступали, что по обстановкѣ рѣчи эти могутъ быть причислены къ обыкновеннымъ параднымъ, когда знавши покойнаго лучше другихъ окружавшихъ, я прозрѣвалъ всю глубокую искренность почтительной любви, которую стяжалъ себѣ въ юношескихъ сердцахъ этотъ законоучитель. А я все таки не сказалъ ни слова, ни устнаго надъ могилой, ни письменнаго въ своемъ органѣ. Пусть рѣчи надъ гробомъ и надъ могилою вообще претятъ мнѣ; онѣ мнѣ кажутся профанаціей скорби, неумѣстнымъ смущеніемъ молитвеннаго чувства, которое одно въ подобныхъ случаяхъ умѣстно: но подѣлиться своими свѣдѣніями о почившемъ, освѣтить его личность предъ публикою, болѣе многочисленною нежели собравшаяся вокругъ могилы въ день погребенія, это лежало на моей обязанности.

Равно и теперь съ трудомъ приступаю къ разсказу; не могу преодолѣть увѣренности, что очеркъ обоихъ друзей выйдетъ и блѣденъ и не полонъ, и я буду терзаться мыслию, что слабымъ описаніемъ болѣе провинился предъ ихъ памятью, чѣмъ бы оскорбилъ ее своимъ молчаніемъ.

Василій Михайловичъ былъ сынъ московскаго священника. Отецъ его слылъ чудакомъ и нелюдимымъ. Последнее повидимому справедливо, потому что по женѣ

онъ приходился двоюроднымъ Алексѣю Ивановичу Богданову, но они не знали домами. Ипохондрія въ родѣ Сперанскихъ была наслѣдственная; замѣчали ее, по крайней мѣрѣ смолода, въ Евгениѣ Казанцевѣ, архіепископѣ Ярославскомъ, который доводился сродни Сперанскому. Объ этомъ передавалъ мнѣ братъ Александръ, учившійся въ семинаріи, когда Евгенийъ былъ ректоромъ. Ректоръ, по разсказу брата, гнался разъ съ вишкою за своимъ послушникомъ чрезъ весь монастырь; на него вообще „находило“, такъ выражались семинаристы. И Василій Михайловичъ съ самыхъ юныхъ лѣтъ, какъ только запомню его, былъ молчаливъ и какъ бы задумчивъ. Между прочимъ содѣйствовалъ тому и природный его недостатокъ: онъ заикался. Пустая вещь, да и косноязычіе-то было ничтожное; но оно отозвалось ему въ жизни и даже опредѣлило его судьбу. Старшіе братья его пошли по свѣтской дорогѣ, и черезъ нихъ Василій Михайловичъ бокомъ прикасался къ университету, а чрезъ университетъ къ свѣтской литературѣ и публицистикѣ въ частности. Для насъ остальныхъ двоихъ онъ былъ главнымъ источникомъ новостей въ университетскомъ и журнальномъ мірѣ. Отъ него наприимѣръ узналъ я, кому принадлежать *Письма объ Изученіи Природы*, кто такой Герценъ и кто вообще участвуетъ въ *Отечественныхъ Запискахъ*. Вмѣстѣ съ Александровскимъ онъ посѣщалъ публичные лекціи университетскихъ профессоровъ. Съ восторгомъ отзывались оба они о Филомаѣитскомъ, при чемъ столь подробно и точно передавали выслушанныя свѣдѣнія по физиологіи, что и я могъ отчетливо передать ихъ другимъ, какъ бы самъ слушалъ профессора. Это было и толчкомъ—поинтересоваться уголкомъ науки, дотолѣ почти неизвѣстнымъ для насъ. Началось съ изученія Макровіотики Гуфеланда, которую читалъ я и прежде, но теперь снова перечелъ уже втроемъ. Я пошелъ далѣе: ловилъ медицинскія книги, между прочимъ перечелъ неоднократно, почти заучивъ, *Enchiridion* Гуфеланда,

недавно переведенную Г. И. Сокольскимъ. Въ книгахъ, случайно оставленныхъ на Задѣпѣ мужемъ Марьи Алексѣевны, открылъ и проглотилъ руководства къ *Судебной Медицинѣ*, къ *Родовспомогательной Наукѣ*, Анатомическія таблицы съ объясненіями и проч. Въ послѣдствіи оказалось это для меня капиталомъ. Когда пришлось на кафедрѣ разбираться съ богословами-натуралистами, я былъ не чужой человѣкъ, читая анатомическія, фзіологическія и судебномедицинскія объясненія, приложенныя къ послѣднимъ главамъ Евангелія.

Иванъ Николаевичъ Александровскій примыкалъ на оборотъ къ Академіи. Его отецъ, тоже московскій священникъ, былъ кандидатъ Академіи, товарищъ Делицына и Голубинскаго; когда мы оканчивали курсъ семинарскій, въ Академіи у Троицы досиживалъ послѣдніе годы двоюродный братъ Ивана Николаевича, вмѣстѣ съ нимъ взросшій; сестра Ивана Николаевича только что выдана была за бакалавра, считавшагося, впрочемъ пока онъ былъ на школьной скамьѣ, знаменитостью. Самъ Иванъ Николаевичъ ѣздилъ на побывку къ зятю, и притомъ въ учебное время. Оттуда онъ привезъ характеристику профессоровъ, описаніе академическихъ корпусовъ, аудиторій, столовой, студенческой жизни, потому что вездѣ былъ: и на лекціяхъ и за обѣдомъ и въ спальняхъ. Кромѣ того какимъ-то путемъ попали въ домъ Александровскихъ и тамъ остались рукописныя сочиненія студентовъ изъ старыхъ сравнительно временъ, съ профессорскими отмѣтками. Сочиненія принадлежали не къ курсовымъ, на степень, а къ мѣсячнымъ и вообще второстепеннымъ упражненіямъ; въ числѣ ихъ были даже коротенькія, въ поллистъ, листъ письма, экзаменическіе „экспромпты“. Надоумѣваю доселѣ, какъ они попали. А между тѣмъ они были даже переплетены. Съ величайшимъ вниманіемъ не разъ я перелистывалъ ихъ и перечитывалъ, сличая обнаруживавшіяся знанія старыхъ студентовъ съ тѣми, которыя нами несены были въ Академію. Я испытывалъ приниженіе, находя

обработку темъ по первоисточникамъ, знакомство съ литературой предмета, а еще болѣе образцовый латинскій языкъ, на которомъ писана большая часть сочиненій. Любовался въ особенности изящною ясностію въ сочиненіяхъ И. Терновскаго-Платонова; имя это я запомнилъ и заключаю отсюда, что сочиненія принадлежали между прочимъ V курсу Академіи, къ которому принадлежалъ Терновскій, читавшій потомъ лекціи въ Московскомъ университетѣ (едва ли не по философіи), но не унаслѣдовавшій здѣсь своей академической славы. Почему? А талантъ былъ не изъ заурядныхъ. Или можетъ быть онъ преувеличиванъ былъ сравнительнымъ убожествомъ собственныхъ моихъ тогдашнихъ и свѣдѣній и критической мѣрки?

Василій Михайловичъ былъ домохозяинъ, человѣкъ семьи. Театръ едва ли даже былъ имъ посвѣщенъ хоть разъ тогда, собранія и подавно; онъ и не чувствовалъ къ нимъ влеченія. Даже за городомъ онъ не бывалъ, и когда разъ почему-то случилось ему съ семьею выѣхать за заставу, онъ описывалъ мнѣ на другой день Петровское-Разумовское все равно, если бы съѣздили въ Америку: поля, лѣсъ, дачныя строенія произвели на него впечатлѣніе, какъ бы на слѣпорожденного, открыли ему такія стороны, мимо которыхъ проходилъ, не замѣчая, нашъ привычный глазъ. Книга былъ его единственный интересъ и предметъ для размышленій. Иванъ Николаевичъ наоборотъ былъ человѣкъ свѣта, посѣтитель театра и собраній, впрочемъ посѣщавшій ихъ не по влеченію, а болѣе въ качествѣ невольнаго кавалера родственницъ и знакомыхъ. Онъ былъ солидно обученъ музыкѣ и самъ игралъ на фортепіано; игралъ, полагаю, лучше двухъ тогдашнихъ моихъ товарищей, которые славились между нами этимъ искусствомъ, одинъ какъ импровизаторъ по преимуществу, игравшій собственныя фантазіи, осѣнявшія его, когда онъ садился за инструментъ, другой—какъ отчетливый исполнитель трудныхъ піесъ. Но Иванъ Николаевичъ ни разу не передалъ намъ впечатлѣнія, остав-

ленного вчерашнимъ ли баломъ или спектаклемъ. Ни о новой піесѣ, ни о новомъ артистѣ не слыхалъ я отъзыва, произнесеннаго по собственному почину; не было и тѣни упоенія, когда онъ садился за инструментъ. Не жеманился, когда его просили, не отказывался дать мнѣніе, когда его спрашивали о видѣнномъ и слышанномъ вчера; но его отъзывы были кратки и рѣшительны. На требованія подробностей онъ давалъ объясненія тономъ спокойнаго докладчика, доказывавшимъ, что мнѣніе не голословно, но чуждымъ увлеченія или риторическихъ прикрасъ. Эта черта осталась въ немъ на всю жизнь, и знавшіе его подтверждають, что ровность, чувство мѣры не покидали его во всемъ. Шутя говаривалъ я ему еще тогда, что его *intrepidum ferient ruinae*, что онъ не далекъ отъ воплощенія Платоновой Евфорисини. Можно было подумать снаружи, что онъ не умѣлъ глубоко чувствовать. Но какая была бы ошибка! Его и въ могилу свелъ ударъ, перенесенный хладнокровно по наружности, но оставившій внутреннюю рану съ роковымъ исходомъ.

Для Ивана Николаевича не было вопросовъ ни въ наукѣ, ни въ жизни: для всѣхъ находилъ онъ прямое и быстрое рѣшеніе. Головоломщины его природа отвращалась. Въ практическихъ затрудненіяхъ, съ которыми къ нему обращались, онъ давалъ немедленный отвѣтъ, казавшійся намъ двоимъ практическою мудростью. Боже мой, какъ простодушны были мы въ своихъ понятіяхъ о „практичности!“ Онъ ~~былъ~~ идеалистъ не менѣ насъ обоихъ; но онъ понималъ свѣтъ, какъ онъ есть, и обсуждалъ событія и людей по житейской философіи, которой самъ не слѣдовалъ. Онъ переходилъ даже въ крайность: не вѣрилъ безкорыстнымъ влеченіямъ и высокимъ порывамъ, признавая напримѣръ Василя Михайловича исключеніемъ, съ любовью говоря въ глаза: „да вы—уродъ, что съ вами говорить“. Съ годъ тому назадъ или полтора меня даже огорчило, когда сѣдовласый уже протоіерей упорно настаивалъ на томъ, что

искренней перемены вѣроисповѣданія никогда не бываетъ. „Какъ хотите, не повѣрю, не повѣрю никогда!“ продолжалъ онъ твердить на мои возраженія изъ опыта и изъ законовъ человѣческой души.

Немедленность отвѣтовъ, даваемыхъ Иваномъ Николаевичемъ на всѣ наши вопросы, повели къ обычаю между нами—обращаться къ нему полушутя, полусерьезно даже съ такими вопросами, на которые по здравому смыслу нельзя требовать отвѣта. „Какая погода, Иванъ Николаевичъ, будетъ на слѣдующей недѣлѣ въ четвергъ?“ Или: „какъ вы думаете, что теперь дѣлаетъ митрополитъ?“ Ни мало не смущаясь, съ шуточною важною, Иванъ Николаевичъ отвѣтитъ и даже приведетъ основаніе, если предъявлены будутъ сомнѣнія въ точности рѣшенія.

Въ противоположность Ивану Николаевичу, Василій Михайловичъ во все углублялся, не допуская безотчетности для себя ни въ мысли ни въ дѣятельности, чего бы это ни касалось, начиная съ гигіены и домашнихъ привычекъ и кончая догматами вѣры и первоначалами нравственности. За то, убѣдившись, онъ уже былъ послѣдователемъ до ригоризма, даже—комизма. Напримеръ, онъ никогда не лгалъ, и исходя изъ этого правила, доводилъ младенческую искренность о себѣ до нарушенія условныхъ пріемовъ вѣжливости. „Почему Василій Михайловичъ не былъ у насъ прошлую пятницу хотя мы его просили?“ Отвѣтять за него: „былъ не совсемъ здоровъ, или—занятъ“. А Василій Михайловичъ тутъ же съ невиннѣйшимъ простодушіемъ отречется и отъ болѣзней и отъ занятій; нѣтъ, скажетъ, я думалъ, что у васъ будетъ скучно. Въ шутку я говаривалъ Василію Михайловичу, что онъ страдаетъ болѣзью „прописной нравственности“. Читайте прописи и знайте, что все тамъ написанное исполняется Василіемъ Михайловичемъ съ педантическою строгостью.

Примѣненіе той же искренности кромѣ себя и къ другимъ, должно было бы повидимому поставлять Ва-

силы Михайловича въ затруднительное положеніе человека, вынужденнаго иной разъ высказывать *журную* правду. Но его выручало другое правило: „не говори ни о комъ худа“. Оба эти правила такъ и стоять въ прописяхъ рядомъ: „не говори ни о комъ худа и никогда не лги“. И Василій Михайловичъ избѣгалъ злорѣчія, не потому только что оно другому обидно, а потому что говорить худо было бы и ложью. Какъ Иванъ Николаевичъ былъ пессимистомъ до извѣстной степени, такъ Василій Михайловичъ взиралъ на людей оптимистически. Въ дурномъ чужомъ поступкѣ онъ не премѣнно отыщетъ свѣтлыя стороны или приищетъ невинныя побужденія; самый рассказъ объ этомъ поступкѣ подвергнетъ сомнѣнію, точенъ ли онъ еще. Я любилъ дразнить Василю Михайловича (какъ въ послѣдствіи А. В. Горскаго) и намѣренно выставлялъ въ преувеличенномъ свѣтѣ смѣшныя или черныя стороны въ почтенныхъ, авторитетныхъ для него лицахъ. Василій Михайловичъ спокойно слушаетъ, столь же спокойно возражаетъ, изрѣдка прижимая пальцемъ правую ноздрю (его привычка); наконецъ только улыбается, начиная догадываться о моемъ умыслѣ его сбить.

Наружность обоихъ друзей соотвѣтствовала ихъ характерамъ: Василій Михайловичъ совсѣмъ никакъ не держался, и походка его была неровная, одна нога какъ будто сильнѣе и продолжительнѣе опиралась, нежели другая. Иванъ Николаевичъ держалъ себя прямо какъ стрѣлка, ходилъ бодро и ровно: названіе „королька“, кѣмъ-то ему данное, чуть ли не мною, шло къ нему. Кромѣ преимуществъ внѣшней выправки вообще, его отличало предъ нами заграничное воспитаніе. Его отецъ былъ нѣсколько лѣтъ священникомъ при дворѣ великой княгини Анны Павловны, и дѣтство Ивана Николаевича проведено въ Гаагѣ. Оттуда онъ вывезъ и свое искусство въ музыкѣ и обладаніе французскимъ и нѣмецкимъ языками, на которыхъ онъ, не въ примѣръ намъ всѣмъ прочимъ, не только читалъ свободно, но

писалъ и говорилъ. Годы, проведенные мною въ бур-
сачной обстановкѣ Коломенскаго училища, Василиемъ
Михайловичемъ въ домашней школѣ подъ ферулой отца,
нѣкогда учителя Троицкой семинаріи, озарены были
для Ивана Николаевича, кромѣ домашняго обученія
русскимъ предметамъ, еще и уроками лучшихъ учите-
лей Голландской столицы. Тотъ и другой и третій при-
шли въ семинарію съ разными опытами.

Таковы были насъ трое. Самому трудно судить о
мѣстѣ, которое я занималъ среди двоихъ. Не ручаюсь
даже, кѣмъ я былъ для нихъ заочно, Гиляровымъ или
Никитою Петровичемъ, когда для меня, какъ и для себя
взаимно, они оба были только Василиемъ Михайлови-
чемъ и Иваномъ Николаевичемъ; по фамиліи звать ихъ,
даже говоря съ посторонними, для меня было неловко. Но
мы были соединены. Встрѣчаясь, мы даже не здорова-
лись, хотя на прощанье иногда пожимали руки. Сутки,
даже недѣли прошли, но когда мы снова видимся,
казалось, что разстались всего пять минутъ назадъ.
Дружба наша витала внѣ личныхъ отношеній и инте-
ресовъ, и одному не приходило въ голову спрашивать,
другому передавать, о случившемся въ промежутокъ
разлуки.

Въ утренніе классы я былъ раздѣленъ отъ своихъ дру-
зей (они сидѣли вдвоемъ на передней скамьѣ); но вечерніе,
мы и садились вмѣстѣ, на еврейскомъ классѣ особенно,
потому что, кажется, мы только трое и занимались
этимъ языкомъ серіозно. Пока нѣтъ профессора, между
нами идетъ обменъ наблюденій и свѣдѣній.

Во время моихъ неоднократныхъ мнимыхъ и одной
дѣйствительной болѣзни, мы входили въ переписку, при
чемъ я впрочемъ былъ почти единственнымъ коррес-
пондентомъ, и притомъ писавшимъ на иностранныхъ
діалектахъ, французскомъ и нѣмецкомъ. Я видѣлъ въ
этомъ для себя школу, рассчитывая, что Иванъ Нико-
лаевичъ въ случаѣ поправить мои ошибки въ ино-
странный грамотѣ. Отвѣчалъ мнѣ изрѣдка только Василій

Михайловичъ; онъ же сообщалъ мнѣ и грамматическія замѣчанія Ивана Николаевича.

Вообще мы трое, не скажу держали, а чувствовали себя выше класса, включая сюда не только соучениковъ, но и профессоровъ. Выходило это какъ-то само собою; ни одному изъ насъ не приходило въ голову оглянуться на себя съ этой стороны и оправдать свои внутреннія отношенія къ окружающимъ, по молчаливому нашему соглашенію, признаннымъ стоящими на низшемъ предѣ нами уровнѣ. Мы образовали аристократію класса, и постороннему глазу могла казаться наша компактность спѣсью трехъ первыхъ учениковъ. Но если бы подвернулся четвертый, равный по развитію и съ однородными интересами, мы точно также сомкнулись бы и вчетверомъ какъ втроемъ. Съ другой стороны, первымъ ученикомъ, какъ было выше упомянуто, нѣкоторое время по переходѣ въ Богословскій класъ, значился не я и не остальные двое; отъ этого ученика, однакожъ, не смотря на его „первенство“, мы были далеки.

Товарищей и даже классныхъ занятій бесѣды наши почти не касались, исключая критическихъ замѣчаній на пустоту уроковъ и неспособность преподавателей; пересудовъ никакихъ. Наука вообще и литература внѣ классныхъ стѣнъ насъ занимали; много толковали объ Академіи, куда влекла и собственная рѣшимость и наше положеніе первыхъ учениковъ. Кто тамъ будетъ съ нами еще изъ товарищей, насъ не интересовало, и мы не перебросились объ этомъ ни однимъ словомъ ни съ однимъ; мы оставались въ себѣ несмѣсимою единицею и въ такомъ же видѣ представляли себѣ ближайшее будущее.

Я вносилъ живость въ отношенія, и это повидимому выдѣляло меня отъ двухъ остальныхъ. Разсуживая себя по физиологическимъ признакамъ и частію по Макровіотикъ Гуфеланда, мы рѣшили промезъ себя, что Василій Михайловичъ (темнорусый, почти брюнетъ) есть меланхоликъ, Иванъ Николаевичъ (блондинъ) олеγμα-

тикъ, я (русый) сангвиникъ. Смѣшно вспомнить про этотъ взаимный анализъ, произведенный нами взаимно надъ собою, и въ частности про самое опредѣленіе темпераментовъ въ тогдашней наукѣ. Безусловно вѣрнымъ было только заключеніе о самоуглубленномъ Василиѣ Михайловичѣ. Умалчивая объ Иванѣ Николаевичѣ, даже по наружности не вломъ, и моя характеристика вѣрна была только примѣнительно къ вѣшнему поведенію, которое принимало на себя намѣренно личину легкомыслія.

LXI.

На оселкѣ жизни.

Оставляю ли я своихъ друзей не доконченными? Прервунитъ разсказа и забѣгу впередъ.

Вполнѣ выяснился Василий Михайловичъ, когда мы были уже въ Академіи; нѣсколько случаевъ, мнѣ памятныхъ, дополняютъ его образъ.

За посѣщеніемъ классовъ студентами не слѣдило академическое начальство, въ той увѣренности повидимому, что студентъ, занимаясь въ комнатѣ у себя, успѣетъ болѣе, нежели слушая профессора. Такъ велось издавна; ученое направленіе заданное Академіи Филаретомъ (Гумилевскимъ), котораго первымъ образцомъ служилъ онъ самъ, особенно должно было вести къ предпочтенію самостоятельнаго труда предъ мертвымъ слушаніемъ. Въ мое время случалось, пока происходило чтеніе лекцій въ аудиторіяхъ, прохаживались чрезъ студенческія комнаты субъ-инспекторъ или иногда инспекторъ и даже ректоръ; заставляли студентовъ въ комнатахъ; но когда видѣли ихъ за дѣломъ (а это бывало большею частію), то замѣчаніе не срывалось съ устъ начальника. Да и вообще эту часть надзора исполняло начальство не охотно, памятуя свои времена, а

вмѣстѣ и судя по себѣ вѣроятно. Замѣчанія и настоянія чаще получались обратныя. Ректоръ (Евсевій, скончавшійся архіепископомъ Могилевскимъ) беспокоился о здоровьѣ воспитанниковъ, надсаживавшихся за занятіями, и настаивалъ, чтобы они имѣли больше движенія, а главное—чтобъ не засиживались по ночамъ. Ради этого принимались мѣры: въ родѣ того на примѣръ, чтобы не принимать сочиненій мѣсячныхъ позднѣ срока или не отпускать свѣчей на ночь. Но то и другое безуспѣшно: студенты затягивались въ сочиненія и засиживали ночи.

Послѣобѣденные классы, посвященные языкамъ (еврейскому, нѣмецкому, французскому, отчасти греческому) посѣщались студентами особенно неохотно. Разъ, въ одну изъ такихъ послѣобѣденныхъ вакацій, Василій Михайловичъ входитъ ко мнѣ. „Что же это вы, Василій Михайловичъ, не въ классѣ?“ спрашиваю. Онъ отвѣчалъ мнѣ обыкновенными доводами: что посѣщеніе класса будетъ потерей времени; что онъ больше успѣетъ здѣсь; что нужно имѣть въ виду главную цѣль нашего ученія, а ей наносится ущербъ, когда будешь выслушивать давно извѣстное и т. д. Въ шутку я началъ опровергать его: что умничать надъ уставомъ не наше дѣло; что насъ поятъ, кормятъ, одѣваютъ, обуваютъ, даютъ всѣ средства, и мы обязаны изъ одной уже благодарности за эту заботливость подчиняться правиламъ заведенія; что и давно извѣстное, когда вновь повторяется, можетъ навести на новыя мысли; что въ большей части отговаривается отъ классовъ лѣнь, а не дѣйствительное трудолюбіе; что нарушеніе дисциплины во всякомъ случаѣ есть дурной примѣръ; что не честно мы поступаемъ въ отношеніи наставника, который можетъ быть особенно готовился и вдругъ увидить пустую аудиторію, и пр. и пр.—А что же вы сами остались? простоудушно спросилъ онъ.—Я? я дурно поступаю, и сознаюсь въ этомъ; но вамъ я не примѣръ и не отговора.

И не ожидалъ я, чтобы моя, болѣе шуточная нежели серьезная, аргументація достигла успѣха. А она произвела такое глубокое дѣйствіе, что потомъ Василій Михайловичъ не пропустилъ уже *ни одного класса* до самаго окончанія курса. И онъ сталъ козломъ отпущенія для всѣхъ; на нѣкоторыхъ классахъ онъ былъ единственнымъ слушателемъ. Не ходили даже дежурные, обязанные носить классическій журналъ ректору; журналъ они понесутъ, а въ классѣ все-таки не останутся, зная, что благодаря Василю Михайловичу, профессоръ будетъ не въ пустыхъ стѣнахъ.

Я сказалъ: не пропустилъ *ни одного класса*. Нѣтъ, былъ пропущенъ одинъ, и по слѣдующему случаю. Баккалавръ еврейскаго языка пожаловался ректору, что его совсѣмъ не посѣщаютъ. Ректоръ обязанъ былъ принять къ свѣдѣнію жалобу; вызвалъ „старшихъ“ и потребовалъ, чтобы студенты не уклонялись отъ еврейскихъ уроковъ. Какъ быть? Задумались студенты, тѣмъ болѣе что и у себя, въ комнатахъ, не многіе занимались еврейскимъ. Послѣ долгихъ совѣщаній принято было мое предложеніе, тѣмъ болѣе что оно пришло съ руки малознающимъ и лѣнливцамъ и напротивъ должно было отозваться непріятностями именно на насъ, лучшихъ. Я предложилъ: желаніе преподавателя исполнить и въ слѣдующій же классъ отправиться всѣмъ до одинаго; но—безъ книгъ, а на вопросы, которые будетъ давать преподаватель, отзываться полнымъ незнаніемъ даже читать по еврейски. Многіе такимъ отвѣтомъ скажутъ чистую правду, а мы, знающіе, принимаемъ на себя всѣ непріятныя послѣдствія отвѣта, ложь котораго преподавателю будетъ очевидна. Все дѣло наше: доказать бесплодность и мелочность придирки и отучить отъ жалобъ. „Но, прибавилъ я, Василій Михайловичъ, этотъ единственный доселѣ слушатель еврейскихъ уроковъ, долженъ на этотъ разъ отправиться гулять. Мы, неисправные, можемъ рисковать собой, и если постигнетъ наказаніе, заслуженно подвергнемся ему. Но безчестно

ставить единственного исправного студента въ ложное положеніе. Съ какими глазами онъ будетъ увѣрять, что забылъ еврейскую Библію, когда не болѣе двухъ дней назадъ, онъ же читалъ ее вмѣстѣ съ бакалавромъ?“ Безъ труда я уговорилъ Василія Михайловича принести эту жертву товарищамъ. Кстати сказать, подленькіе все-таки среди нихъ нашлись. Одинъ началъ отговариваться, что не пойдетъ, такъ какъ числится больнымъ. Этого усовѣстили, доказавъ, что и болѣзнь-то его, какъ извѣстно, вымышленная, и что подлымъ образомъ онъ хочетъ ею только воспользоваться для избѣжанія непріятности, на которую идутъ всѣ. А другой оказался въ иномъ образѣ. Когда преподаватель вошелъ въ аудиторію и нашелъ ее полною, довольная улыбка озарила его лице. Радостно обратился онъ къ М. С. Боголюбскому (нынѣ протоіерею) студенту, наилучше подготовленному по еврейскому языку. Книги у него не оказалось по уговору, равно и у всѣхъ, сидѣвшихъ на передней скамьѣ. Преподаватель даетъ экземпляръ; студентъ выказываетъ себя затрудненнымъ. Заговоръ былъ ясенъ. Бакалавръ окидываетъ тогда взоромъ залу и обращается къ сидѣвшему на задней скамьѣ черноризцу. Всталъ тотъ, съ величайшимъ смущеніемъ поглядывая на товарищей; затѣмъ медленно, робко вытащилъ книгу изъ своего широкаго рукава.— Впрочемъ и то сказать: какъ было поступить ему иначе? Онъ былъ монахъ; шалость, извинительная для насъ, непростительна была бы для него.

Василій Михайловичъ былъ всеобщимъ будильникомъ и всеобщимъ справщикомъ. Ложились спать, когда кто хотѣлъ; вставали также. „Василій Михайловичъ, говоритъ одинъ студентъ, разбудите меня въ пять часовъ“. „А меня въ четверть шестаго“, проситъ другой,—и такъ далѣе: назначаютъ часы, получасы и даже четверти. Василій Михайловичъ переспроситъ, ляжетъ спать когда ему нужно; но къ назначеннымъ часамъ, получасамъ, четвертямъ часа, будетъ подниматься, будетъ и добу-

живаться; снова ляжетъ и снова встанетъ, хотя бы десять разъ въ одну ночь.

„Василій Михайловичъ, какъ это перевести?“ Несутъ греческую книгу или показываютъ еврейское мѣсто у нѣмецкаго писателя. „Василій Михайловичъ, не помните ли вы, что значить такое-то слово,“ или: „кто жилъ прежде, такой-то или такой-то?“ И Василій Михайловичъ безропотно оставляетъ свое дѣло, иногда самъ вынуждаясь справляться и задумываться; но исполняетъ просьбу. Былъ случай, меня даже возмущившій и многихъ заставившій пожимать плечами. Къ концу курса, для диссертациі на ученую степень одному студенту назначено было изслѣдованіе о греческомъ церковномъ писателѣ позднихъ вѣковъ, почти неизвѣстномъ литературѣ. Сочиненія его недавно были изданы, и притомъ безъ латинскаго перевода; языкъ уже отошедшій отъ языка древнихъ отцевъ; руководство никакихъ. Магистрантъ насѣлъ на Василія Михайловича, заставилъ его перевести всего писателя, подъ видомъ то того, то другаго случайно непонятнаго мѣста. И добро бы съ просьбою! Нѣтъ, онъ обращался съ высокомѣрно-снисходительнымъ видомъ, какъ будто оказывалъ одолженіе; говорилъ такимъ тономъ, какимъ важный баринъ приказываетъ слугѣ съ презрительно вытянутою губою: „почистите пожалуйста сапоги“. А вмѣсто благодарности отплатить одобрительнымъ кивкомъ головы, какъ бы экзаменаторъ испытываемому.

По переходѣ въ старшее отдѣленіе Академіи (черезъ два года по поступленіи) Василій Михайловичъ заскучалъ. Онъ былъ назначенъ „старшимъ“ (комнатнымъ надзирателемъ) среди новопоступившихъ. Хотя Иванъ Николаевичъ назначенъ старшимъ въ слѣдующей же комнатѣ, рядомъ, но Василій Михайловичъ сталъ задумываться сильнѣе обыкновеннаго и откровенно объяснилъ причину: тягость надзирательскаго отношенія и непривычка къ новымъ сожителямъ. Посовѣтовались мы съ Иваномъ Николаевичемъ вдвоемъ, предлагали за-

скучавшему другу просить перемѣщенія. Не рѣшается: „какъ это покажется?“. Тогда я рѣшился взять дѣло на себя: отправился къ инспектору и просилъ о разжалованіи Василья Михайловича, объяснивъ причины. Съ какою радостью, можно сказать опрометью, перебрался заскучавшій другъ въ другой корпусъ, въ рядовые студенты, подъ номинальный надзоръ ко мнѣ, вмѣстѣ съ одноклассниками-товарищами!

Иванъ Николаевичъ, какъ „практическій“ по нашему мнѣнію человекъ, былъ въ Академіи нашею обоимъ нянькою: онъ въ первые два года, когда всѣ трое мы жили въ одномъ корпусѣ, заваривалъ намъ чай, ежедневно являясь по утрамъ съ полотенцемъ на плечѣ, и будя меня, если я заспался; не ставя себѣ за трудъ напоить меня и особо, если я, засидѣвшись до пяти часовъ утра, просилъ дать мнѣ выспаться. Онъ занималъ намъ лошадей въ Москву и обратно (ѣздили мы всегда втроемъ) рядилъ, покупалъ, вѣдалъ всѣ наши хозяйственные дѣла, поколику были они у насъ общія; былъ нашимъ казначеемъ. Трогательно было отношеніе этой благороднѣйшей души къ намъ обоимъ, когда послѣ пріемнаго экзамена, мы оказались ниже его поставленными въ студенческомъ спискѣ. Онъ принятъ былъ въ числѣ пяти „очень хорошихъ“ (эта отмѣтка равнялась университетской круглой пятеркѣ), я—въ числѣ „хорошихъ“, а Василій Михайловичъ еще въ низшемъ разрядѣ; и такъ оставалось цѣлый годъ, списокъ не измѣнялся. Когда спрашивалъ кто нибудь изъ постороннихъ, „какъ мы трое идемъ въ Академію“, Иванъ Николаевичъ, не давая намъ рта разинуть, обыкновенно отвѣчалъ, указывая на насъ обоимъ: „онъ первымъ, а онъ вторымъ; я стою первымъ въ спискѣ, но это по алфавиту“. Когда мы возражали противъ неумѣстной скромности, даже несправедливой, онъ отвѣчалъ своимъ аподиктическимъ тономъ: „ничуть это не скромность; глупо приписывать себѣ случайность, чтобы потомъ самому себя развѣнчивать. Я знаю, что такъ будетъ“. За то и Василій

Михайловичъ, отвѣчалъ педобнымъ же образомъ въ послѣдствіи, когда по окончаніи курса митрополитъ (Филаретъ) низвелъ меня съ перваго мѣста, на которомъ я значился по списку академической конференціи. Первое мѣсто оказалось тогда за нашимъ кроткимъ другомъ. „Совсѣмъ не съ чѣмъ поздравлять меня, говорилъ онъ на поздравленіе по этому случаю; меня совсѣмъ не повысили, а только Н. П—ча понизили“.

Служба разлучила насъ, погнавъ меня въ особенности совсѣмъ по другой дорогѣ. Но оба мои присные остались до гроба тѣмъ же, чѣмъ были на школьныхъ скамьяхъ. Кроткаго Василя Михайловича не забудутъ всѣ кто его зналъ, равно и Ивана Николаевича, всегда ровнаго и яснаго. Въ концѣ пятидесятихъ годовъ, навѣстивъ какъ-то Василя Михайловича, я замѣтилъ, что онъ томился отсутствіемъ дѣла. Я сталъ ему представлять, что съ его познаніями и способностями грѣшно не приложить рукъ къ чему нибудь на пользу общественную. Посыпались отвѣты, мною предвидѣнные, какъ-де соваться, да какое дѣло ему по силамъ. Я предложилъ ему вмѣстѣ со мною заняться переводомъ греческихъ классиковъ, какъ нѣкогда сообщалъ переводили мы Фихте младшаго и Пассаванта съ нѣмецкаго, Юма съ англійскаго (переводы эти остались домашнимъ нашимъ упражненіемъ). Онъ согласился, и первыя главы *Киропедіи* Ксенофонта въ его переводѣ, кажется, сейчасъ въ одномъ изъ моихъ портфелей. Но мои мытарства по службѣ, а потомъ умножившіяся и у него служебныя занятія не дали намъ окончить общаго труда.

Съ Иваномъ Николаевичемъ на службѣ стряслось происшествіе, которое, какъ выше я сказалъ, и свело его во гробъ по моему мнѣнію. Въ началѣ шестидесятихъ годовъ я, по приглашенію въ Бозѣ почившей Государыни Императрицы, составилъ записку „О первоначальномъ народномъ обученіи“. Стоило бы разсказать исторію этой записки, странствовавшей изъ кабинета Государыни къ Государю и въ Комитетъ, обсуждавшій

дѣло народнаго обученія, чтеніе ея предъ митрополитомъ Филаретомъ и двоекратное, даже тоекратное потомъ появленіе ея въ печати. Но это отвлекло бы меня. Дѣло въ томъ, что я проектировалъ церковно-приходскія школы по той программѣ, какая, нѣсколько уже анахронически, усвоена теперь, послѣ того какъ уже двадцать слишкомъ лѣтъ живутъ школы на иномъ основаніи, успѣвши воспитать поколѣніе и образовать преданіе. Въ тѣ времена, чтобы слово не оставалось безъ дѣла и былъ готовый примѣръ, я предложилъ одному московскому протоіерею дать совѣтъ благотворителю, недоумѣвавшему, какъ употребить капиталъ, назначенный имъ на церковь: „совѣтуйте учредить церковно-приходскую школу“. Совѣтъ принять, и я достигъ, что сама Императрица присутствовала при открытіи заведенія. Тотъ же совѣтъ поданъ мною былъ потомъ и Ивану Николаевичу, состоявшему священникомъ въ одномъ изъ замоскворѣцкихъ приходовъ. Староста, безнадежно больной, составилъ завѣщаніе и обратился къ батюшкѣ, чтобы надумилъ, какъ распорядиться частію имущества, предназначеннаго имъ на богоугодныя дѣла. Совѣтъ и здѣсь принять. Купецъ умираетъ; дѣла его принимаютъ душеприкащики. Но прознала о завѣщаніи извѣстная мать Митрофанія; уговорила дать ей капиталъ, назначенный на церковь и школу; заручилась разрѣшеніемъ митрополита (Иннокентія). Иванъ Николаевичъ, сохраняя всю почтительность къ архипастырю, противостоялъ этому хищенію, нарушавшему волю завѣщателя, и поплатился за ревность о правдѣ и о домѣ Божіемъ: онъ немедленно переведенъ былъ съ достаточнаго прихода въ бѣдный. Я уже издавалъ газету. Стороною слышалъ о происшествіи, навелъ справки и написалъ замѣтку, оканчивавшуюся словами: „враги церковнаго просвѣщенія, посягатели на церковную собственность, радуйтесь“. Намѣренно я невидѣлся съ пострадавшимъ; я зналъ, что онъ упросилъ бы меня воздержаться отъ огласки. Но я исполнилъ долгъ, какъ понималъ его.

Послѣ Иванъ Николаевичъ былъ вознагражденъ за невзгоду имъ перенесенную и получилъ одинъ изъ видныхъ приходовъ. Но не повѣрю, чтобы она прошла ему даромъ: она-то и отозвалась въ болѣзни, сведшей его въ могилу.

Заключу происшествіемъ изъ студенческой жизни, которое характеризуетъ обоихъ моихъ присныхъ, а можетъ быть и меня въ моей юности.

Была весна 1848 года, по всей вѣроятности мартъ или первая половина апрѣля; снѣгъ уже почти сошелъ съ полей, шоссе представляло дорогу полусанную, полуколесную; конусы гравія по сторонамъ и земля около нихъ были совсѣмъ на лѣтнемъ положеніи; послѣднее обстоятельство помню живо. Вызвалъ я своихъ пріятелей на прогулку внѣ монастыря, провелъ съ версту или полверсты за посадъ и пригласилъ ихъ сѣсть на одинъ изъ конусовъ.

„Я отвелъ васъ нарочно далеко, началъ я, чтобъ намъ никто не помѣшалъ, никто насъ не видѣлъ, и никто не зналъ, о чемъ мы будемъ говорить. Почта сегодня не пришла; какъ вы объ этомъ судите?“

Почта ходила въ посадъ всего два раза въ недѣлю. Понятно, всегда ждали ее съ нетерпѣніемъ; небывалая просрочка ея при столь близкомъ разстояніи отъ Москвы, являлась событіемъ загадочнымъ и возбудила толки. А время было тревожное: февральская революція въ Парижѣ; изъ Москвы шли слухи, неопредѣленные большею частію, иногда прямо нелѣпыя, но дававшіе подозрѣвать что-то неладное. Телеграфа не было, да и газетъ, кромѣ *Московскихъ Вѣдомостей*, тоже.

Иванъ Николаевичъ съ обычною рѣшительностью немедленнаго объяснителя всѣхъ житейскихъ вопросовъ, отвѣтилъ:

«Ямщикъ напился пьянъ, лошади понесли, вывалили почту; почтальонъ сломалъ ногу. Сумка гдѣ нибудь на проселкѣ, куда заѣхали лошади; мужики ее караулятъ. Дали знать становому, донесли въ Москву. Оттуда прі-

ѣдетъ чиновникъ, провѣрить почту, и мы вечеромъ ее получимъ».

Василій Михайловичъ слушалъ, улыбаясь находчивости друга и вполнѣ съ нимъ соглашаясь.

— Однако вы слышали, возразилъ я, что толкуютъ о бунтѣ. Можетъ быть это вздоръ: но представьте, что въ Петербургѣ революція, порядокъ поставленъ верхъ дномъ, и мы сегодня ли вечеромъ, завтра ли, получимъ предписаніе отъ новаго правительства о присягѣ. Какъ мы должны поступить,—мы, первые студенты? Голосъ нашъ будетъ авторитетенъ; за нами послѣдуютъ другіе. И такъ, уговориться заранѣе: что мы скажемъ и какъ мы поступимъ?

На такую неожиданную рѣчь Иванъ Николаевичъ отвѣтилъ, что наша обязанность послѣдовать приказаніямъ ближайшаго начальства; какъ поступить ректоръ, митрополитъ, что они скажутъ. Намъ разсуждать нечего.

— Какъ! вскричалъ я съ обычною мнѣ тогда живостью. Алексій вздумаетъ завтра пропѣть Марсельезу, а васъ, Иванъ Николаевичъ, какъ знатока во французскомъ и музыканта, заставить обучать насъ ей во французскомъ подлинникѣ и подыгрывать мотивъ на фортепіано! И мы съ Василіемъ Михайловичемъ будемъ подтягивать изъ того только, что его высокопреподобію и его высокопреосвященству такъ угодно? (Мои пріятели смѣются, воображая картину, какъ ректоръ будетъ пѣть Марсельезу). Начальство *теперь* наша власть, и мы обязаны ему повиноваться *теперь*, при существующемъ порядкѣ. Но когда порядокъ низвергнуть, низвергнуто самое правительство, отъ котораго поставлено наше начальство, положеніе измѣнится: мы должны будемъ сказать, мы сами должны будемъ рѣшить, на которую сторону стать.

Василій Михайловичъ пустился въ высшія теоретическія разсужденія о такихъ или другихъ возможныхъ цѣляхъ переворота и его характерѣ, съ намѣреніемъ впрочемъ болѣе замаять вопросъ, смягчить его рѣзкую форму и отклонить рѣшеніе, нежели рѣшить.

Я не далъ ему договорить и въ намѣренномъ преувеличеніи изобразилъ страшную картину происшедшаго въ Петербургѣ: бунтъ 14 декабря въ обширныхъ размѣрахъ и съ обратнымъ концемъ. Пальба, кровопролитіе, висѣлицы и разстрѣлянія. «Я про себя рѣшилъ, заключилъ я: я умру за старый порядокъ, о чемъ вамъ и объявляю».

— Но вы сами же какъ на него нападали! возразилъ Василій Михайловичъ.

— Это дѣло другое, возразилъ я; я нападаю, протестую, критикую, гнушаюсь, но—въ предѣлахъ основнаго государственнаго порядка, который можетъ-быть только терпимъ народомъ, пусть, но по моему мнѣнію даже не терпится, не попускается, а признается сердцемъ. Я смѣю и негодую надъ частными несовершенствами, злоупотребленіями, безправіемъ, попраніемъ личности. Еще бы одобрять Н—ву, когда она остригла косу дѣвкѣ и выдала за пастуха, въ наказаніе что не хотѣла та облизать рану комнатной собачкѣ! Такое право однако неизбѣжно ли соединено съ даннымъ порядкомъ? Грабительство окружныхъ и тиранство Котка (извѣстный тогда по округѣ сельскій голова) непременно ли настоящимъ порядкомъ требуется? Это есть вопросъ. А народъ повинуется царю не только за страхъ, но и за совѣсть, вотъ что мы знаемъ. Посмотрите, какъ мой Матвѣй (солдатъ-служитель) разсуждаетъ о несправедливыхъ наказаніяхъ, которымъ подвергался на службѣ: «въ этомъ не виновать, за то въ другомъ былъ грѣшенъ, и—прими наказаніе». Вотъ народное міросозерцаніе. Да и не въ этомъ вопросъ. А кто уполномочилъ какого-нибудь офицеришку, можетъ быть начитавшагося книжекъ, по моему мнѣнію да и по вашему полагаю, даже поверхностныхъ, внушенныхъ страстію больше, нежели мыслию—кто уполномочилъ такихъ умниковъ ломать тысячелѣтній строй и перелаживать государства по вычитаннымъ или выдуманымъ рецептамъ? Пойдите пожалуйста!—И я долженъ

сейчасъ покориться? Да я-то можетъ быть и еще лучше ихъ придумаю, такой благодѣтельный государственный проектъ составлю, что умрутъ отъ восторга. А народъ меня на вилы приметъ; да и всякаго другаго благодѣтеля, я увѣренъ. Потомъ имѣйте въ виду: и весь-то народъ въ его теперешней совокупности, есть только моментъ народа; истинный „народъ“—въ исторіи, а не въ нынѣшнемъ или вчерашнемъ днѣ. Потому-то внезапный переворотъ государственный всегда есть зло, порокъ и болѣзнь, отравя общества.

А надобно замѣтить, что къ тому времени я-то уже достаточно освоился съ государственными и социальными теоріями, и наблюденіе надъ историческими законами привело меня къ заключенію, котораго держусь доселѣ: что отвлеченное начало, приложенное къ строенію человѣческихъ обществъ, одинаково разстроиваетъ отправленія духовнаго организма, какъ чистый химическій элементъ, введенный въ растительный организмъ. Чистымъ азотомъ погубишь растеніе, хотя азотъ и нуженъ для его жизни; и „правами человѣчества“ не выразишь государства, хотя «Декларация» о нихъ и заключала въ себѣ истины.

Слова мои подѣйствовали, и пріятели рѣшились послѣдовать моему примѣру. Разумѣется, страхи оказались напрасными, призраки грозныхъ рѣшительныхъ вопросовъ разсѣялись. Иванъ Николаевичъ по всей вѣроятности даже забылъ потомъ о нашемъ уговорѣ. Но мы съ Василиемъ Михайловичемъ какъ-то вспомнили объ немъ смѣясь; и я увѣренъ, наступи испытаніе, Василій Михайловичъ принялъ бы смерть не моргнувъ глазомъ. Съ совѣстью онъ не умѣлъ торговаться.

LXII.

Переходъ въ Академію.

И такъ вотъ съ кѣмъ я долженъ былъ отправиться въ Академію. Опускаю церемонію семинарскихъ выпускныхъ экзаменовъ, на сей разъ не представлявшую ничего особеннаго; но не умолчу о выданномъ мнѣ аттестатѣ, на которомъ вмѣстѣ съ похвалами объ отличныхъ успѣхахъ въ такихъ наукахъ, которыми я почти не занимался, отмѣченъ былъ я поведенію «добраго». Только «добраго»! подумалъ я. Меня, перваго студента, вмѣсто «отлично хорошаго» награждаютъ только «добрымъ»! По справкѣ я успокоился, хотя дивиться не пересталъ. По терминологіи, усвоенной ректоромъ Алексіемъ, удостовѣренія въ «добромъ» поведеніи удостоивались лишь весьма немногіе избранные; за симъ шли поведенія «честнаго», потомъ «очень хорошаго», «хорошаго» и такъ далѣе. На чемъ основывалась такая постепенность, самъ ли ректоръ ее придумалъ, и во всѣхъ ли епархіяхъ принята таже формула? На послѣдніе два вопроса я колебался отвѣтить утвердительно, да и сейчасъ колеблюсь. Полагаю, что ректору внушенъ былъ порядокъ аттестацій митрополитомъ; а почему „честное“ поведеніе выше „очень хорошаго“ и какое опредѣленное понятіе подразумѣвалось подъ „добрымъ“, недоумѣваю и сейчасъ.

Составъ нашего курса былъ, какъ я уже говорилъ, не изъ отличныхъ, по моему мнѣнію; я былъ Ома дворянинъ на безлюдѣ. Слѣдовавшій за нами курсъ былъ безспорно выше и выставилъ не одно замѣчательное дарованіе, болѣе или менѣе громко заявившее о себѣ обществу и въ печати. Слабѣ насъ пожалуй былъ курсъ, непосредственно намъ предшествовавшій; но передъ тѣмъ опять два курса сряду памяты блестящими дарованіями. Ректоръ же нашъ, можетъ быть по неопыт-

ности, а можетъ быть потому, что недостаточно придавалъ вѣса академическимъ требованіямъ, судя по собственной студенческой удачѣ, признавалъ чуть не поголовно всѣхъ московскихъ студентовъ, то есть кончившихъ у него въ первомъ разрядѣ, стоящими перехода въ академію. Всѣхъ спрашивалъ, „куда думаютъ“; при выраженномъ колебаніи настоятельно совѣтовалъ отправляться къ Троицѣ; на сомнѣніе же, достаточно ли подготовка, отвѣчалъ успокоительнымъ увѣреніемъ: «непремѣнно примутъ! какъ не принять!»

Пятерыхъ отъ Московской семинаріи Академія *требовала*; это разрядъ такъ называемыхъ «присланныхъ». Выборъ имъ бывалъ во всѣхъ семинаріяхъ строгій, и отправляемы бывали они на казенный счетъ. По строгости выбора рѣдко и случалось, чтобы присланные не выдерживали экзамена, тѣмъ болѣе что только изъ Московской семинаріи вызывалось до пяти студентовъ; другія приглашаемы были выслать трехъ, двухъ, иногда и одного. Если случалось несчастье, присланный проваливался, его возвращали въ епархіальное вѣдомство на счетъ приславшаго семинарскаго начальства, и такое обстоятельство клало безчестіе на заведеніе, или неспособное цѣнить людей или не умѣющее готовить воспитанниковъ къ высшему образованію.

При отборѣ студентовъ для казенной отсылки изъ нашей семинаріи Алексѣй употребилъ хитрость, которая вмѣстѣ была несправедливостью. Василій Михайловичъ, какъ сказалъ я выше, слегка заикался. Ректоръ призвалъ его къ себѣ и объяснилъ, что постоянный еще съ Риторическаго класса второй ученикъ вполне конечно заслуживаетъ быть отправленнымъ въ Академію на казенный счетъ. „Но вы знаете за собой физическій недостатокъ, прибавилъ онъ; а въ Академію требуются студенты безъ тѣлесныхъ пороковъ. Совѣтую вамъ потому отправиться на собственный счетъ, *волонтеромъ* (такъ назывались добровольно поступающіе, не изъ присланныхъ). Вы этимъ откроете

случай воспользоваться казеннымъ пособіемъ другому, недостаточному. Васъ же какъ бы даже не воротили за вашъ недостатокъ, когда бы мы васъ послали; мнѣ не хотѣлось бы испытать эту непріятность. Впрочемъ я увѣренъ, заключилъ ректоръ, въ успокоеніе, что васъ примутъ, когда вы явитесь волонтеромъ; я съ своей стороны напишу письмо къ академическимъ властямъ“. Василій Михайловичъ былъ не изъ такихъ, чтобы ослушаться, и на столько святъ, что даже не заподозрилъ лукавства и не замѣтилъ противорѣчія въ ректорскихъ словахъ. Но они заключали ложь съ начала до конца. Все дѣло состояло въ томъ, чтобы втереть въ число пятерыхъ такого, о которомъ основательно можно было опасаться, что его вернуть, когда бы онъ явился волонтеромъ: волонтеровъ обыкновенно строже Академія экзаменовала, нежели присланныхъ.

Къ одной несправедливости прибавлена была и другая: въ окончательномъ списокѣ студентовъ выпущенъ можетъ быть лучший изъ всѣхъ насъ не вторымъ, какимъ онъ числился всегда, а третьимъ! Товарищи объясняли это желаніемъ скрыть махинацію отъ митрополита. Зоркій глазъ его мигомъ замѣтилъ бы, что рекомендуютъ въ Академію пятерыхъ, минуя втораго студента. Неизбѣжно послѣдовалъ бы вопросъ: почему? Пришлось бы сослаться на физическій недостатокъ; а на это послѣдовало бы неизбѣжное возраженіе: „я былъ на экзаменахъ и не замѣтилъ; пришли его ко мнѣ“. Впрочемъ можетъ быть то была и напраслина, и возможно, что списокъ былъ составленъ по доброй совѣсти.

Помимо Василія Михайловича отправилось въ Академію волонтерами еще семеро, всего значитъ съ вызванными тринадцать. Никогда такого числа не составляла семинарія; и всего вакансій-то было въ Академіи шестьдесятъ, большинство которыхъ, понятно, будетъ занято присланными. Но москвичи ѣхали безъ тревоги, обнадеженные ректоромъ; да и не бывало при-

мѣра отъ начала Академіи и Семинаріи, чтобы поворачивали назадъ,—кого же?—Московскихъ воспитанниковъ,—изъ семинаріи, стоящей подъ непосредственнымъ надзоромъ самого митрополита.

Сговаривались о повѣздѣ только мы трое; (Иванъ Николаевичъ былъ въ числѣ посланныхъ). Впрочемъ забота лежала исключительно на Иванѣ Николаевичѣ: онъ знаетъ, когда и гдѣ нанять ямщика, даже котораго ямщика; сколько заплатить; куда мы должны съѣзжаться, чтобы сѣсть на лошадей; въ какой день выѣзжать и въ какой часъ, и чѣмъ мы должны запастись на дорогу и на будущее житье въ теченіе цѣлой „трети“, самой долгой,—отъ половины августа до конца декабря. Онъ знаетъ больше того: заранее намъ сказалъ, гдѣ мы слѣземъ по пріѣздѣ къ Троицѣ и куда пойдемъ, и что намъ скажутъ по взятіи отъ насъ аттестатовъ. Заранѣе опредѣлилъ онъ, въ какомъ и номерѣ мы будемъ жить по пріемѣ въ Академію: въ девятомъ; это самый веселый и самый почетный номеръ, подъ инспекторскою квартирою; москвичей перваковъ и вообще лучшихъ студентовъ туда помѣщаютъ. Это единственный номеръ, въ которомъ окна смотрятъ на три стороны, а не на одну или на двѣ, какъ въ другихъ. Одно изъ оконъ выходитъ, между прочимъ, на открытое мѣсто къ Святымъ воротамъ; имъ мы впрочемъ не будемъ пользоваться; здѣсь, въ свѣтломъ углу будетъ сидѣть нашъ „старшій“, то есть надзиратель изъ студентовъ, которому полагается особенный, отдѣльный отъ другихъ столъ. Прочіе будутъ сидѣть за общими столами, которыхъ въ этомъ номерѣ будетъ два. Иванъ Николаевичъ перебиралъ даже студентовъ, гадая, кто будетъ нашимъ „старшимъ“, и дѣлалъ каждому характеристику; вѣдь онъ недавно гостилъ тамъ и знаетъ всѣхъ. Предупреждалъ насъ Иванъ Николаевичъ и о томъ, что мы найдемъ между прочимъ вахлаковъ, чучель, пріѣхавшихъ изъ дальнихъ губерній, которые будутъ насъ дичиться; но мы будемъ какъ у себя и вообще чѣмъ въ правахъ почетныхъ гостей.

15 августа 1844 года мы тронулись раннимъ утромъ и прибыли къ Троицѣ во время всеобщей. Все шло по предсказанному заранѣе. Дороги я почти не замѣтилъ; помню, что мы ежеминутно сворачивали съ главной линіи и что была непомерная грязь; тогда прокладывали шоссе, это и вынуждало проѣзжихъ прибѣгать къ околицамъ. Приѣхали, слѣзли и вошли въ монастырь; послѣдовали за Иваномъ Николаевичемъ на инспекторское крыльце. Въ одну минуту онъ сбѣгалъ во второй этажъ и воротился назадъ: инспекторъ у всеобщей, придется немножко подождать; но уходить мы не должны, сейчасъ онъ воротится. Пока нашъ руководитель ходилъ справляться, пробили часы на колокольнѣ и раздался всеобщій звонъ. И гармоничный бой часовъ и этотъ стройный звонъ въ сумракъ, продолжавшій гудѣть нѣсколько секундъ послѣ даже своего окончанія, потрясли меня. Мигомъ будущее съ безчисленными вопросами предстало предъ мною. Что я здѣсь найду? Какъ найдусь? Какъ перенесу общежитіе, котораго никогда не испыталъ? Найду-ли духовное и умственное удовлетвореніе въ лекціяхъ и въ занятіяхъ и пр. и пр.? Не успѣлъ я кончить мыслей, какъ Иванъ Николаевичъ объявилъ: „пойдемте“. Я почти не замѣтилъ, какъ прошелъ мимо насъ инспекторъ-архимандритъ, низко намъ кланяясь, при чемъ я, смотря на товарищей, машинально снялъ картузъ, не зная, кому отдаю почтеніе.

Взошли на верхній этажъ, при чемъ дорогою Иванъ Николаевичъ, указавъ намъ въ первомъ этажѣ направо „девятый номеръ“. Вошли въ переднюю инспектора и по указанію слуги—въ залу. Предъ нами архимандритъ, высокаго роста, какъ мнѣ тогда показалось, необыкновенно худой и блѣдный. Благословивъ каждого изъ насъ, и принявъ отъ насъ аттестаты, тихимъ, мягкимъ, чрезвычайно симпатичнымъ голосомъ, онъ спросилъ, какъ бы въ подтвержденіе: „изъ Московской семинаріи?“ Прозношеніе сильно одало. Мы отвѣтили поклономъ.

„Пожалуйте въ шестой номеръ“; сказавъ это, поклонился намъ и удалился къ себѣ въ другую комнату. „Въ Лапландію! проговорилъ Иванъ Николаевичъ, когда мы вышли въ сѣни. Пойдемте.“

Изъ всѣхъ памятей памятью мѣстности я обдѣленъ. Не говоря о лѣсѣ, я не скоро найдусь въ городѣ. Поэтому я тогда совсѣмъ не разобралъ пути, которымъ слѣдовалъ за нашимъ провожатымъ, тѣмъ болѣе что смерклось. Я почти не замѣтилъ сада, которымъ проведенъ, но охваченъ былъ чувствомъ, когда подошелъ къ крыльцу дома, смотрѣвшаго средними вѣками: съ двойными окнами, необыкновенно расположенными, вообще съ фizioномією, не напоминающею пошлой городской архитектуры. Я почувствовалъ внезапное почтеніе и къ зданію, и къ тому что по предположенію въ немъ должно быть. Какъ много значить видъ зданій! Сколько разъ я это испытывалъ на себѣ и видѣлъ на другихъ! Вырости и воспитаться въ виду Кремля, или въ виду казармъ,—совсѣмъ другой человѣкъ выйдетъ, не менѣе того какъ совсѣмъ разные люди выходятъ изъ жителей долины, гдѣ взоръ упирается въ стѣну, сокращающую кругозоръ, и изъ жителей горныхъ, степныхъ, наконецъ приморскихъ. Иначе складывается не только характеръ, но и умъ: онъ пріобрѣтаетъ свойства и направление, родственныя особенностямъ природы или искусства, которыми былъ окруженъ глазъ съ дѣтства.

Послышался чей-то голосъ и вопросъ, на который послѣдовалъ отъ Ивана Николаевича отвѣтъ. Полурадостное легкое восклицаніе вырвалось у спрашивавшаго. Оба мои товарища вошли въ сѣни; я за ними, но ничего не вижу, темнота полнѣйшая. „Давайте мнѣ руку!“ произнесъ незнакомый голосъ, и чья-то рука, нѣжная и мягкая, какъ бы рука семнадцатилѣтней дѣвушки, взяла мою. Я болѣе догадался, чѣмъ увидѣлъ, что меня ведетъ монахъ. Подведя меня къ двери, онъ ушелъ со словами обращенными къ намъ: „смотрите же, господа, пожалуйста ко мнѣ завтра чаю напиться“. Это былъ,

сторонами семинарской жизни: кто ректоръ и инспекторъ, по какимъ учебникамъ проходили. У насъ, въ свою очередь, спрашивали о зданіяхъ Москвы и ея видахъ, особенно тѣ которымъ пришлось доѣхать до посада, не видавъ Москвы; таковы были владимірцы, вологодцы, ярославцы, костромичи. Одинъ владимірецъ въ наивномъ увлеченіи своимъ губернскимъ городомъ и губерніею вообще, не могъ представить, а потому и допустить чего нибудь болѣе великолѣпнаго Большой Владимірской улицы (единственной притомъ, какъ смѣялись нѣкоторые) и красивѣе Шуи. Моя наблюдательность питалась особенностями во внѣшности самихъ студентовъ, и въ говорѣ особенно. Студенты изъ западныхъ губерній, могилевцы и виленцы, выдѣлялись отсутствіемъ неотесанности, печать которой лежала на остальныхъ. Въ движеніяхъ, взглядахъ, разговорѣ слышалась, позволяю себѣ такъ выразиться, цивилизація. Я не бывалъ въ западныхъ губерніяхъ, но понимаю отзывъ одного моего бывшего сослуживца, прокочевавшаго по всему Западному Краю и отзывавшагося о тамошнихъ городахъ, что тамъ „въ воздухѣ носится цивилизація“. Могилевцы и виленцы наружностью почти не отличались отъ москвичей и притомъ отъ болѣе полированныхъ изъ насъ. Виленцевъ выдавалъ только выговоръ и болѣе всего неспособность къ мягкому произношенію звука *p*; *ря*, *рю* для нихъ было недоступно; *рядъ* у нихъ былъ *радъ* (вліяніе близости польскаго).

Говоръ пріѣзжихъ былъ особенно разнообразенъ. Нѣкоторыхъ изъ вологодцевъ, особенно при ихъ скороговоркѣ, трудно было даже понимать съ непривычки. Много словъ они употребляли, намъ необычныхъ; глаголъ „ревѣтъ“ спрягали „револю, ревишь, ревить“. Ярославцы нашу Язу произносили Яуза (съ удареніемъ на предпоследнемъ слогѣ). Я внималъ полтавскому произношенію *бчола* (пчела), полногласному *чу* и *ча* нѣкоторыхъ, разнымъ отгѣнкамъ *оканья*, *аканья*, *еканья*

и иканья, смотря по мѣстностямъ. Интонація была у каждой мѣстности своя, звуки *и* (въ сочетаніи съ гласными) и *ч* произносились по разному, не говоря уже объ удивительной идіосинкразіи хохлацкаго слуха, передающаго *хз*, когда ихъ просятъ произнести *ф*, и на оборотъ; хохолъ *фалитъ*, а не *хвалитъ*, и министръ у него не *финансовъ*, а *хвинансовъ*. Прислушавшись, я потомъ такъ наострился, что съ первыхъ звуковъ угадывалъ, изъ какой приблизительно губерніи мой собесѣдникъ. Въ послѣдствіи, познакомившись съ извѣстнымъ А. Н. Поповымъ (изслѣдователемъ *Русской Правды*, авторомъ путешествія въ Черногорію и другихъ сочиненій), я въ одно изъ первыхъ же свиданій спросилъ его: „мнѣ сдается, что вы изъ Тульской губерніи.“ Александръ Николаевичъ, подтвердивъ мою догадку, подивился, что я основалъ ее на выговорѣ. Ему казалось, что говоръ его вполнѣ московскій; но особенное произношеніе звука *а* и нѣкоторая придыхательность согласной *и*, не смотря на московское воспитаніе и нѣсколько лѣтъ петербургской службы, обличали туляка.

Нашимъ московскимъ выговоромъ многіе восхищались и, какъ послѣ признавались, вступали съ нами въ разговоръ не за тѣмъ, чтобы узнать что-нибудь, а единственно чтобъ послушать, *какъ* мы говоримъ. Очаровывало ихъ въ нашемъ говорѣ не то, что онъ усвоенъ наиболѣе цивилизованнымъ классомъ; ихъ ласкали самые звуки, отдавашіеся имъ, по ихъ словамъ, нѣжною музыкою. Подобное же послѣ слышалъ я отъ двухъ дамъ, родившихся и проведшихъ дѣтство на южной окраинѣ Россіи. Дѣвочками онѣ выбѣгали слушать, когда появлялась къ нимъ московская торговка, и упивались ея говоромъ.

Нѣкоторыхъ поражала не рѣчь, а уличная или правильнѣе надворная фауна. Могиловецъ Ф. К. постоянно выбѣгаетъ на крыльцо и смотритъ въ воздухъ. „Что за прелестныя птицы у васъ! Какъ ихъ называютъ?“—

„Галки“, отвѣчаемъ мы, и удивляемся, что прїѣзжіе товарищъ любитъ такую пошлою, вульгарною, пригладѣвшеюся намъ птицею.—У насъ только сороки, пояснилъ онъ. А мы ему повѣдали, что въ Москвѣ на оборотъ нѣтъ сорокъ, и передали народную легенду, что эта птица проклята Алексѣемъ митрополитомъ и на пятьдесятъ, если не на сто верстъ отъ Москвы не смѣтъ показываться.

А почему въ самомъ дѣлѣ галки не жалуютъ Могилева, сороки — Москвы? Орнитологи обязаны были бы это объяснить.

На который день послѣ прїѣзда нашего послѣдовалъ пріемный экзаменъ, не помню. Впрочемъ, къ экзамену ни я, ни москвичи вообще, ни большинство прїѣхавшихъ не готовились. Я—по чутью, что это формальность, которая не будетъ для меня имѣть послѣдствій; все дѣло въ сочиненіяхъ, которыя, въ видѣ испытанія, будутъ намъ заданы; другіе—по неизвѣстности, о чемъ будутъ спрашивать и по какой программѣ. Но находились, изъ особенно трусливыхъ вѣроятно, которые вытаскивали изъ чемодановъ свои тетрадки; тверскіе же исполняли это повидимому ради щегольства; богословская система ректора ихъ Макарія затмѣвала обширностью и обстоятельностью уроки всѣхъ другихъ семинарій. Я въ послѣдствіи пробѣгалъ ее и отдавалъ справедливость уму и трудолюбію ректора, кончившаго впрочемъ свое поприще не особенно блистательно: за какіе-то грѣхи его уволили, чуть не отрѣшили отъ должности.

Экзаменъ (устный) начался съ московскихъ „присланныхъ“ и изъ нихъ съ меня, разумѣется, какъ перваго студента. О чемъ спрашивалъ ректоръ изъ богословія, и кромѣ богословія и философіи спрашивали-ль еще изъ какихъ наукъ, не помню, вѣроятно потому именно, что не придавалъ экзамену важности. Помню, какъ сквозь сонъ, испытаніе изъ французскаго, и то потому только, что экзаменаторъ спросилъ, на какомъ осцо-

ваніи Lumières я перевелъ „свѣдѣнія“; да ея вопросъ, которымъ началъ меня испытывать латинскій: *quid est Philosophia?* Я посмотрѣлъ съ нѣмъ, потому что насъ въ семинаріи уже не учатъ какъ нашихъ предшественниковъ, философіи, а то, что логикѣ и психологіи, и во вторыхъ уроки были русскіе, а не латинскіе. Однако я отвѣчалъ по латыни, не забывъ читанное мною нѣкогда Введение въ философію именно самого Голубинскаго. Кто-то изъ экзаменаторовъ, сидѣвшихъ рядомъ съ Голубинскимъ, шепнулъ ему, должно быть о томъ, что онъ спрашиваетъ, чему насъ не учили и не на томъ языкѣ. „Тѣмъ лучше, что г. Гиляровъ отвѣчаетъ“, продолжалъ его отвѣтъ.

Засадилъ насъ и за сочиненія, не выходя изъ класса, одно латинское, другое русское; этимъ испытаніямъ посвящены были особенные дни. Я написалъ несомнѣнно плохо, въ чемъ самъ потомъ удостовѣрился, прочитавъ черновыя. Перемудрилъ, какъ всегда со мной бывало въ подобныхъ случаяхъ. Не вѣрилъ элементарности вопроса, предполагая, что если высшее учебное заведеніе, то въ простой темѣ, имъ данной, подразумѣвается что нибудь глубокое. Неумѣстное напряженіе разрѣшается уродомъ, по пословицѣ *parturiunt montes, pus ridiculus nascitur*. (Мучатся родами горы, и смѣшная мышь родится). И послѣ, на службѣ, повторялись со мною подобныя казусы. Когда бывшій министръ Головинъ, поручивъ мнѣ писать исторію Министерства Народнаго Просвѣщенія, пожелалъ, чтобы я представилъ программу будущаго труда, я занесся такъ далеко и высоко, что вѣроятно повергъ министра въ недоумѣніе; одинъ изъ знаменитыхъ публицистовъ даже посмѣялся мнѣ въ глаза на мою наивность, заподозривъ (совершенно неосновательно), что я думалъ поразить министра глубиною.

Экзамены кончились; ждуть съ напряженіемъ объявленія участи своей студенты, особенно волонтеры. Не долго ждали; списокъ объявленъ: о, позоръ для насъ

„Галки“, отвѣчаемъ мы, и удивляемся, что прїѣзжіе товарищъ любитъ такую пошлою, вульгарною, приглядывшеюся намъ птицею.—У насъ только сороки, пояснилъ онъ. А мы ему повѣдали, что въ Москвѣ на оборотъ нѣтъ сорокъ, и передали народную легенду, что эта птица проклята Алексѣемъ митрополитомъ и на пятьдесятъ, если не на сто верстъ отъ Москвы не смѣтъ показываться.

А почему въ самомъ дѣлѣ галки не жалуютъ Могилева, сороки — Москвы? Орнитологи обязаны были бы это объяснить.

На который день послѣ прїѣзда нашего послѣдовалъ прїемный экзаменъ, не помню. Впрочемъ, къ экзамену ни я, ни москвичи вообще, ни большинство прїѣхавшихъ не готовились. Я—по чутью, что это формальность, которая не будетъ для меня имѣть послѣдствій; все дѣло въ сочиненіяхъ, которыя, въ видѣ испытанія, будутъ намъ заданы; другіе—по неизвѣстности, о чемъ будутъ спрашивать и по какой программѣ. Но находились, изъ особенно трусливыхъ вѣроятно, которые вытаскивали изъ чемодановъ свои тетрадки; тверскіе же исполняли это повидимому ради щегольства; богословская система ректора ихъ Макарія затмѣвала обширностью и обстоятельностью уроки всѣхъ другихъ семинарій. Я въ послѣдствіи пробѣгалъ ее и отдавалъ справедливость уму и трудолюбію ректора, кончившаго впрочемъ свое поприще не особенно блистательно: за какіе-то грѣхи его уволили, чуть не отрѣшили отъ должности.

Экзаменъ (устный) начался съ московскихъ „присланныхъ“ и изъ нихъ съ меня, разумѣется, какъ перваго студента. О чемъ спрашивалъ ректоръ изъ богословія, и кромѣ богословія и философіи спрашивали-ль еще изъ какихъ наукъ, не помню, вѣроятно потому именно, что не придавалъ экзамену важности. Помню, какъ сквозь сонъ, испытаніе изъ французскаго, и то потому только, что экзаменаторъ спросилъ, на какомъ осцо-

ваніи *Lumières* я перевелъ „свѣдѣнія“; да еще помню вопросъ, которымъ началъ меня испытывать Голубинскій: *quid est Philosophia*? Я посмотрѣлъ съ недоумѣніемъ, потому что насъ въ семинаріи уже не учили, какъ нашихъ предшественниковъ, философіи, а только логикѣ и психологіи, и во вторыхъ уроки были русскіе, а не латинскіе. Однако я отвѣчалъ по латыни, не забывъ читанное мною нѣкогда Введеніе въ философію именно самого Голубинскаго. Кто-то изъ экзаменаторовъ, сидѣвшихъ рядомъ съ Голубинскимъ, шепнулъ ему, должно быть о томъ, что онъ спрашиваетъ, чему насъ не учили и не на томъ языкѣ. „Тѣмъ лучше, что г. Гиляровъ отвѣчаетъ“, послѣдовалъ его отвѣтъ.

Засадили насъ и за сочиненія, не выходя изъ класса, одно латинское, другое русское; этимъ испытаніямъ посвящены были особенные дни. Я написалъ несомнѣнно плохо, въ чемъ самъ потомъ удостовѣрился, прочитавъ черновыя. Перемудрилъ, какъ всегда со мной бывало въ подобныхъ случаяхъ. Не вѣрилъ элементарности вопроса, предполагая, что если высшее учебное заведеніе, то въ простой темѣ, имъ данной, подразумѣвается что нибудь глубокое. Неумѣстное напряженіе разрѣшается уродомъ, по пословицѣ *parturiunt montes, mus ridiculus nascitur*. (Мучатся родами горы, и смѣшная мышь родится). И послѣ, на службѣ, повторялись со мною подобныя казусы. Когда бывшій министръ Головинъ, поручивъ мнѣ писать исторію Министерства Народнаго Просвѣщенія, пожелалъ, чтобы я представилъ программу будущаго труда, я занесся такъ далеко и высоко, что вѣроятно повергъ министра въ недоумѣніе; одинъ изъ знаменитыхъ публицистовъ даже посмѣялся мнѣ въ глаза на мою наивность, заподозривъ (совершенно неосновательно), что я думалъ поразить министра глубиною.

Экзамены кончились; ждуть съ напряженіемъ объявленія участи своей студенты, особенно волонтеры. Не долго ждали; списокъ объявленъ: о, позоръ для насъ

москвичей вообще, а для меня въ частности! Изъ восьми волонтеровъ-москвичей приняты трое только, и я, первый студентъ, обстоятельство тоже едва ли бывалое, зачисленъ, какъ выше сказано, не болѣе какъ въ „хорошія“. По совѣсти, я и этого не заслуживалъ; но должно быть конференція сама объяснила неудачу моихъ сочиненій случайностью.

Смущеніе осрамившихся было неописанное. Многіе напились съ горя; съ какими глазами они покажутся роднымъ, которые уже видѣли въ нихъ будущихъ магистровъ? Не отзовется ли ихъ срамъ на ихъ будущности? А одинъ такъ просто рыдалъ. Это былъ извѣстный изъ прежнихъ главъ Перервенецъ. Круглое сиротство еще болѣе омрачало его душу, покрывая неизвѣстностью дальнѣйшую судьбу. Чтобы сколько нибудь утѣшить, я предложилъ ему поступить на мое мѣсто у Зацѣпскихъ, гдѣ онъ и прожилъ первые мѣсяцы, получивъ потомъ мѣсто въ Казенной палатѣ по ходатайству втораго зятя Богдановыхъ.

Но вышелъ изъ Академіи тотчасъ же послѣ экзаменовъ и одинъ изъ принятыхъ москвичей, притомъ не волонтеръ, а присланный. За обиду ему показалось, что онъ, второй по списку студентъ Московской семинаріи, принять чуть ли не въ послѣдней категоріи. Мелочное побужденіе свое онъ прикрылъ вымышленными причинами, въ родѣ того что отецъ внезапно заболѣлъ, или чѣмъ-то подобнымъ. Никого изъ насъ впрочемъ онъ этимъ вымысломъ не обманулъ; да ничего и не потерялъ потомъ по службѣ отъ выхода изъ Академіи, скорѣе выгадалъ даже.

А Василій Михайловичъ, нашъ подлинный второй студентъ, низведенный съ своего мѣста ректоромъ, на сей разъ, какъ и всегда, не выразилъ даже удивленія на оцѣнку, которая, по моему и Ивана Николаевича мнѣнію, была ниже его достоинства.

LXIII.

Въ преддверіи науки.

И вотъ мы остались. Отслуженъ, какъ водится, молебенъ, и насъ распредѣлили по номерамъ, при чемъ исполнилось предсказаніе Ивана Николаевича: меня съ нимъ зачислили въ девятый номеръ; только Василій Михайловичъ, хотя въ томъ же корпусѣ, но отдѣленъ отъ насъ двумя комнатами и корридоромъ. Явился экономъ-іеромонахъ, вѣчно смѣющийся, какъ будто родившійся съ обнаженными бѣлыми зубами обѣихъ челюстей. Суетня: одѣляютъ насъ, cadaго, волосяными матрасами (поступающими въ нашу полную собственность) перьями и бумагой; портной приходитъ мѣрить мѣрку для изготовленія казенной одежды; вопросы: натурой или деньгами желаемъ получать бѣлье? Зовутъ въ библіотеку получать книги, какія пожелаемъ для самообразованія, а учебники—обязательно. Изъ послѣднихъ нѣкоторые пользуются незавидной привилегіею быть не развернутыми ни раза до окончанія курса. Философія Карпе: кто слыхалъ это имя? Какая это такая философія неизвѣстнаго творца? Но она значилась учебникомъ, и библіотекаръ, А. В. Горскій, откладывалъ ее каждому, съ улыбкой впрочемъ, говорившею: „конечно, вы книги не развернете, но должны взять“. А Ѳ. А. Голубинскій, во введеніи въ философію, даже упомянетъ объ опредѣленіи, которое даетъ Карпе этой наукѣ.

Всѣ формальности исполнены и росписаніе уроковъ дано; скоро откроются лекціи.

Уже въ первыя двѣ недѣли, въ дни экзаменовъ, должно было почувствоваться, и иногородными еще болѣе нежели москвичами, что мы перешли въ новую духовную атмосферу. О томъ напоминало прежде всего необыкновенное уваженіе къ „господину студенту“, оказываемое всѣми, начиная отъ служителя и до ректора,

съ отгѣнками разумѣется. Во всѣ дальнѣйшіе четыре года ни раза не слышалъ я самъ и не слышалъ ни отъ кого другаго, чтобы какое нибудь изъ начальствующихъ или учительствующихъ лицъ въ разговорѣ со студентомъ по какому бы то ни было случаю когда нибудь возвысило голосъ. При самомъ поступленіи нашемъ уже было намъ извѣстно, что патріарху профессоровъ, Голубинскому, отправляютъ, по обыкновенію, на нѣскольکو времени наши аттестаты. Это повторялось съ каждымъ новымъ курсомъ неизмѣнно; какія свѣдѣнія изъ нашихъ бумагъ извлекалъ профессоръ-философъ, ходили разныя догадки, объясняемыя его глубокою любознательностью. Но достовѣрно, что каждого студента, со дня поступленія, Ѳеодору Александровичу уже извѣстно имя и отчество, и наединѣ онъ предпочиталъ звать каждого Иванъ Ивановичъ или Григорій Петровичъ, а не г. Знаменскій или Остроумовъ. Когда встрѣчалась гурьба студентовъ, Голубинскій проходилъ мимо ихъ безъ шляпы, съ постоянно наклоненною головою, чтобы не кланяться порознь каждому. И то была не напускная преувеличенная вѣжливость, не фарисейство, а глубокое христіанское смиренномудріе.

Ѳеодоръ Александровичъ Голубинскій вышелъ вторымъ студентомъ перваго академическаго курса. Но состоялъ при Академіи профессоромъ же и первый студентъ перваго курса, Петръ Спиридоновичъ Делицынъ: два столпа академическаго преданія, сколькихъ проводившіе и ректоровъ и инспекторовъ, сколькихъ епископовъ и архіепископовъ считающіе изъ своихъ учениковъ! До извѣстной степени эти два профессора-протоіерея представляли контрастъ между собою: но студентамъ и вообще академическому міру они съ другой стороны представлялись и единицею; и квартиры ихъ отдѣлялись только сѣнями. При одномъ имени напрашивалось на языкъ другое, какъ бы двухъ консуловъ Римской республики. Шутя говаривали, что Петръ Спиридоновичъ Демокритъ, потому что говорилъ со всѣми всегда улы-

баясь, а Ѳеодоръ Александровичъ—Гераклитъ; онъ износилъ изъ груди, и даже откуда-то какъ будто дальше еще, воздыхательные, почти плачущіе звуки. Но Демокрита отношеніе къ студентамъ лишь съ небольшимъ оттънкомъ было тоже, что Гераклита. Если Ѳеодоръ Александровичъ обращался къ студенту почти съ почитательною покорностью, то Петръ Спиридоновичъ съ вѣжливою простотою, притомъ не измѣнявшеюся ни на полтона, обращался ли онъ къ студенту, къ сослуживцу, къ ректору или къ пріѣзжему архіепископу. Понятно, что обоимъ платили всѣ глубокимъ почтеніемъ, хотя въ классы къ нимъ и не лезли, особенно къ Петру Спиридоновичу. Онъ былъ профессоръ математики, и занимающихся-то ею было двое, трое. Такимъ числомъ былъ профессоръ впрочемъ доволенъ, большаго числа и не желалъ, а посѣтителей не изъ усердниковъ науки, по собственнымъ словамъ, даже не жаловалъ. Тѣмъ внимательнѣе онъ былъ за то къ себѣ и къ доскѣ съ мѣломъ, въ увѣренности что немногіе слушатели его дѣйствительно уже слушаютъ.

И Ѳеодора Александровича не всѣ посѣщали даже въ философскіе классы, особенно когда извѣстно было, что читается читанное уже прежнимъ курсамъ. На классы же нѣмецкаго языка, котораго онъ былъ тоже преподавателемъ, ходили также по двое, по трое, а иногда одинъ. Въ послѣднемъ случаѣ профессоръ присаживался къ слушателю на скамью. Разъ былъ случай (позднѣе меня однимъ курсомъ): единственнымъ слушателемъ оказался И. В. Бѣляевъ (недюжинный въ послѣдствіи изслѣдователь). Бѣляевъ нюхалъ табакъ, и для удобства, чтобы не лазить за табакеркою, насыпалъ табакъ на бумажку подъ пюпитромъ, откуда и пользовался. Голубинскій тоже нюхалъ табакъ, но при перекочевѣ на скамью забылъ вмѣстѣлище зелія на каедрѣ. Разбирало его при видѣ, какъ слушатель его откуда-то углощается. Не переставая объяснять писателя и углубляться въ особенности періода литературы, онъ тоже

отправилъ руку по направленію, куда и слушатель, надѣясь снабдить нужнымъ щепоть столь же незамѣтно; шарилъ, шарилъ и... сдернулъ рукавомъ бумажку,—она полетѣла съ содержимымъ на полъ. До крайности смущенный, онъ признался въ искушеніи, которому не могъ противостоять, и горячо началъ просить прощенія за свою неловкость и за огорченіе, причиненное, какъ онъ полагалъ, Ильѣ Васильевичу.

При такихъ отношеніяхъ намъ не казалось необыкновеннымъ, но посторонняго, если бы онъ вздумалъ присмотрѣться, должно было бы поразить, что вчерашній студентъ, сегоднешній сослуживецъ входилъ къ обоимъ ветеранамъ, по поступленіи своемъ на кафедру, какъ бы въ его положеніи никакой перемѣны не произошло. Развѣ только черезъ нѣсколько дней или недѣль молодой птенецъ, иногда цѣлыми тридцатью годами отстоящій отъ профессоровъ-патріарховъ, сынъ ихъ школьнаго товарища, позволить себѣ вольность даже до шутки надъ кѣмъ нибудь изъ нихъ, даже надъ обоими,—которой онъ не посмѣлъ бы допустить себѣ въ студенчества, но которую сами профессора примутъ теперь съ благодушіемъ, какъ бы отъ совершенно равнаго.

Тонъ, заданный старшею двойцею профессоровъ, своего рода родоначальниками Академіи, не могъ не подерживаться другими. Дико было бы, когда бы какой ректоръ или инспекторъ, на котораго они могли взирать какъ на мальчишку, ихъ бывший ученикъ и даже ученикъ учениковъ ихъ, взялъ на себя важность выше мѣры. Въ академическомъ мірѣ отсюда и пошло это общее уравниеніе, братство своего рода. Оно завѣщано было впрочемъ еще самымъ основаніемъ Академіи „по новому образованію“, какъ тогда называли. На первый курсъ Петербургской академіи, положившей начало „новому образованію“, поступили слушателями не только студенты старыхъ Академій, но учителя и даже префектъ (Кутневичъ). Съ бывшимъ префектомъ, то есть вторымъ изъ начальствующихъ лицъ семинаріи, нѣсколь-

ко лѣтъ учительствовавшимъ, можно ли было обращаться, какъ съ безусымъ мальчикомъ, только пересѣвшимъ съ одной ученической скамьи на другую? Да и въ болѣе позднее время поступали въ число студентовъ и учителя, и вдовы священники, и іеромонахи. Такія единицы, не переводившіяся никогда, клали отпечатокъ почтенности на весь составъ учащихся. Академія представлялась не такимъ учрежденіемъ, въ которомъ доканчиваютъ учебное воспитаніе, а учрежденіемъ, куда поступаютъ для самообразованія подъ руководствомъ старшихъ люди уже окончившіе школу, уже пріобрѣвшіе право располагать собою, не нуждающіеся въ ферулѣ, а добровольно себя на время ограничивающіе въ видахъ занятія наукою.

Таково было подразумѣваемое понятіе' объ Академіи; въ мое время оно еще мерцало, питаемое преданіями и примѣромъ. Преемству духа помогала между прочимъ постепенность, съ какою пополнялся составъ профессоровъ свѣжими силами изъ студентовъ. Новый бакалавръ, кто бы онъ ни былъ, отецъ Θεодоръ, Іоаннъ или свѣтскій преподаватель, онъ два мѣсяца и спалъ и ѣлъ вмѣстѣ со своими теперешними слушателями; близкіе ему годъ назадъ навѣщаютъ его и теперь, какъ товарища, и онъ съ ними обращается какъ товарищъ, дѣлится своими преподавательскими планами; они общаются ему свои студенческія мысли и ожиданія. По мѣрѣ продолженія преподавательской дѣятельности или восхожденія по ней (если монахъ), бакалавръ, а потомъ профессоръ теряетъ студентовъ-товарищей, которые обратились теперь въ сослуживцевъ; но связь со студентами не теряется, поддерживаясь „землячествомъ“. Это особенная черта, найденная мною въ Академіи: тулякъ держитъ туляка, виоанецъ виоанца; единство семинаріи продолжаетъ связь между ея питомцами въ Академіи. Старый студентъ вводитъ младшаго къ земляку-профессору; а тамъ между тѣмъ подбываютъ новые бакалавры, вчера сошедшіе со скамей, которымъ

студенты доводятся товарищами въ тѣсномъ смыслѣ. Образовывалась непрерывная цѣпь; а Филаретъ строго блюлъ, чтобы она не разрывалась; изъ чужихъ Академій онъ допускалъ преподавателей только какъ исключеніе, а въ начальники ни одного.

Мы, новички, только что поступившіе, даже прежде дѣйствительнаго поступленія, уже погружены были въ преданіе. Въ теченіе экзаменовъ не только старшіе студенты, почему либо остававшіеся на каникулы въ Академіи, но и нѣкоторые кончившіе уже курсъ, но остававшіеся въ ожиданіи назначенія на должность, знакомились съ нами и вступали въ бесѣды (особенно съ земляками). Мы успѣли узнать до точности профессоровъ, какой въ чемъ силенъ, какой въ чемъ слабъ, чѣмъ кто руководится. О Голубинскомъ отзывались съ чрезвычайнымъ почтеніемъ, дивясь его громаднымъ знаніямъ, но находили его отсталымъ и ставили ему въ вину эклектизмъ. За то съ восторгомъ, чуть не съ поклоненіемъ отзывались объ Е. В. Амфитеатровѣ. То была пора, когда и до Академіи дошло увлеченіе Гегелемъ (немного поздненько, больше десятка лѣтъ послѣ его смерти), вынудившее Голубинскаго посвятить разборъ этого философа довольное число лекцій. На все что пахло Гегелемъ бросались съ жадностью; а Е. В. Амфитеатровъ въ Эстетикѣ держался Гегелевой терминологіи и слѣдовалъ за нимъ въ методѣ. „Отъ больше узнаете философіи, чѣмъ отъ Федора Александровича“: таковъ былъ общій отзывъ. Особенно страстно отзывался о Гегелѣ и рѣзко о всякомъ другомъ міровоззрѣніи студентъ Р-въ, пріѣхавшій за увольнительнымъ свидѣтельствомъ. Онъ до того вѣлся въ новую (но тогдашнему) нѣмецкую философію, что не захотѣлъ слушать богословскаго курса. О немъ рассказывали, что въ сочиненіи на тему „О философіи Григорія Назіанзіана“ онъ отнесся къ философской сторонѣ твореній Св. Отца отрицательно, заключивъ диссертацию словами (обращенными къ святому-то отцу): „нѣтъ“.

ваше преосвященство, философія-то, видится, вамъ не по плечу“.

Изъ преподавателей на богословскомъ курсѣ отдавали безусловное почтеніе трудолюбію и необыкновенной эрудиціи А. В. Горскаго, но находили въ лекціяхъ его элементъ слащавости и недостатокъ критики. Рекомендовали Іоанна (потомъ епископа Смоленскаго) за реальную постановку вопросовъ Нравственнаго Богословія и рѣшенія ихъ, соотвѣтствующія запросамъ жизни. Онъ не остается парить на отвлеченныхъ высотахъ, на избитыхъ темахъ, а нисходитъ въ общественную дѣлу времени. Инспектора, какъ и бблейскаго экзегета хвалили за ясность изложенія и хорошее знакомство, съ еврейскимъ языкомъ; почтительно удивлялись чистотѣ его монашеской жизни, передавая, въ видѣ анекдотовъ, вопросы, съ которыми онъ иногда обращался къ студентамъ и которые оказывали въ немъ младенческое невѣдѣніе обыкновеннѣйшихъ житейскихъ отношеній. Съ уваженіемъ и сожалѣніемъ вспоминали о Филаретѣ (Гумилевскомъ), глубоко-ученомъ богословѣ, по сравненію съ настоящимъ ректоромъ, который не даетъ ни изслѣдованій, ни исторіи догмата, ни связной системы, а безсодержательный сборъ избитыхъ катихизическихъ положеній.

Толковали о кончившихъ курсъ студентахъ и диссертацияхъ, надъ которыми тѣ сидѣли. Съ нѣкотораго рода благоговѣніемъ отзывались о С. И. Зерновѣ, (недавно скончавшемся въ Москвѣ, въ санѣ протоіерея), что онъ одолѣлъ Климента Александрійскаго и выяснилъ его *тосисъ*, о которомъ спорить и недоумѣваетъ сама Западная богословская наука. Предсказывали, что его трудолюбіе и способности обѣщаютъ въ немъ замѣчательнаго бакалавра.

Итакъ, наука, эрудиція, трудъ надъ первоисточниками, новые шаги, требуемые въ разработкѣ знаній, не только мірскихъ, но и духовныхъ: вотъ тонъ, который слышался и задавался. Огромный кабинетъ ректора, весь

устроенный фоліантами, квартира А. В. Горскаго, въ которой почти нельзя было повернуться среди книгъ; поражающія знанія Голубинскаго, который по поводу какого нибудь выраженія или мнѣнія, случайно ему сказаннаго, въ теченіе получаса начинаетъ объяснять, у кого изъ древнихъ, среднихъ и новѣйшихъ писателей они встрѣчались, при чемъ цитуетъ подлинныя слова и объясняетъ ихъ связь и значеніе; или необыкновенная начитанность А. В. Горскаго, къ которому обратятся съ частнымъ вопросомъ изъ церковной исторіи или археологіи, и онъ выложитъ десятки книгъ, укажетъ главы и страницы, а въ случаѣ нужды отправится со спрашивающимъ въ библіотеку и въ вечернемъ мракѣ оцупью отыщетъ въ извѣстномъ ему шкафѣ, на извѣстной ему полкѣ, стараго писателя, котораго и имя спрашивающему неизвѣстно; но Александръ Васильевичъ скажетъ, что о такой-то сторонѣ вопроса здѣсь много собрано; „поищите, найдете вѣроятно указанія, которыя наведутъ васъ на путь“: такая обстановка должна была производить и возвышающее и подавляющее впечатлѣніе за разъ; на меня по крайней мѣрѣ она производила то и другое. Ночною порою, когда бывало выйдешь въ садъ разогнуть спину и видишь далеко за полночь свѣтящійся огонь въ квартирѣ Александра Васильевича, — знаешь, что и тамъ совершается священнодѣйствіе ученаго труда. Не этотъ ли примѣръ дѣйствовалъ отчасти, что и мы засиживались по ночамъ? И обложиться фоліантами тоже любили, нѣкоторые даже только для хвастовства. Одинъ первый студентъ (тремя курсами старше меня) почти не оставилъ книги въ библіотекѣ безъ надписи своей фамиліи на заглавномъ листѣ. Не всѣ онѣ конечно были прочитаны, да даже и читаны, но были въ рукахъ, и рука чесалась оставить память о своей эрудиціи. Мелочное желаніе, но и оно не оставалось безъ поощрительнаго добраго дѣйствія: книга не такая вещь, чтобы взявъ ее не почерпнуть хоть чего нибудь изъ нея. Да и внѣшнее одно знаніе о книгахъ, библіографія, все таки есть знаніе.

О Петрѣ Спиридоновичѣ менѣе было разсказовъ по научной части; кафедра-то его была не подходящая ко вкусу студентовъ. Но знали и говорили, что онъ верховный редакторъ перевода Твореній Св. Отцевъ и въ сущности единственный переводчикъ; труды прочихъ есть только чернякъ, матеріаль. Знали и говорили, что онъ вмѣстѣ съ Ѳ. Александровичемъ перевелъ нѣсколькихъ нѣмецкихъ писателей, между прочимъ Канта (я видѣлъ этотъ переводъ, сохранился ли онъ?); что П. Спиридоновичъ любитъ отдыхать, во первыхъ, за чтеніемъ древнихъ классиковъ, и во вторыхъ за новѣйшею русскою литературою, даже беллетристическою, и что кому желательно познакомиться съ новымъ какимъ русскимъ писателемъ, можно достать у Петра Спиридоновича. Но особенно сіялъ въ мнѣніи студентовъ Петръ Спиридоновичъ, какъ дѣлецъ, умѣющій выпутывать Академію изъ трудныхъ положеній, а въ особенности выпутывать студентовъ, въ чемъ нибудь попавшихся. Это гора, за которую можно заслониться, сила, которая не выдастъ: таково было убѣжденіе.

Сказать ли, кто еще былъ хранителемъ добраго преданія? Прислуга. Два служителя въ нашихъ номерахъ, Семенъ заяка и пьяница, среднихъ лѣтъ, и Платонъ бородатый, степенный старикъ, проводили можетъ быть не менѣе десятка курсовъ, оставаясь въ тѣхъ же должностяхъ и на тѣхъ же мѣстахъ. Это были два столбца лѣтописнаго списка о томъ, на какой кровати спалъ и отецъ ректоръ, и отецъ инспекторъ, и такой-то преосвященный; какъ ихъ звали въ міру, когда и почему они пошли въ монахи, и даже иногда—о чемъ кто писалъ диссертацию и какому профессору. По ученой части отличался особенно Платонъ, самъ неграмотный, но употреблявшій слова „идея“, „логика“, „діалектика“,—всегда ли кстати, это вопросъ. А Семенъ разъ, выпивши по обыкновенію, пришелъ къ намъ въ девятый номеръ, остановился предъ одною кроватью и произнесъ надгробное слово. Умеръ бывший студентъ; о кончинѣ его гдѣ-то вдали

на службѣ было возвѣщено Семену. Назвавъ покойнаго именемъ и отчествомъ, онъ началъ съ плачемъ причитывать, вспоминая событія изъ студенческой жизни покойнаго, спавшаго вотъ на этой самой кровати.

Хотя Академія помѣщалась въ самой лаврѣ, но лавры какъ бы не было для студентовъ. Къ Преподобному ходили поклониться, но съ монашествующими не вели знакомства. Даже разговоры о нихъ мало бывало, и если бывали, то развѣ по поводу какого нибудь неблаговиднаго происшествія, получившаго огласку,—рѣдко впрочемъ выходившую изъ предѣловъ посада. Скитъ тогда только что начинался, и въ Академіи смотрѣли на это предпріятіе болѣе нежели со скептицизмомъ, предполагая самыя прозаическія побужденія. Нельзя сказать, чтобы къ подвижничеству и въ академическихъ стѣнахъ не питали почтенія. Напротивъ, и изъ самихъ студентовъ выходили энтузіасты иночества; упоминалось съ уваженіемъ и о нѣкоторыхъ лаврскихъ инокахъ не по названію только (на примѣръ о гробовомъ монахѣ Авелѣ); но большинство тогдашней лаврской братіи было слишкомъ мірское, возбуждая противъ себя только ироническій взглядъ молодыхъ людей, пріѣхавшихъ учиться.

Скажу кстати: мнѣ довелось учиться среди двухъ переломовъ,—учебной программы въ семинаріи, и студенческаго быта въ Академіи. Первые два года по поступленіи въ Академію, комнаты для занятій, онѣ же были и нашими спальнями: по стѣнамъ кровати, на срединѣ и въ простѣнкахъ столы. Здѣсь же мы и чай пили; нѣкоторые изъ своего самоварчика; умываться ходили въ служительскую комнату; только обѣдали и ужинали въ общей столовой. Грязненько было и даже очень, но уютно; живемъ какъ будто своимъ домкомъ: въ комнатахъ помѣщалось шесть, семь человѣкъ, а въ нѣкоторыхъ и всего четверо. Грязь же была такая, что въ нѣкоторыхъ номерахъ стѣны надъ потолкомъ казались украшенными каймою; а кайма эта, вершка четыре шири-

ною кругомъ всей комнаты, состояла изъ насѣкомыхъ, на день избравшихъ это горнее мѣсто жительство. И какъ терпѣли, и чего смотрѣли прислуга и начальство? Но терпѣли и даже не жаловались; иначе конечно приняты были бы мѣры.

Черезъ два года комнаты для занятій отдѣлили отъ спаленъ; отвели особыя чайныя и умывальныя; назначили опредѣленные часы для занятій въ каждомъ изъ отдѣленій. Но новый порядокъ не сложился; старая привычка брала свое: въ комнатахъ для занятій не спали, правда; за то для занятій уходили многіе въ спальни, или сидѣли ночь въ комнатахъ для занятій, когда онѣ предполагались запертыми. Соблюденіе внѣшнихъ формъ дисциплины вообще не привилось,—даже такой обычай, какъ ходить всѣмъ попарно къ богослуженію въ опредѣленную церковь. „Замѣчаю, что не всѣ гг. студенты ходятъ въ церковь“, сказалъ разъ инспекторъ собравшимся старшимъ.—„Повидимому всѣ“, отвѣчали старшіе.—„Вѣрю, но должно быть не въ нашу“.

Этимъ деликатнымъ предположеніемъ и ограничилось все замѣчаніе начальника.

Кладу перо. Описаніе моихъ студенческихъ занятій обратило бы мой рассказъ въ собраніе ученыхъ и критическихъ трактатовъ. Сухая номенклатура вопросовъ и писателей не дастъ ничего. Платонъ и Гердеръ, Гегель и Фейербахъ съ предшественниками, Юмъ, Кантъ и Спиноза съ Лейбницемъ, затѣмъ Луибланъ, Прудонъ, Леру, Контъ и далѣе Фурье, Сен-Симонъ, Бентамъ, Се, Адамъ Смитъ и Рикардо, наконецъ Вильгельмъ Гумбольдтъ, Лессингъ, Крейцеръ, Гиббонъ, Лео, Ранке, Мишле,—что скажутъ эти имена, не говоря о другихъ, менѣе славныхъ иль совсѣмъ неизвѣстныхъ? А меж-

ду тѣмъ въ чередованіи ихъ была связь, одинъ писатель подзывалъ къ другому. Равно и въ окончательномъ, богословскомъ двухлѣтніи академическаго курса даже дикимъ можетъ показаться сопоставленіе Кипріана Кареагенскаго съ Діонисіемъ Ареопагитомъ, Аѳанасія Великаго съ Теодоромъ Студитомъ и Максимомъ Исповѣдникомъ, не говоря о западныхъ богословахъ отъ Ансельма до Беллармина, Герарда и Квенштедта, которые однако позвали обратиться и къ Сведенборгу и къ Мейеру съ записками о Преворстской Ясновидящей.

Во всякомъ случаѣ интересъ бытовой, педагогическій и психологическій, который приписываю я своему дѣтству и отрочеству, кончился, потому что ростъ кончился. Дальнѣйшія событія моей жизни если заслуживаютъ вниманія, то не по себѣ, а потому что дали видѣть и знать людей, прямо или косвенно двигавшихъ судьбами и просвѣщеніемъ Россіи; интересъ историческій. Но то предметъ для особаго труда въ видѣ монографій, не нуждающагося въ хронологической связи и не обязаннаго къ ней.

Одно скажу въ заключеніе. Особеннымъ для себя счастіемъ почитаю, что внѣшній случай приставилъ меня къ самымъ средоточнымъ вопросамъ знанія и вѣры, и притомъ гдѣ обѣ области соприкасаются: такого характера даваемы были мнѣ темы для диссертаций въ студенчествѣ и таковы были потомъ двѣ каѳедры, мнѣ врученныя; не давали завязать въ побочномъ и второстепенномъ, не сковывали спеціальностью. А вѣчная, неотступная боль о фор-

мальной истинѣ, уже объясненная мною въ одной изъ предшедшихъ главъ, гнала неугомонный умъ отъ писателя къ писателю, отъ вопроса къ вопросу, не останавливая на авторитетѣ, подвергая критикѣ cadaго; не останавливаясь и на критикѣ, а для cadaго явленія, мнѣнія, вѣрованія ища основаній въ жизни; поселивъ окончательно убѣжденіе, ставшее потомъ для меня кореннымъ: въ призрачности всѣхъ формулъ; въ добросовѣстномъ самообманѣ всѣхъ мнѣній, какъ бы ни казались они безспорными; въ зависимости всѣхъ мнѣній и вѣрованій отъ душевныхъ требованій нравственнаго или животнаго порядка, смотря по обстоятельствамъ. Академіи же моя вѣчная признательность, что давала просторъ моей внутренней жизни. Она мнѣ снисходила, даже баловала меня. На цѣлые мѣсяцы уѣзжалъ я въ Москву въ теченіи учебнаго курса, чтобы изученіемъ писателей, которыхъ не находилъ въ академической библіотекѣ, заполнять оказывавшіеся пробѣлы. Въ послѣдній годъ студенчества мнѣ отдана была даже профессорская квартира, чтобы общежитіе своимъ многочисломъ не нарушало моего углубленнаго труда, напряженіе котораго, съ вѣчными муками умственнаго чадорожденія, начальству было даже мало извѣстно. Воспоминанія объ этомъ не могутъ меня не трогать и обязываютъ отнести къ мѣсту окончательнаго образованія моего и начальнаго служенія съ тѣми же словами, съ какими обращалась библейская пѣснь къ Іерусалиму: „забудь меня рука моя, я тебя не забуду“.

К о н е ц ъ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	<i>Стр.</i>
XXXIV. Переходъ въ семинарію	3
XXXV. Семинарскіе распорядки	11
XXXVI. Испытаніе.	23
XXXVII. Уровень преподаванія	33
XXXVIII. Путешествія.	43
XXXIX. Письменные работы	56
XL. Домашній курсъ	66
XLI. Ближайшее окружающее	77
XLII. Свѣтскій послушникъ.	87
XLIII. Товарищи	99
XLIV. Составъ учащихся	111
XLV. Раздумье.	124
XLVI. Чужой хлѣбъ.	136
XLVII. Бѣгство	145
XLVIII. Изгнаніе.	158
XLIX. Последняя вакація.	167
L. Богословскій классъ	178
LI. Два ректора.	187
LII. Проповѣдничество.	196
LIII. Новая обстановка	207
LIV. Церковное письмоводство.	221
LV. Лѣнныи день	234
LVI. Житейская философія	244
LVII. Дядюшка Петръ Ивановичъ	256
LVIII. Игра судьбы.	272
LIX. Донъ-Кихоты Просвѣщенія.	285
LX. Три друга.	296
LXI. На оселкѣ жизни	310
LXII. Переходъ въ Академію.	322
LXIII. Въ преддверіи науки.	335

—

—

—

—